

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ГОД ИЗДАНИЯ
VIII

2

~~МАРТ~~ АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — 1959

РЕДКОЛЛЕГИЯ

*О. С. Азманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), А. И. Ефимов,
Н. И. Конрад (зам. главного редактора), В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев,
Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К—12, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42

В. М. ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ

О НЕКОТОРЫХ РЕФЛЕКСАХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ
«ЛАРИНГАЛЬНЫХ» В ПРАСЛАВЯНСКОМ¹

Рассмотрим интонационные отношения в следующих категориях славянского глагола: в презенсе на *-o/e-* (по классификации А. Лескина) и соответствующем ему инфинитиве, с одной стороны, и в презенсе однокоренных глаголов на *-ī-* и соответствующем инфинитиве, с другой. Как известно, два славянских презенса отражают, соответственно, индоевропейский тематический презенс (в этот тип переведен и ряд коренных глаголов) и презенс итеративных или каузативных образований на *-ei(e)-*². Инфинитивы на **-tī* являются славяно-балтийским новообразованием.

Чтобы определить интонационную характеристику отрезка, следующего за корнем (в плане индоевропейской реконструкции) в этих категориях, возьмем глагольную пару **vedō, vedešī...; *vesti — *vodjō, vodiši...; *voditi*, где интонационная характеристика корня (**ved-*) нам известна: *-ē-* обуславливает так называемую циркумфлексную интонацию (или, точнее, отсутствие интонации)³.

Презенс «определенного» глагола **vesti* проводит окситонезу во всей парадигме: **vedō, vedešī, vedětъ* и т. д. Отсюда, естественно, не следует, что все личные окончания представляли акутовые отрезки, «перетягивающие» ударение с предыдущего слога, и тем более не следует, что таковыми являлись окончания, представленные праславянским (ср. краткое *e* в *-eši, -e [tъ]* и т. д. и литов. тип 3-го лица ед.-мн. числа *dēga, 1—2-го лица мн. числа dēgame, dēgate* без передвижения). Гораздо вероятнее, что в окончаниях славянского презенса (по крайней мере в окончаниях 1—2-го лица ед. числа) мы имеем относительно позднюю замену окончаний тематического типа (отраженных для 1-го лица ед. числа литов. *-ū*, греч. *ω*, лат. *-ō* < **-ō*, для 2-го лица ед. числа, возможно, литов. *-ī* < **ēi* и греч. *-εις*). Подобную замену подтверждает славянское окончание 1-го

¹ На материале глагольных корней типа АЕА, где А — любой неслогообразующий звук (так называемые «легкие корни»), и корней типа АЕУZ, где Е — гласный *e* или *o*, У — сонант, Z — звук типа *ə* («корни *sef*»). Таким образом, не будут рассмотрены, например, слав. **nesp* (сопоставимое с греч. *νευχεῖν*), **bredp* или **bledp, *vbrgo*. Другие ограничения указываются по мере рассмотрения материала. В статье даются реконструкции двух видов: 1) праславянские формы перед разделением праславянского; 2) ранние праславянские или, точнее, диалектные индоевропейские формы. В квадратных скобках помещается часть реконструируемой формы, восстанавливаемая условно, т. е. не равнозначная хронологически остальной реконструкции.

² Это одна из редких в индоевропейской глагольной системе форм с регулярной огласовкой *-o-* (ср. еще перфект, не засвидетельствованный в праславянском как категория). Та же огласовка — в производных именах с основами на *-o-* и *-a-*. Все эти три образования связаны друг с другом и, говоря упрощенно, представляют собой своеобразную «номинально-глагольную» систему внутри «чисто глагольной» (огласовка *-e-*). Ср. сводку мнений о перфекте как «категории состояния» в статье А. Н. Савченко «Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке» (ВЯ, 1955, № 4); см. также С. Н. Станг, *Das slavische und baltische Verbum*, Oslo, 1942, стр. 7—12, 23—29.

³ Ср. J. Kuryłowicz, *L'accentuation des langues indo-européennes*, Kraków, 1952, стр. 199.

лица ед. числа \bar{o} , представляющее контаминацию $*\bar{o}$ и $*-m(i)$. Ударение или «вспомогательная фонема», по выражению Е. Куриловича, сохраняет при такой замене прежнее место, что представляет обычный в языке процесс. Следовательно, $*ved\bar{o}$, $ved\bar{e}\bar{s}i$ отражают первоначальную акутовость слога, следующего за корнем, в то время как $*ved\bar{e}[t\bar{s}]$, $ved\bar{e}m\bar{s}...$ являются результатом распространения окситонезы на всю парадигму по аналогии с 1—2-м лицами ед. числа (чего нет в балтийском)¹.

В данном случае для нас важен, впрочем, не первоначальный характер окончания, а лишь его засвидетельствованная интонационная характеристика: результат аналогии $*ved\bar{e}m\bar{s}$, например, для нас заключает такой же «условно акутовый» отрезок $*-em\bar{s}$, как и $*-o$ в $*ved\bar{o}$.

Слав. $*vesti$ показывает, что $*-ti$ инфинитива также представляло акутовый отрезок. Здесь, однако, славянскому типу противостоит литов. $v\bar{e}\bar{s}ti$ (с диалектными литовскими и латышскими формами, указывающими на параллельный тип $*ve\bar{s}ti$). Чтобы объяснить такое несоответствие, А. Мейе принимает, что литовский инфинитив развился из основ на $-t$, славянский — из основ на $-ti$ (дат. падеж); Х. Станг и Я. Эндзелин осложняют эту гипотезу предположением, что в основу засвидетельствованных форм лег частично и локатив основ на $-ti$ ($*-t\bar{e}i$ в противоположность $*-t\bar{e}i$ в дат. падеже)². Однако по самой своей природе (застывшая форма падежа) инфинитив предполагает единый исходный тип с определенной функцией. Таким исходным типом были образования на $*-tei$ «акутированное» (условно $*-t\bar{e}i$). $*-t\bar{e}i$: могло оказаться под ударением лишь в категории, отражаемой слав. $*vesti$ (корень АЕХ, где Х — взрывной звук); во всех остальных случаях (корни АЕУ, АЕУЗ), как будет показано ниже, $*-t\bar{e}i$: не могло нести ударения фонетически, а безударное $*-t\bar{e}i$: подверглось редукции, характерной для конца слова. Преобладание типа с безударным окончанием дало толчок к аналогическим преобразованиям: $*ued\bar{t}\bar{e}i$: (слав. $*vesti$, литов. диал. $ve\bar{s}tie-s$) дает литов. $v\bar{e}\bar{s}ti$ параллельно $p\bar{i}nti$, $mat\bar{y}ti$ и т. п. Такой же процесс, не прекращаясь, идет в славянских языках: ср. русск. диал. $vest\bar{t}$, $mes\bar{t}$ и литературные $pe\bar{c}h$, $se\bar{c}h$ (др.-русс. $pe\bar{c}h$ и т. п.) или чешский тип $m\bar{e}sti$, $v\bar{e}sti$, $p\bar{e}ci$, параллельный $z\bar{i}ti$, $p\bar{i}ti$ и т. п.

В презенсе «неопределенного» глагола $*voditi$ имеем 1-е лицо ед. числа $*vodj\bar{o}$ при 2—3-м лицах ед. числа $*v\bar{o}di\bar{s}i$, $v\bar{o}di[t\bar{s}]$ и т. д. (русс. $vo\bar{z}j\bar{u}$ — $vo\bar{b}di\bar{u}\bar{s}$, $vo\bar{b}di\bar{u}...$, серб. $v\bar{o}di\bar{s}...$)³, что ясно указывает на «неакутовый» характер \bar{i} - < $*-ei$ -. Однако в инфинитиве $*-ei$ - указывает на акут ($*voditi$). А. Мейе делает отсюда вывод, что $*-ei$ - (\bar{i} -) инфинитива и презенса — различного происхождения; для объяснения движения ударения в парадигме презенса он разрабатывает сложную теорию глагольной метатонии нефонетического происхождения⁴.

¹ Мы, таким образом, принимаем фонетическое начало процесса в отличие от Е. Куриловича (см. его «L'accentuation...», стр. 509), приписывающего тематическим глаголам чисто морфологическое распространение окситонезы. Этому противоречит тип $*t\bar{a}j\bar{o}$, $t\bar{a}j\bar{e}\bar{s}i...$, объясняющийся фонетически.

² См. А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 194; С h. S t a n g, указ. соч., стр. 97; J. E n d z e l i n, Lettische Grammatik, Riga, 1922, стр. 709—710.

³ Следует отметить, что этот первоначальный тип ударения, сохраняющийся в итеративах, был изменен в каузативах. Ср. подробнее С h. S t a n g, Sur l'accentuation des verbes causatifs et itératifs en slave, «Norsk tidsskrift för sprogvidenskap», bd. 16, Oslo, 1952, стр. 263—270.

⁴ См. А. Мейе, указ. соч., стр. 191, 145—147. Э. Френкель (E. F r a e n k e l, Zum baltischen und slavischen Verbum, ZfSlPh, Bd. XX, Hf. 2, 1950, стр. 249—250) вслед за В. Махком пытается объяснить ударение славянских инфинитивов на $*-iti$ влиянием причастий на $-l$ (русс. $vo\bar{d}i\bar{t}i$ под влиянием $vo\bar{d}i\bar{l}$, $-a$, $-o$). Неясно, однако, чем обусловлен соответствующий балтийский тип (литов. $mat\bar{y}ti$), ведь в балтийских языках прилагательные на $-l$ не были вовлечены в систему глагола. Кроме того, возникает вопрос, как объяснить \bar{i} - «акутовое» в самих причастиях на $-l$?

Интонационная характеристика **-ei-* становится более ясной, если сопоставить «интонационную двойственность» этого отрезка с некоторыми явлениями славянских и балтийских языков. Для этого от рассмотрения корня **ued-*, представляющего тип корня АЕХ¹, перейдем к рассмотрению типа АЕУ (где У = *r, l, m, n*), т. е. аналогичного «легкого корня», но с исходом на сонант.

Здесь в презенсе наблюдается окситонеза, как и в типе АЕХ: от корня **rep-*, например, имеем **r̥p̥ŋ, r̥p̥n̥ěši...* (русск. *пну, пнешь*). Нулевой вокализм корня является славяно-балтийским (литов. *pinù, pinì*) нововведением, поскольку все остальные индоевропейские языки указывают на ступень *-e-* (как в типе АЕХ); ср. греч. *ἔπομαι* «работаю», арм. *heno* «шью» от **rep-*. Однако этот тип имеет регулярную баритонезу в инфинитиве: **r̥eti* (серб. *r̥eti*); ср. литов. *pinti*². Высшее дело обстоит так, как будто **-ti* инфинитива теряет свой «акутовый» характер, будучи присоединено именно к корням на сонант. В действительности же переноса ударения на остающийся акутовым отрезок *-ti* не происходит в результате изменения интонации в предшествующем слоге: **pen + tei: > *pèn: | tei:* при **r̥p̥ŋ, *r̥p̥n̥ěši...*³ совершенно так же, как **uod + ei + tei: > *uod | èi: | tei:* при **vodj̥, vòdiši...* В типе же АЕХ **ued + tei:* сохраняется как **ued | tèi:*. Такие отношения не позволяют сделать иного вывода, кроме следующего: инфинитивному **-tei:* предшествовал (точнее, входил в него как первый элемент) какой-то звук, сообщавший предшествующему «краткому дифтонгу» акутовую интонацию, т. е. «удлинявший» его; этот звук выпадал после предшествующего взрывного; таким образом, приведенная выше формула должна выглядеть так: **pen + :tei: > *pèn: | tei:; *uod + ei + :tei: > *uod | èi: | tei:; но *ued + :tei: > *ued | tei:*, поскольку корневой слог **ued-* не способен был «удлиниться» и стать акутовым.

Поскольку происхождение долгих дифтонгов из «кратких дифтонгов» + *ə* является установленным, остается заменить наше обозначение (:) обычным символом *ə* и восстановить формант славянского и балтийского инфинитива как *-ətei:*.

Мы приходим, таким образом, к объяснению «интонационной двойственности» **-ei-* в **voditi* — **vòdiši:*: отрезок **-ei-* не являлся акутовым и становился таковым в инфинитиве после прибавления *-ə* из *-ətei:*. В парадигме презенса не было метатонии.

¹ К этому же типу относятся корни: а) **deg-* (> слав. **geg-*): **žegt̥, žegò, žez̥ěši...* «жечь» (серб. *žèci, žèžem* и т. п.); ср. литов. *dėgti, degù*, др.-инд. *dāhati*; ступень *-o-* в отглагольных именах в литов. *dāgas* «огонь», *dagà* «урожай»; б) **met-*: **mest̥, met̥ ...* «мести» (серб. *městi, mĕtem*); ср. литов. *mėsti, metù* «бросать»; ступень *-o-* в литов. *matyti* «видеть», *atmata* «отбрось»; в) **pek-*: **pekt̥, pekò ...* «мечь» (серб. *pěci, pĕtem*); ср. литов. *kėpti, kepù* (с перестановкой), др.-инд. *pācāti*; ступень *-o-* в **opoka* (русск. *опока*, серб. *opōka*); г) **tek-*: **tekt̥, tekò ...* «течь» (серб. *těci, tĕcem*); ср. литов. *tekù*, др.-инд. *tākti* (и *tākti*); ступень *-o-*: **toçiti toçò, toçiši...*, **tok̥* (русск. *мок*); ср. литов. *tākas* «тропа»; д) *tep-*: **teit̥, tepò ...* «бить» (серб. *tĕpsti, tĕpem*); ср. литов. *tėpti, tĕpi* «смазывать»; ступень *-o-*: **top̥ti, top̥j̥, top̥iši* (русск. *монуть, моилу, мопишу*), **ro-torp̥*, литов. *tapyti* «лепить из глины, снега»; е) **ueg-*: **vez̥ti, vez̥ò* «везти»; ср. литов. *vėžti, vėžù*, др.-инд. *vāhati*; ступень *-o-*: **voz̥ti, voz̥j̥ ...* «возить» (серб. *vòziti, vòzim*), **vozg̥*; ср. др.-инд. *vāhāyati*, греч. *ὄχος*.

² Аналогичные отношения в других глаголах с корнем типа АЕУ: а) **ten-*: **t̥eti, t̥n̥ò* «бить» (словен. *těti, t̃nem*); ср. литов. *tinti, tinù* «отбивать косу»; б) **men-*: **m̥eti, m̥n̥ò* «мять» (словен. *mĕti*); ср. литов. *minti, minù* «ступать»; в) **gen-*: **ž̥eti, ž̥n̥ò* «жаты» (серб. *žeti, žnĕm*); обычно сближается с литов. *genėti, geniu*, латыш. *dzenēt* «срубать ветви с дерева»; г) **gem-*: *ž̥eti, ž̥n̥ò* (серб. *žĕm, žeti* с $\bar{\circ}$ в результате омонимического отталкивания от *žeti* — *žnĕm*); д) **ger-*: *ž̥erti, ž̥r̥ò* «петь песнопения» (др.-русск. *жерети*; ср. *жрец*, как *жнец*); ср. литов. *girti* «хвалить».

³ Х. Станг (указ. соч., стр. 116) объясняет это явление влиянием глаголов с акутом в корне («тяжелый корень»). Но почему же такие глаголы не повлияли на литовский тип *giñti, genù* «гнать»?

*

Воспользуемся теперь тем, что интонационная характеристика элементов, следующих за корнем в рассматриваемых категориях, определена, и постараемся установить интонационную характеристику корня некоторых менее прозрачных образований в тех же категориях.

В презенсе тематических глаголов с регулярной окситонезой резко выделяется группа глаголов, проводящая баритонезу во всей парадигме. Это глаголы с корнем на долгий гласный, традиционно относимые к группе на *-je/-jo*¹.

1. *Aē-*: **sějō* (русск. *сёю*); ср. литов. *sėjū*; **dějō* (русск. *дёю, надёюсь* и т. п.); ср. литов. *dėmi*; **tějō* (русск. *затёю*); **čājō* (русск. *чаю*, серб. *čajem*); ср. др.-инд. *śāyati* «наблюдает»; *(*s*)*pējō* (русск. *спёю, уснёю*); ср. литов. *spėjū*.

2. *Aā-*: **bājō* (русск. *баю*); ср. греч. *φῆμι*; **lājō* (русск. *лаю*); ср. литов. *lōju*, др.-инд. *rāyati*; **rājō* (русск. диал. *раю* «звучу»); ср. латыш. *rāju* «браню»; **mājō*¹ (русск. диал. *маю* «киваю, машу»); ср. литов. *mōju*; *(*s*)*tājō* (ст.-слав. *stajō*); ср. латыш. *stāju*, литов. *stōju*.

3. *Aō-*: **mājō*² (русск. диал. *маять, маю* «утомлять», *умаяться*); ср. др.-в.-нем. *mioen* «трудиться», греч. *μῦσθαι* «стремиться», *μῦλος* «утомительный труд».

Aā- или *Aō-* представляет **tājō* (русск. *таю*), не имеющее надежных индоевропейских соответствий. Все эти глаголы имеют акутированный корневой слог, что естественно для славянских долгих гласных.

Поскольку в презенсе «ступень удлинения» *e* или *o* невероятна (ср. только **ē*, *ā*, *ō* в этих корнях во всех индоевропейских языках, где они засвидетельствованы), остается предположить, что рассматриваемый тип корня представляет сочетание краткого гласного с удлиняющим и акутирующим *ə*. Какой же краткий гласный был здесь в корне? Принятие единого тембра *-e-* в презенсе неизбежно ведет к признанию трех различных звуков типа *ə*, как это сделал в свое время Ф. де Соссюр (и уточнил Г. Меллер) для аналогичных греческих типов презенса: *τίθημι* (*Aē-*), *ἵστημι* < **ι* *στᾶμι* (*Aā-*) и *δίδομι* (*Aō-*). Поскольку, однако, в последнее время неоднократно высказывается мысль, что *-ō-* и *-ā-* восходят к *o* + *ə* или *a* + *ə*², допустим наличие в рассматриваемом типе именно таких рефлексов.

Тогда, по-видимому, огласовка *-o(a)-* должна обнаружиться и в презенсе типов *AEX* и *AEY*. Действительно, в праславянском находим вокализм *-o-* в презенсе так называемых «*Verba des Schlagens*»³, образующих семантически связанную группу: **bortī*, *borjō* (русск. *бороть, борю*); ср. литов. *bàrti*, *barù* «ругаю»; **koltī*, *koljō* (русск. *колоть, колю*); ср. литов. *kàlti*, *kalù* «бью»; **portī*, *porjō* (русск. *пороть, порю*) и некоторые другие. Однако презенс этих глаголов обнаруживает любопытное явление: интонационно он согласуется не с типом **vedō*, *vedèši...*, а с презенсом глаголов на *-ī-*: **vodjō*, *vōdi ši...*, т. е. имеем: **borjō*, *bōresi...*, **koljō*, *kòlesi...* и т. д.

Известно, что в славянском и в балтийском пары вроде **vestī*, *vedō*... — **vodīti*, *vodjō*... находились в постоянном взаимодействии. В ряде случаев у глаголов, чаще всего у тех, которые по своей семантике близки к каузативам, каковыми и являются «*Verba des Schlagens*», ослаблялась их

¹ *-j-* здесь появляется при переводе корневых глаголов в тематический тип: греч. *φῆμι* — слав. **bājō*, греч. *τίθημι* — слав. **dějō*; таким образом, он выполняет функцию «устранителя зияния».

² Ср., например, L. Zgusta, La théorie laryngale, AO, vol. 19, 3—4, 1951, стр. 469—470; В. Я. Ч. В. Иванов, Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник МГУ», Ист.-филол. серия, 1957, № 2, стр. 44. Е. Нурилович (см. «L'arophonie...», стр. 392) также допускает первоначальный вокализм *-o-*.

³ Ср.: J. Mikko, Urslavische Grammatik, Tl. III, Heidelberg, 1950, стр. 80; С. Н. Станг, указ. соч., стр. 39—43.

противопоставленность каузативам, после чего начиналось взаимодействие двух парадигм, приводящее к следующим результатам:

1) флексия типа **vedǫ*, интонация типа **vedǫ* — вокализм типа **vodjǫ*: **bostǫ*, **bodǫ*, **boděši*... «колоть» (болг. *bodà*, серб. *bòdem*); изменение вокализма в славянском, как показывает литов. *besti*, *bedù*;

2) флексия типа **vedǫ*, вокализм типа **vedǫ* — интонация типа **vodjǫ*: **mèliti*, **meljǫ*, **meleši*... (русс. *молóть*, *мелю*, *мелешь*...); литов. *malù*, *màliti* уже отражает соотношения следующего типа;

3) флексия типа **vedǫ* — интонация типа **vodjǫ*, вокализм типа **vodjǫ*: **bòrti*, **borjǫ*, **bòreši*..., **kòliti*, **koljǫ*, **kòleši*... и **mògti*, **mogǫ*, **mòžeši*... (русс. *мочь*, **могù*, **мóжешь*).

Таким образом, единственная группа глаголов с вокализмом -о- в презенсе оказывается вторичного и позднего происхождения. В противоположность этой группе, глаголы типов *Aā-* и *Aō-* не являются славянскими новообразованиями. Наконец, решающим доводом для принятия вокализма -е- в этих глаголах является сохранение соотносимых с ними глаголов на -ī- (что исключает причину контаминации!), показывающих своеобразное фонетическое развитие.

Каузативом к слав. **stāti*, **stānǫ*..., представляющему корень *(*s*)*tā-* (ср. литов. *stōti*, *stōju* без «инфиксации»), является **stāviti*, **stāvǫ*, **stāvīši*... (русс. *стáвить*, **стáвлю*, **стáвишь*...), и отношения **stāti* : **stāviti* повторяются везде, где засвидетельствована ступень -о- к глаголам с корнем *Aā-*, *Aō-*. В соответствии с **tājati*, **tājǫ* имеем **tāviti*, **tāvǫ*... (чеш., словацк. *taviti* «растоплять, плавить», чеш. *otaviti se* «отдыхать», словен. *otāviti* «освежать»), **tavǫ* (чеш. *tav* «расплавленная масса», словен. диал. *otāv* «освежение; оживление»; ср. также серб. *otavan* «мокрый, влажный» при словен. *otāvan* «молодой, сильный»), **otāva* [старое значение в русск. диал. (Сибирь) *otāva* «травя, оставленная под снегом»; серб. *otava*, словен. *otāva*, болг. *otāva* «травя, вырастающая после покоса»]; ср. также серб. *otav*, жен. род, «таяние». **lāviti*, **lāvǫ* к **lājati*, **lājǫ* предполагается сербским *lavež* «лай» (ср. серб. *godež*: *goditi*, *valež*: *valiti* и т. п.) и старосербским *lāva* «лай». В связи с этим закономерно сопоставить русск. диал. *рáять*, **рáю* «звучать» с русск. *орáва* (оба слова ограничены одним и тем же славянским языком, что во всяком случае вероятнее сопоставления А. А. Потебни со словом *реветь*, принимаемого М. Фасмером)¹.

Таким образом, полная пара **tājǫ* — **tāvǫ* и фонетически обуславливает невозможность контаминаций, аналогичных рассмотренным. Остается, следовательно, принять для корней *Aā-* и *Aō-* (и, естественно, *Aē-*) гласный тембра -е-, откуда вытекает наличие трех акутирующих звуков типа *ǝ*, обозначаемых здесь по традиции как *ǝ₁* (*Aeǝ₁* > *Aē*), *ǝ₂* (*Aeǝ₂* > *Aā*) и *ǝ₃* (*Aeǝ₃* > *Aō*).

Для корней *Aē* (*Aeǝ₁*) образование с огласовкой -о- будет отличаться от типа **aviti*, как об этом можно судить на основании единственной ясной пары: **-iǝǫ*

¹ Обращает на себя внимание также аномальная акцентуация в русском причастии на -л- от глагола *забыть*: *забыл*, *забыло*, *забыла* при *пробыл*, *пробыло*, *пробыла*, *убыл*, *убыло*, *убыла*, *пробыл*..., русск. диал. *дббыл*..., представляющих закономерное ударение для «тяжелых корней» определенного типа; ср. *прóжил*, *прóжило*, *прóжила*, *зáжил*..., *зáжило*..., *зáжила*... Если сопоставить это с необычной для корня **byti* семантикой и с наличием **baviti* со значением «развлекать» [что может быть и извлечением из **zavaviti*, как считает В. Махек (V. M a c h e k, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha, 1957, стр. 27)]; чеш. *baviti*, польск. *bawić*, укр. *báviti*; ср. болг. *бавáчка* «няня», также не согласующимся с обычной каузативной (русс. *дóбавить*, *у-бáвить*..., *раз-бáвить*, болг. *за-бáвя* «замедлить») или итеративной (болг. *бáвя* «медлить», серб. *bāviti se* «заниматься», польск. *bawić się* «заниматься») семантикой **baviti*, можно предположить, что **(za)baviti* «развлекать» первоначально представляло каузатив к **(za)bājati-bājǫ*, т. е. «заставить говорить» → «развлекать». Совпадение **baviti* к **byti* привело к замене **zabājati* «заговориться» → «забыть» на **zabyti*; следы такой замены сохраняет лишь русское ударение (*забыл*, -а, как *растáял*, -а).

(русск. *взѣю, взѣять*, т. е. «задумать что-либо в тайне») — **taǰь* (предполагаемое деноминативным русским *таб, таймъ* со значением итератива «держать что-либо в тайне»; ср. русск. *тайна, утайка*). Иными словами, если ε_1 , не изменяющее тембра e , не изменяет также и тембр o (слав. \bar{a}), то $\varepsilon_2, \varepsilon_3$, изменяющие в славянском e в \bar{a} , т. е. обуславливающие более заднюю артикуляцию гласного, очевидно, действуют аналогичным образом и на $-o-$, что отражается как $-\bar{a}v-$ ¹.

В инфинитиве разбираемых глаголов имеем регулярно **sějati*, **bàjati*, **màjati* и т. п., что обычно рассматривается как вторая (инфинитивно-аористная) основа на $-a-$. Если учесть, что это глаголы типа АЕЗ (где Z — звук типа ε), параллельного типам АЕУ и АЕХ, «второй основы» не представляющим, наличие ее именно здесь кажется сомнительным. Предпочтительнее объяснить эти формы фонетически, исходя из наличия форманта $-atei$: в инфинитиве: в формах **se*₁ + *atei*: > **sè*₁ ε | *tei*:, **be*₂ + + *atei* > **bè*₂ ε | *tei*: и т. п. два «акутирующие» звука, стоящие за гласным, после своего (одновременного) ослабления должны были дать гласный (его тембр определяло первое ε) на одну мору дольше обычного долгого. Поскольку, однако, в славянском были лишь двучленные противопоставления по долготе, т. е. $e : \bar{e}$, $o : \bar{a}$, но не * $e : \bar{e} : \bar{e}$ и т. п., «сверхдлинное» e реализовалось как $-\bar{e}\bar{j}\bar{e}-$, сверхдлинное \bar{a} — как $-\bar{a}\bar{j}\bar{a}-$ ².

*

Рассмотренным инфинитивам противостоят инфинитивы типа **grěti*, **zrěti*, с анализом которых мы вступаем в область «тяжелых корней» (АЕУЗ). Презенс этих глаголов, так же как и инфинитив, указывает на «2-ю форму» корня (по Э. Бенвенисту): **grějǰ*, **zrějǰ* и т. п. отражают **gre*₁-, **gre*₂-, т. е. АУЕЗ. Такое состояние является славянским нововведением, как показывает, например, греч. $\delta\acute{\epsilon}\rho\omicron\mu\alpha\iota$ «мне жарко» в соответствии с **grějǰ* (ср. также ниже балтийские соответствия славянским формам). Перестановка **ger*₁- > **gre*₁- в диалекте, легшем в основу праславянского, подтверждается различием инфинитивов **grěti* и **sějati*³. Если бы **gre*₁- было такой же исконной формой, как **se*₁-, мы бы имели **grějati*⁴.

¹ А. Мартине, принимая данную Е. Куриловичем характеристику ε_3 как звука лабиовеляризованного, во многом параллельного * k^w , предполагает, что $\varepsilon_3 + o$ (o — любой гласный) > $\bar{a}o$ (лат. *octāvus*), $\varepsilon_3 + t$ (t — неслогообразующий или абсолютный исход слова) > $\bar{a}t$ (*ociō*) (см. А. Martinet, Non-apophonic o -vocalism in Indo-European, «Word», vol. 9, 1953, стр. 257; ср. также А. Martinet, Le couple *senex-senāius* et le «suffixe» $-k-$, BSLP, t. 51, fasc. 1, 1955, стр. 43). Следует, однако, отметить, что рефлекс типа $-\bar{a}o-$ в изолированных словах, приводимых автором, допускается в равной степени исходное $-\varepsilon_3-o-$ или $-\varepsilon_3-o-$, удачное же объяснение латинского «сакрального» $-u-$ в перфекте на $-vi-$ предполагает именно исходное $-\varepsilon_3-$ (хотя впоследствии в эту категорию вошли формы с разной огласовкой: *sēvi* и т. п.). Совпадение и.е. $-\bar{o}-$ и $-\bar{a}-$ в славянском предполагает, по-видимому, сближение артикуляций ε_3 и ε_2 , так что рефлекс и.е. $o\varepsilon_2 + o$ в славянском не должен отличаться от рефлекса $o\varepsilon_3 + o$ ($-\bar{a}v-$). В пользу такого объяснения говорит отсутствие $-\bar{a}u-o < -\varepsilon_2-o$ в балтийском (литов. *lojā* «разговор») представляет ступень $-o-$ к *lōti* от **lōt*₂-, так же как, например, др.-инд. *māyā* «обман, иллюзия» — ступень $-o-$ к **me*₂-, поскольку там различались \bar{o} и \bar{a} , т. е. ε_3 и ε_2 .

² Но не * $-\bar{e}\bar{j}\bar{e}-$ и * $-\bar{a}\bar{j}\bar{o}-$. В период ослабления звуков типа ε новый долгий звук равнялся двум линейным фонемам: $e + :_1$ ($: < \varepsilon$); в связи с этим второй звук $:_2$ стал примыкать не к $:_1$, а к новому двойному звуку ($e + :_1$), поэтому возникающий «сверхдлинный» должен был равняться двум же «двойным» фонемам, т. е. ($e + :_1$): > ($e + :_1$) ($e + :_1$) > $-\bar{e}\bar{j}\bar{e}-$ и т. п.

³ Различие этих двух категорий четко ощущалось в праславянском как различие инфинитивов глаголов с начальной группой согласных, с одной стороны, и с одним начальным согласным, с другой. Поэтому **spěti*, **stati*, относящиеся, собственно, к типу АЕЗ (с « $s-$ подвижным»), трактовались как **grěti*, в то время как **vějati*, относящиеся к типу АЕУЗ (**veu*₁ -; ср. греч. $\acute{\alpha}\eta\sigma\iota$), не отличалось от **sějati*.

⁴ Иными словами, рядом с **se*₁ ε | *tei*: [**s*(ε):(ε): | *tei*:] существовало еще **ger*₁ ε | *tei*: [**ger*(ε): | *tei*:], давшее **gre*(ε): | *tei*: уже при **s*(ε):(ε): | *tei*:.

К описанному типу с перестановкой в «тяжелом корне», кроме *grēti, grējō, grėje-ši... (словен. grēti, grējem...), отражающего *ger₂₁-, относятся еще: а) *žrēti, žrējō, žrėješi... (словен. žrēti, žrējem, русск. жрѣю); ср. др.-инд. jārati «стареет»; б) *tel₂₁-: *tlēti, tlējō... (польск. tleć, tleje, русск. тлѣю); ср. литов. tūlti, tūly «прекратить говорить», латыш. tūlt «размякнуть» (о льне); в) *per₂₁-: *prēti, prējō (польск. przeć, przeje, русск. прѣю); г) *mer₂₁-: *mrēti, mrējō... (русск. диал. мрѣю «мерцать»); д) *ker₂₁-: *krēti, krējō... (болг. крѣа «чахнуть», чеш. okřáti «выздороветь»); е) *sem₂₁-: *smēti, smějō... (серб. smēti, smēm, русск. смѣю); ж) *uer₂₁-: *vrēti, vrējō... (русск. диал. врѣть, врѣю «быстро запотевать»); ср. литов. vūrti, vėrdu «бурлить, кипеть»¹; далее с ə₂ или ə₃: з) *pel₂₋₃-: *plāti, plājō... (чеш. plāti, plaji «шлытать»)²; и) *uel₂₋₃-: *vlāti, vlājō (чеш. vlāti, vlaji «волноваться», русск. церк.-слав. влāяться, невлāемое пристанище «надежная гавань»); ср. литов. vėlti, vėliū «валиться»; к) *žen₂₋₃-: *znāti, znājō (русск. знāю); ср. литов. pažinti, др.-инд. jānāmi³.

Отчетливо характеризуется ступень -o- в корнях этого типа; здесь имеем: *vrēti — *variti⁴ (серб. vāriti, русск. варитъ), *varz (болг. вар «известь», ст.-слав. varz «жара»); *prēti — *pāriti (серб. pāriti, русск. пāритъ), *parz (русск. пар), *pāra (болг. pāra «пар», русск. опāра); *mrēti — *māriti (русск. диал. мāритъ), *marz (русск. диал. мар «жара, сухой туман», ср. māрево; болг. мараня, омāра «сухая жара»); *grēti — *garz (русск. угāр, загāр); *vlāti — *valiti (словен. valiti, русск. валитъ), *valz, vāla (русск. вал, увāл, серб. obala «берег»); *plāti — *paliti (серб. pālitī, русск. палитъ), *palz (русск. занāл и т. п.). «Ступень удлинения» o в этом типе — результат наличия акутирующего звука после сонанта.

Регулярность такого рефлекса⁵ позволяет предположить, что слав. *kāra (русск. kāра), например, представляет не «аблаут» к *koriti «коп-рить» (как думает М. Фасмер), а отражает ступень -o- к упоминавшемуся *krēti «чахнуть»; в слав. *samz «сам» (ср. авест. hama-, hāma-, др.-инд. samās «тот самый»⁶) можно видеть такое же образование к *smēti. Число подобных случаев может быть увеличено⁷.

Здесь уместно резюмировать вопрос о связи звуков типа ə (по традиции «ларингальных») со славянской интонацией в рассмотренных выше категориях. По-видимому, рассмотренный материал не противоречит известной теории о том, что акутовость слога в славянском (и балтийском) связана с присутствием в нем «ларингального»⁸. Однако это положение

¹ *vrēti, vrējō, vrēši (серб. vrēti, vrēm, болг. врѣя, врѣш и т. д.) представляет так называемый «глагол состояния» на -ě/i- от того же корня и относится к *vrēti, vrējō... как *gorēti, gorjō, gorēši... — к *grēti, grējō или *stojāti, stojō, stojāši — к *slāti.

² Ср. *polēti к *plāti, как *gorēti к *grēti.

³ Перестановка *žen₂₋₃->*gne₂₋₃- в этом корне, в отличие от предыдущих, широко представлена в других индоевропейских языках; ср. лат. gnāvi и т. п.

⁴ Здесь и в ряде других глаголов ударение по типу *vodjō, vōdiši... аналогичное (ср. *pāriti, pārijō...).

⁵ Сопоставление *toliti (русск. утолитъ) с *tlēti (см. словарь М. Фасмера) не удовлетворяет семантически (ср. серб. tāliti se «расплавляться»).

⁶ Представляющее *som₂-, как показал Ф. Кэппер (F. K u i p e r, Vedic sādhiḥ-: sadhātha- and the laryngeal umlaut in Sanskrit, «Acta orientalia», vol. XX, pars 1, 1946, стр. 35) на основании «ларингального умлаута»: др.-инд. simā—samā-.

⁷ Так, например, отношения *kalz : *kolēti (русск. околѣть) заставляют думать об исходном *kalz : *kolēti (koljō) : *klēti (klējō), параллельном *garz : gorēti : grēti. Наличие в праславянском *kōliti, koljō «колоть» привело к созданию контаминированного *kolēti, kolējō; *maniti: mñēti предполагает существование *mñēti, mñējō от *men₂₁- (ср. греч. μέννυμαι).

⁸ См. A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, t. I, Paris, 1950, стр. 241—246; кратко об этом W. L e h m a n n, Proto-Indo-European phonology, Austin, 1952, стр. 31.

нуждается в некоторых уточнениях, которые необходимо внести, в первую очередь, в связи с анализом глаголов типа **bvr̥āti, ber̥, ber̥ēši...* («со второй основой на -а»).

Окситонеза в презенсе этих глаголов и ступень -о- типа **bor̥z* резко отделяют их от группы АЕУZ, где Z — акутирующий звук. Противопоставление же презенса **ber̥* — **r̥n̥o* и инфинитива **bvr̥āti* — **pe̥ti* не позволяет идентифицировать их с «легкими корнями» (АЕУ), так как в этом случае ожидалось бы **b̥erti, b̥r̥o...* В то же время сходство инфинитивов **bvr̥āti* и **znati* указывает на наличие какой-то перестановки, возможной лишь в типе АЕУZ, Z которого, однако, не акутирующий, как указывает парадигма презенса. Обозначим звук такого типа как *ə'*, в отличие от акутирующих *ə*. Формы инфинитива и презенса будут соответственно **ber̥ə' + aei*: > **ber̥ə'ə|tei*: и **ber̥ə'-[o, eši...]*. Как показывает рассмотренная выше перестановка АЕУZ > АУЕZ (Z=ə), акутирующее *ə* может «перетягивать» к себе гласный отрезок. В рассматриваемом типе такой процесс может произойти лишь в инфинитиве, где **ber̥ə'ə|tei*: закономерно дает **br̥ə'ə|tei*:, отражаемое в славянском как **bvr̥āti¹*, в то время как в презенсе **ber̥ə'-[o, eši...]* условий для такой перестановки нет.

Кроме **bvr̥āti, ber̥, ber̥ēši...* (ср. др.-инд. *bhárati*, греч. φέρω «несу»), такой тип представлен следующими глаголами: а) **gen̥ə'-: *g̥n̥āti, g̥n̥o...* (чеш. *hn̥āti, ženu*); ср. греч. θένω «убиваю»; ступень-о-: **gon̥ti, gon̥o* (болг. *g̃n̥a*), **gon̥z* (др.-русск. *гонь* «мера площади»); ср. литов. *gan̥yti* «насти, беречь», *gānas* «настух (табуна)», *pagan̥a* «настьба»; б) **per̥ə'-: *pr̥āti, per̥o...* «бить (вальком), стирать» (серб. *pr̥āti, per̥em*, но болг. *per̥i*, словацк. *per̥eš*); в) **ser̥ə'-: *sr̥āti, ser̥o*; ступень-о-: **sor̥z* (русск. *cop. cop̥ítь*); г) **(s)tel̥ə'-: *stl̥āti (*stl̥o* вместо **stel̥o* под влиянием **stol̥iti*); ступень-о-, очевидно, в **stol̥z*.

Обратим внимание на интонацию соответствующих литовских инфинитивов: **g̥n̥āti (žen̥o)* отвечает литов. *g̃inti (gen̥i)* «гнать», **pr̥āti (per̥o)* — литов. *pẽti (periù)* «бить вальком, купать» и **bvr̥āti (ber̥o)* — литов. *bẽti (ber̥iù)* «рассыпать»². Такие отношения позволяют нам разобраться в следующих более сложных случаях:

1. В соответствии с русским *драть, дер̥ь...*, ст.-слав. *dv̥rati, der̥o...*, предполагаемыми **der̥ə'-(*dv̥rati, der̥o)*, имеем разноречие в других славянских языках: серб. *drij̥eti, d̥erem*, словен. *d̥r̥eti, d̥erem* как будто указывают на **derti, der̥o*, а польск. *dr̥eć, dr̥e*, в.-луж. *dr̥eć, dru* — на **derti, dv̥r̥o*. Все это наводит на мысль, что мы имеем дело с двумя корнями: а) **der̥ə'-(*dv̥rati, der̥o)*; б) **der̥-(*d̥erti, dv̥r̥o)*, контаминация которых представляют сербские и словенские формы. Это предположение подтверждается наличием в чешском языке обеих форм, различающихся и семантически: чеш. *dr̥áti, der̥u* «срывать, дёргать» и *d̥r̥íti, dru* «сдирать кожу, шкуру». В остальных славянских языках эти значения совмещаются в одном глаголе. То, что перед нами действительно два разных корня, подтверждает наличие при литов. *d̥ĩti (der̥i* и *diriù)*, уже знакомом нам типе инфинитива, совмещающем те же значения, что и славянский глагол, параллельной формы *d̥r̥ti*, причем только эта параллельная форма возможна в сочетаниях вроде *lauka (dir̥va) d̥r̥ti* «пахать поле, ниву». Эта форма, таким образом, соответствует слав. **derti, *dv̥r̥o* «сдирать кожу, шкуру» (литов. собственно «сдирать, раздирать верхний почвенный слой»), а слав. **dv̥r̥āti, der̥o* имеет закономерную параллель в литов. *d̥ĩti*.

2. Аналогичную двойственность отражает **žr̥āti, žer̥o* (чеш. *žr̥áti, žeru*, словацк. *žr̥át', žerem*), противостоящее *žerti, ž̥r̥o* (ст.-слав. *požr̥eti, požr̥o*, словен. *žr̥éti, žrem*, польск. *žreć, žre*, ст.-чеш. *žr̥ieti, žru*). Контаминированное **žr̥āti, žro* представляет русск. *жрать, журу*; много рода контаминация в сербских формах *žder̥ati, zd̥erem*. Все приведенные формы совмещают значения «есть» и (в различной степени) «пить» (ср. русск. *нажр̥аться* «упиться»). В данном случае решение вопроса дает лужицкий материал: в.-луж. *žrać, žeru*, н.-луж. *žraś, žeru* «жрать» < **žr̥āti, žer̥o*

¹ Разница в структуре между **br̥ə'ə|tei*: (**bvr̥āti*) и **grẽə|tei*: (**gr̥ēti*) свидетельствует о том, что **ger̥ə- > grẽə-* (в инфинитиве и презенсе) произошло раньше, чем **ber̥ə'- > br̥ə'e-* (в инфинитиве).

² Сближение Э. Германа, принимаемое Э. Френкелем (см. «Litauisches etymologisches Wörterbuch», Heidelberg, 1955, стр. 40) и нерешительно М. Фасмером.

(*gera'-)¹ при в.-луж. *žrjeć*, *žru*, н.-луж. *žreš*, *žru* «лакать, пить» < *žerti, žbro (*ger-). Таким образом, только *žerti «пить» может быть сопоставлено с литов. *gėrti*, *geriù* «пить», в то время как *žbràti, žerð можно сблизать лишь с греч. βιβρώσκει «жру», лат. *vorò* «пожираю» и, может быть, др.-инд. *giráti* «проглатывает».

Отсюда ясно, что славяно-балтийские отношения *gъnati : giñti являются не случайными, а характерными для глаголов с корнем типа АЕУэ'; они противопостоятся как отношениям *žęti : giñti типа АЕУ, так и отношениям *vręti : vĭrti типа АЕУэ. Балтийские языки, не знающие перестановки в инфинитиве, не могли противопоставить там типы АЕУ и АЕУэ: если в литов. *giñti* < *gĕnętei:² акут объясняется влиянием -ę из -ętei: инфинитива, то в литов. *vĭrti* < *uĕręә | tei: он отражает -ә₁-корня. Напротив, тип АЕУэ' должен был отличаться от предшествующих двух интонационно: в *giñti* < *genә'ә | tei: акутирующему ә предшествовал неаккутирующий ә'; в период падения «ларингальных» это помешало акутированию слога, и в то же время ударение не могло быть перенесено на следующий отрезок, поскольку слог содержал -ә-. В результате имеем литовский циркумфлекс.

*

Вернемся еще раз к инфинитиву *bъrati < *brә'ę | tei:. Он, как и все другие инфинитивы глаголов типа АЕУэ', указывает на -а- перед -ti. Тембр -а- возник, следовательно, в сочетании -ә'еә- (предполагать -ә'оә- при *berq... < *berә'-, т. е. при -е- в формах, где не было перестановки, не реально). Заманчиво было бы предположить, что ә, удлиняя -е-, одновременно сообщает ему тембр -ā-, т. е. что -ә- в -ętei: представляет ә₂ или ә₃. Существует, однако, возможность, что тембр гласному придает ә'-, предшествующее ему. Решение этого вопроса связано с анализом еще одного типа презенса.

Слав. *mĕrti, mърò, mърĕšĭ ... (серб. *mrijĕti*, *mĕm*, русск. *мерĕть*, *мру*), представляющее, на первый взгляд, *mer- рассмотренного нами типа АЕУ, соответствует литовскому *miñti* (*mirštu*, *miriaũ*) вместо ожидаемого *mirti. Такое соответствие не является случайным, как показывает ударение причастий на -l- от приставочных глаголов с этим корнем в русском *умер*, *умерлá*, *зáмер*, *замерлá*, *пóмер*, *померлá* (схема: ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪), противостоящее ударению типа АЕУ в этой же категории: русск. *прижáл*, *прижáла*, *нажáл*, *нажáла*, *зажáл*, *зажáла*...; *примя́л*, *примя́ла* ... и т. п. (схема ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪). Литов. *miñti*, параллельное *giñti*, предполагает корень типа АЕУэ'³; славянское же *mĕrti*, противостоящее *bъrati-заставляет думать о двух звуках типа ә', обуславливающих такое противоположение.

Естественно предположить, что если звуков типа ә' несколько, то они должны различаться по тембру, сообщаемому соседней гласной, так же как звуки типа ә. Один из них, очевидно, сообщает соседнему е от-

¹ Что представляет выравнивание < *gъrati, žerð... (ср. *gъnati*, *ženð*...). Перестановка *gerә'-> *grә'e, *genә'-> *gnә'e-, как, естественно, и более ранняя перестановка *gerә₁-> *greә₁, *kerә₁-> *kreә₁- (*grĕti, *krĕti), проходила до первой палатализации.

² Мы отвлекаемся от нулевой ступени (*ir*, *in* и т. п.), реально представляемой литовским, поскольку она отражает, с одной стороны, активный процесс выравнивания вокализма инфинитива и презенса, с другой, связана с противопоставлением по переходности — непереходности (ср. С h. S t a n g, указ. соч., стр. 98).

³ О том же свидетельствует и ударение русских причастий. Если корень *gem- дает «акутовый» слог в русск. *нажáл*, *нажáла*, значит -l- причастия в действительности представляет -әl-. Если же русск. *умер*, *умерлá* указывает на коренной слог без акута, то это объясняется тем, что перед -әl- находилось неаккутирующее -ә'-.

тенок *o* (не удлиняя его), другой сохраняет его как *e*¹. Звук тембра *e* (условно *Q*) не изменял качества как соседнего *e*, так и соседнего *o*; поэтому одновременно с началом его ослабления он должен был ассоциироваться с «нулевой фонемой» ($EQ = e, OQ = o, QE = e, QO = o$), откуда следует, что корни типа АЕУQ должны быть отражены в языке максимально близко корням типа АЕУ, что мы и имеем в инфинитиве **měrti* и презенсе **mьrǫ*, во всем подобным **pěti* и **рьnǫ*². Звук же тембра *o* обладал рядом различительных черт, отличавших его от нулевой фонемы при ослаблении (главные: $\partial'e > o, e\partial' > o$), поэтому он и после ослабления мог дольше сохраняться в качестве самостоятельной фонемы. Перестановка в типе **bьrati* отвечает именно такому состоянию. Здесь, следовательно, можно восстановить ∂' тембра *o*. В соответствии с ∂_1 и ∂_3 обозначим ∂' -звуки как ∂'_1 (**merǎ'_1*-) и ∂'_3 (*berǎ'_3*-).

Из изложенного следует, что возникновение тембра \bar{a} в сочетании $\partial'e\partial'$ - в типе **bьrati* нужно объяснить влиянием предшествующего «неаккутирующего» ∂'_3 . Тембр же ∂ в $\partial'tei$: по-прежнему не поддается определению.

Тип АЕУ ∂_1 , кроме **merǎ'_1*-, засвидетельствован еще: а) **kenǎ'_1*: **četi*, -*čьnǫ*... (серб. *рѡчећи*, *рѡченет*, русск. *начать, начнѹ*); ср. русск. *начал, началá*, латыш. *cītiēs* «бороться»; ступень -*o*- в **konь* (русск. *кон, вакн, конѣц*); б) **perǎ'_1*: **pěti*, *рьrǫ* (серб. *зáпријети, зáпрет*, русск. *перѣть, пры*, ст.-чеш. *přieti, pru*); ср. русск. *áпер, áперá, óпер, óперá*; ступень -*o*- в **rogь* (русск. *áбр*).

Наконец, к этому типу относится слав. **jěti*, *jьmǫ* (ст.-слав. *възѣти, възьмѹ*, русск. *взять, возьмѹ*); ср. русск. *принял, приняла, обнял, обняла* и литов. *ĩmĩ*³. Это образование следует рассмотреть подробнее, поскольку оно позволяет восстановить корень со специфической структурой.

Если считать здесь слав. -*j*- протетическим звуком (ср. лат. *emo, emere*), корень нужно реконструировать как **emǎ'_1* -: **emǎ'_1\partial* | *tei* > **jěti*, литов. *ĩmĩ*. В презенсе этот тип характеризуется нулевой ступенью; ср., например, **mьrǫ*, *-*čьnǫ*, где *r* и *n* становятся слогаобразующими между двумя неслогаобразующими (**mrǎ'_1* > **mǎ'_1* -). Позвогильно спросить, каким образом становится слогаобразующим -*m*- в **jьmǫ* (от которого может быть образован итератив **jimǎjǫ*, как от **mьrǫ* — **mirǎjǫ*). Если постулируемое **emǎ'_1*- на нулевой ступени может дать только **mǎ'_1*[- ∂], а никак не **mǎ'_1*[- ∂] ? В роли несовершенного вида к глаголу **jěti* в праславянском функционировал глагол **jьmǎti*, *jemjǫ*; ср. литов. диал. (j) *emĩ*, латыш. *jēmt, jētm*. Очевидно, он соответствует типу **bьrati*, *berǫ* (АЕУ ∂_3). Но если **jemjǫ* можно объяснить из **emǎ'_3*[- ∂], то как толковать **jьmǎti* (**emǎ'_3*- $\partial'tei$: после перестановки должно дать **mǎti*) ?

Все становится на свое место, если принять, что в начале корня находился ларингальный звук неизвестного качества (∂ или ∂'), но известного тембра (*e*), т. е. ∂'_1 или ∂_1 : при инфинитиве * ∂'_1 (¹)*emǎ'_1\partial'tei*: тогда закономерно имеем презенс * ∂'_1 (¹)*mǎ'_3*[- ∂] > **jьmǫ*, инфинитив же * ∂ (¹)*emǎ'_1\partial'tei*: дает после перестановки * ∂'_1 (¹)*mǎ'_3* $\partial\partial$ | *tei*: > **jьmǎti*.

Точнее определить некоторые рефлексы ларингальных в начале корня позволяет слав. **orǎti*, *orjǫ* «пахать» [ст.-слав. *orati, orjǫ*, польск. *orac, orze*, русск. диал.

¹ Теоретически допустим еще третий звук (тембра *a*). Однако особое положение \bar{a} в индоевропейской фонологической системе (ср. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 185), а также ряд соображений, выходящих за рамки рассматриваемой темы, заставляют принять только 2 звука ∂' тембра *o* и *e*.

² Совпадает и ступень -*o* -: **morĩti*, *morjǫ*, *mǎri ši*... (русск. *морить, морь*...), **morǫ* (серб. *mǎr* «смерть»).

³ В балтийских языках тип *mĩti*, отражающий АЕУ ∂_1 или АЕУ ∂_3 , представлен еще рядом глаголов; ср. *gĩmĩti* «рожать», *reĩmĩti* «подпирать», *žeĩti* «выгребать жар», литов. диал. *leĩmĩti* «загадывать на будущее» (ср. К. Явнис, Грамматика литовского языка, Пг., 1908—1916, отд. II, стр. 176—177).

(северн.) *orŭ*, *orěšь* (и *brěšь*); **orjŕ*, могущее отражать лишь вокализм *-e-* (принимать здесь вокализм *-o-* не позволяют индоевропейские соответствия с *-a-*: лат. *arŏ*, *arāre*, греч. ἀράω), противостоит **jemjŕ* своим начальным *ə* тембра *a* или *o* (если отвлечься от индоевропейского материала, указывающего на *-a-*). Так как **orjŕ* может быть лишь типом АЕУ_э, в инфинитиве ожидали бы **əerə*_э- *ətēi* > **ərə*_э *eə* | *tei*:, т. е. **jŕati* или, скорее, **rati* (ср. отсутствие начального *-j-* в **orjŕ* при **jemjŕ*). Аномальное сохранение *-o-* в **orāti* стоит в связи с еще одной особенностью этого глагола: в типе АЕУ_э ожидается литов. **ar̃ti*, в действительности же имеем литов. *ar̃ti*, *ariū* (и латыш. *afu*, *ar̃t*; ср. литов. *gėrti* — латыш. *dzer̃tu*, *dzer̃t*). Балтийские формы можно объяснить лишь акутирующим *ə* начальным (*ə*_э, как указывает и. е. *a-*): в **əerə*_э | *tei*: *ə*_э не могло, таким образом, воспрепятствовать акутированию. Следовательно, перестановка в инфинитиве этого глагола в славянском не могла быть фонетической, как в **bŕrāti*, а лишь аналогической, поскольку структурно корень **əerə*_э относился к АЕУ_э. Это подтверждается формой **orāti* вместо **rati*: наличие перестановки (*-āti*) и ударение инфинитива аналогично **bŕrāti* (ср. серб. *uzdrati*, *zadržati*, как *ubrali*, *sadržati*), однако полная ступень в первом слоге (*ə*_э > *o*) сохранялась вопреки этой перестановке. Такое объяснение **orāti*, *orjŕ* позволяет восстановить корень **jŕeti* как *ə₁emə₁*-, **jŕmāti* — как **ə₁emə_э*- [и среди нетематических глаголов: **ə₁es*- (**jesmь*, литов. диал. *esmi*), **ə₁eia_{1,3}*- (ср. литов. *eiti*, *eimi*)].

*

Подведем некоторые итоги. Среди рассмотренных глагольных образований можно выделить следующие структурные типы корней, каждый из которых обуславливает определенные интонационные, количественные и структурные отношения в праславянском:

I. АЕХ. Славянские отношения: **vesti*; *vedŏ*, *veděši*... — **voditi*, *vodjŏ*, *vodīši*...; *vodь*, отражающие **uedə* | *tei*:; **ued*-[*ŕ*, *eš i*...] — **uod* | *eiə* | *tei*:; **uodj*-[*ŕ*], **uod* | *ei*-[*š i*]... Из рассмотренных сюда относятся корни: **pək*-, **tek*-, **geg*-, **tep*-, **ueg*-, **ued*-.

II. АЕУ. Славянские отношения: **pęti*; *pŕnŏ*, *pŕněši*... — **ponь*..., отражающие **penə* | *tei*:; **pen*-[*ŏ*, *ěš i*...]. Корни: **pen*-, **ten*-, **men*-, **gen*-, **gem*-, **ger*-.

III. АЕЗ. Славянские отношения **tājati*; *tājŕ*, *tājaši*... — **tāviti*; *tāvjŕ*...; *tavь*, отражающие **teə_{э-3}* | *tei*:; **teə_{э-3}*[*ŕ*, *eš i*] — **toə_{э-3}* | *eiə* | *tei*:. Корни: **seə₁*-, **keə₁*-, **deə₁*-, **teə₁*-, **beə₂*-, **leə₂*-, **meə₂*-, **reə₂*-, **meə₃*-, *(*s*)*peə₁*-, *(*s*)*teə₂*-, **teə₂₋₃*-.

IV. АЕУЗ.

1. АЕУ_э. Славянские отношения: **vręti*; *vręjŕ*, *vręješi*... — **variti*, *varjŕ*...; *varь*, отражающие **uerə*_э | *tei*: > **ureə*_э | *tei*:; **uerə*₁-[*ŕ*, *eš i*] > **ureə*₁-[*ŕ*, *eš i*] — **uorə*₁ | *eiə* | *tei*:¹. Корни: **uerə*₁-, **telə*₁-, **perə*₁-, **semə*₁-, **kerə*₁-.

¹ Несколько слов о причинах перестановки (в ступени *-e-*) и удлинения (в ступени *-o-*) в АЕУ_э. Как известно, слав. *-ert* (т. е. *-ert* и *-erə't*) противопоставлялось *-erāt* интонационно (ср. подробнее J. Kurýłowicz, L'apophonie..., стр. 397—398). Этого противопоставления фонетически не могло быть в позиции перед гласным (*-ere-* и *-erəe-* = *-e* | *re-* и *-e* | *rəe-*), однако именно в этой позиции должно было быть выражено в презене различие между АЕУ_э и АЕУ, АЕУ_{э'}. При этом в типе АЕУ_э рефлекс *-erə-* должен был противопоставляться не *-er-*, но, одновременно, *-er* (АЕУ_э: **berŏ*) и *-z-* (АЕУ, АЕУ_{э'}: **pŕnŏ*, **mŕŏ*), т. е. он не мог быть ни *-er-* (совпадает с АЕУ_э), ни *-ēr-* (отличается от *-er-* на одну мору, но на две — от *-z-*). Такое положение привело к перестановке, где **rĕ*-[*e-* по слогоразделу противопоставлено *-e* | *re-* и *-re*. Напротив, в ступени *-o-* наличие *-or-* как в АЕУ (**pona*), так и в АЕУ_э_{1,3} (**borь*, **morь*) вызвало к жизни *-ōr-*, отличающееся от *-or-* на одну мору, как *ō* (*o + ə*) от *ŏ* (*o, o + ə'*). Таким образом, причина обоих процессов коренится в фонетических противопоставлениях, но сами процессы нельзя характеризовать как чисто фонетические.

*ġerā₁-, *merā₁-, *gerā₁-, *ġenā₃-, *uelā₂₋₃-, *pelā₂₋₃-, *perā₂₋₃-.

2. АЕУā. а) АЕУā₁. Славянские отношения: *mèrti; *mьrġ, mьrèšġ... — *moriti; morъ (литов. *mir̃ti*), отражающие *merā₁ā|tei:, *merā₁-[ġ, ešġ] — *morā₁eiā|tei:. Корни: *merā₁-, *kenā₁-, *perā₁-, *ā₁emā₁-; б) АЕУā₃. Славянские отношения: *bьrāti; berġ, berèšġ...; *borъ, отражающие *berā₃e|tei: > *brā₃eā|tei: ¹; berā₃-[ġ, ešġ]. Корни: *berā₃-, *ġenā₃-, *perā₃-, *serā₃-, *(s)telā₃-, *derā₃-, *ġerā₃-, *ā₁emā₃-.

Схематически вокализм типов с сонантом (II и IV) может быть представлен следующим образом:

Тип корня		Морфологическая категория		
		ступень -e-		ступень -o- (глаголы на -iti, существительные на -ō, -ā)
		инфинитив	презенс	
II	АЕУ	-er-	-ьr-	-or-
IV	АЕУe' ₁	-er-	-ьr-	-or-
	АЕУā ₃	-ьr-	-er-	-or-
	АЕУā	-rē-	-rē-	-ar-

Рассмотрение перечисленных типов позволяет реконструировать для раннего праславянского пять звуков, называемых здесь по традиции ларингальными². Три из них — ə₁, ə₂, ə₃ (акутирующие ларингальные), находясь непосредственно после гласного -e-, обуславливают акутовость соответствующего слога, удлинение гласного и его тембр; они акутируют и удлиняют гласный o-. Неакутирующие ларингальные ə₁' и ə₃' в позиции после сонанта препятствуют акутированию слога, что отражено в балтийском ударении, в славянском — перестановкой или совпадением с типом без ларингального. Обе разновидности ларингальных могут находиться перед гласным и в этой позиции определяют его тембр, а акутирующие, возможно, — и акутовость. Суммируем это в таблице.

Качество	Тембр		
	o	a	e
Неакутирующий, неудлиняющий	ə ₃ '	—	ə ₁ '
Акутирующий, удлиняющий	ə ₃	ə ₂	ə ₁

¹ Перестановка в *bьrāti объясняется тем, что славянский циркумфлекс (в отличие от балтийского ударения, отражаемого литовским ~) мог указывать лишь на отсутствие акутирующих ə в слоге; поэтому отрезок -erā₃ā-, где «акутовость» ə не могла проявиться, был перестроен в -rā₃ēā с акутом. Эта перестановка, следовательно, ближе подходит под определение «фонетическая».

² В статье автор стремился исходить при реконструкции этих звуков главным образом из славянского (и, частично, балтийского) материала. По мере возможности избегались ссылки даже на наиболее прочно установленные положения «ларингальной теории», поскольку в последнее время рядом исследователей многие ее выводы были поставлены под сомнение.

Определение положения этих звуков в фонологической системе представляет самостоятельную проблему.

*

Поскольку *-i-*, *-u-* являются такими же индоевропейскими сонантами, как *l*, *r*, *m*, *n*, очевидно, что все описанные типы корней могли иметь варианты АЕI, АЕU, АЕI_э, АЕU_э, АЕI_{э'}, АЕU_{э'}. Их положение в системе глагольных корней отличается от положения корней с другими сонантами в связи с проявляющейся в праславянском (как и в других индоевропейских диалектах) тенденцией к монофтонгизации дифтонгов на *-i-*, *-u*¹.

1. Некоторые из глаголов, представляющих корни на *-i-* (АЕI, АЕI_э, АЕI_{э'}), образуют своеобразный тип: а) *zъjati, zějō «знять» (польск. *zrać, ziejā*, ст.-слав. *zjati, zějō*, серб. *zјati, zјāt*; ср. др.-в.-нем. *gien*, лат. *hiāre*); б) *smъjati, smějō (русск. *смеюсь*, ст.-слав. *smjati se*); ср. латыш. *smеju*, др.-инд. *smāyate*; в) *lъjati, lějō, контаминировавшее с *liti, lъjō; ср. ст.-слав. *ljati, lějō*, но чешский инфинитив *liti*, польск. *lić* при презенсе чеш. *leji*, польск. *leje* (обобщение *-ě-* презенса в словацк. *lejem, liat*); ср. русск. *луть, лью*. Литовское противопоставление *lieti, lieju* (выравнено < *leju; ср. латыш. *leju*) «лить, поливать» [сюда же *lūti, lyju* «ядти (о дожде)»] — *liēti, lieju* «лить, расплють (металл)» показывает, что славянские формы отражают соответственно *lei- (*liti) и lei_э'- [*lъjati; этот корень восстанавливаем на основании литовского циркумфлекса, формы славянского инфинитива и русского ударения типа *на́лил, нали́л* (как *по́мер, померáл*), отражающего тип АЕI_э'₁, поскольку именно к этому типу должно было прийти *lei_э'₃, контаминирующее с *lei-] ².

Эти образования показывают, что если для АЕI мы имеем *liti, lъjō, во всем аналогичное *piti, pъjō, то в соответствии с *bъrati, berō представлено *lъjati, lějō с неожиданным *-ě-* в презенсе. Это *-ě-* объясняется своеобразным «предупредительным» морфологическим удлинением. Тип АЕI_э'₃ противопоставлялся типу АЕI, как АЕR_э'₃: АЕR и т. п., т. е. *lei- [ɔ]: *lъ- [ɔ], как *ber- [ɔ]: *pъ- [ɔ] («полная ступень»: «нулевая ступень»). Но с началом монофтонгизации (*lei- [ɔ] > *li- [ɔ]) это противопоставление могло сохранено только как *lei- [ɔ]: *lъ- [ɔ] ³.

Все остальные глаголы с корнями на *-i-* в презенсе и инфинитиве не отличаются от *liti, lъjō, что, однако, не значит, что все они представляют тип АЕU. Так, глагол *viti, vъjō (русск. *вить, вью*, серб. *viti, vјem*) имеет индоевропейские соответствия, указывающие на «тяжелый корень» (лат. *viēd, viēre* «плести», др.-инд. *vitás* «свитый»). Этот глагол совмещает два значения: «плести (венок)» (ср. *вить гнездо*) и «двигаться определенным способом» [русск. *витья* (о птице, змее), *взвиваться, извиваться*]; ср. элит. *sviva me svъre* «сжимается сердце», серб. *zaviја na srcu* — то же, и т. п. С этим связаны колебания в ударении в русских причастиях: *свилá* (гнездо), *обвилáсь, обвилáя, ввилáсь* и т. п. Все это указывает на наличие контаминации двух корней *uei_э'₁- (*ввилáсь*) и *uei- или *uei_э-. Последнее более вероятно, так как в соответствии с *biti, bъjō, где представлено русск. *вбил, вби́ла, отбил, отби́ла*, без колебаний имеем ирл. *benim* < *bināmi, указывающее на «тяжелый корень». С *uei_э'₁- же согласуются *ziti, zъjō (чеш. *zíti, zјji*, польск. *żyć, żyje*; *zivō в остальных славянских языках; ср. русск. *пржи́л, прожи́л* и т. п. и *piti, pъjō (русск. *пить, пью*, серб. *piti, pјem*); ср. русск. *пропи́л, пропи́л*, представляющие, следовательно, *gei_э'₁- (ср. др.-инд. *jīvati*)⁴ и pei_э'₁ (ср. др.-инд. *pitás*).

Таким образом, если для корней на *r*, *l*, *m*, *n* мы отмечаем совпадение типов АЕU и АЕU_э'₁, то в корнях на *-i-* и тип АЕU_э совпал с этими двумя. Причина — в невозможности здесь перестановки АЕYZ > АYEZ. Когда она проходила в других

¹ О причинах и хронологии процесса ср. F. Antkowskī, La chronologie de la monophthongaison des diphtongues dans les langues indo-européennes, Poznań, 1956. Гораздо позднее та же тенденция проявилась в славянских дифтонгах на *-n-*, *-m-*.

² Ср. еще *prъjati, prějō (чеш. *práti, přeji*).

³ Иначе говоря, противопоставление $(x+i):i$ [как $(x+r):r$], где $x=1$ море, неизбежно преобразовывалось в $(x+x+i):i$ (или $x+i$), так как $x+i=i$.

⁴ Литов. *gūti* не противоречит *gei_э'₁-, оно отражает влияние *gūvas*, как, например, лат. *vivere*.

типах, *-ei-* в АЕИЗ в связи с началом монофтонгизации уже представляло неразложимое единство; с завершением монофтонгизации, как только **beia-[ə] > *bi-[r]*, совпадение с типом АЕУ стало полным¹. Результатом этого совпадения в формах, представляющих ступень *-o-*, явилось отсутствие противопоставления *ā. o* в ступени *-o-*. Здесь все виды корней представляются *-o-*: **bojь* (русск. *бой*), отражающее АЕI₂, **voжь* (серб. *rovoj* «повязка»), **gojь* (др.-русск. *гой* «мир»), **gojiti* (серб. *gòjiti* «откармливать»), отражающие АЕI₁, **lojь* (болг. *лой* «жир»), отражающее АЕI, **zojь* (русск. диал. *зой* «крик», *зоить* «громко кричать»; ср. *назыйливый*, как *выносливый*), отражающее АЕI₂².

2. При рассмотрении славянских глаголов с корнями АЕУ, АЕУ₂, АЕУ₃, представляющих чрезвычайно запутанные отношения³, прежде всего бросаются в глаза инфинитивы с *-y-* в корне: **ryti*, **tyti*, **myti*, **vyti*, **byti*, **nyti*. Единственным источником слав. *-y-* принято считать и.е. *-ū-*, т. е. *u + ə*. В таком случае все эти инфинитивы представляют «нулевую ступень» огласовки, чем они отличаются от инфинитивов всех остальных типов на сонант [ср. **merti* (АЕУ₂), **gerti* (АЕУ), перестановки в **znati* и **bьrati*, объяснимые только их ступени *-e-*], в том числе и от ряда инфинитивов с корнями на *-u* (например, **rjuti*).

Для того чтобы показать, что такая аномальность в действительности не существовала, необходимо остановиться на рассмотрении условий монофтонгизации славянских дифтонгов⁴ на *-i-* и на *-u-*. Как было указано выше, противопоставление *-ert* (= *-ert* и *-erə't*): *-erət* стало в праславянском противопоставлением интонационным, когда *r = l, r, m, n*. Когда же *r = i, u*, процесс монофтонгизации привел к тому, что это противопоставление перешло в противопоставление интонационное и качественное, если элементами дифтонга были звуки разных рядов.

Действительно, если в долгих дифтонгах *eiə = e + iə > i:* (при *ei = e + i > i*) и в *oiə = o + uə > u:* (при *ou = o + u > u*) количественная неравноценность обеих частей дифтонга не изменяла его качества, так как эти части были звуками одного ряда, то *oiə = o + i* не могло дать тот же результат, что *oi = o + i* из-за преобладания в составе дифтонга элемента переднего ряда, а *euə = e + u* не могло совпасть с *eu = e + u* из-за преобладания элемента заднего ряда. Естественным, таким образом, является развитие **oiə > i:* при **oi > ě* (собственно 'ä, т. е. звук более задний, чем *i:*), окончательно установленное К. Мейером⁵. Так как *eu > ju* (собственно 'ü, аналогичное 'ä, компромиссный передне-задний звук), рефлекс **euə* должен был быть звуком более задним: как **oiə* совпало с рефлексом **iə*, дав *i:*, так и **euə* должно было совпасть с рефлексом **uə*, дав *u:*. Именно поэтому славянское **ju* могло быть только циркумфлексным; заметим, что в славянских грамматиках отсутствуют достоверные примеры на рефлекс **eu* (**euə*)⁶.

Эти соображения структурного порядка позволяют считать **ryti* и т. п. обычные инфинитивы, представляющими ступень огласовки *-e-* так же, как эту ступень представляет, например, **zvati*, *zovə*, явно отражающее тип АЕУ₂³, и **rjuti*, *rovə*, где *ju < *euə'* перед *-ə-* в *-əteti* (т. е. АЕУ₂³). Инфинитивы на *-yti*, следовательно, могут отражать либо АЕУ (*-euə'tei:*), либо АЕУ₂ (*-euə'tei:*). Действительно, отчетли-

¹ А раз **beia-* не могло $> *biea-$, корни этого типа потеряли всякую связь с «переставленными» **vrae₁-*, **grea₁-* и т. п. Напротив, в типе АЕI₂³ связь с **b rə₂'-[r]* и т. п. все время сохранялась, откуда «предупредительное» удлинение в презенсе и аналогичная перестановка **bjati*, **zjati* по типу **bьrati* (то, что она не фонетическая, подтверждает **zjati*, а не **zati*, ожидаемое $< *g'ia₂ə | tei: < *g'ieia₂ə | tei:$.

² Ср. еще **kojь* (русск. *покой*) к *čiti*, *čьjə*. **rojь* (русск. *рой*, серб. *rôj*), ср. др.-инд. *rāyas* «течение, поток», указывает на то, что **rējati*, *rējə* (русск. *рѣять*, *рѣю*) не отражает АЕЗ, а является преобразованием **rьjati*, *rějə* (АЕI₂³) по этому типу; ср. еще др.-инд. *riyate* «двигается», подтверждающее корень на *-i-*.

³ Ср. С. h. Stang, указ. соч., стр. 46—49, где делается попытка связать славянские факты с балтийскими.

⁴ Термин «дифтонг» для указания, например, на *e + i* здесь так же условен, как обозначение «ларингальные».

⁵ См. К. Meyer, Slavische und indogermanische Intonation, Heidelberg, 1920, стр. 13—19 (со сводкой литературы и фактическим материалом). Интересно, что К. Мейер, не зная происхождения долгих дифтонгов, вынужден объяснять *ai: > i:* тем, что акцентированная вторая часть дифтонга была «более сильной» (стр. 16).

⁶ Ср. W. Vondrák, Vergleichende Slavische Grammatik, Bd. I, Göttingen, 1924, стр. 41—42. Поэтому Я. Эндзелин предполагает «сокращение» *eu > eu* (о балтийских рефлексах см. J. Endzelin, указ. соч., стр. 40—41).

вые указания на оба эти типа имеются в ступени -о-: **toviti* (к **tÿti*; ср. серб. *tòviti* «откармливать», *itòviti* «от-кормить»), **rovъ* (к **rÿti*; ср. серб. *ròv*, *ròva*, болг. *рòва*; литов. *ràvas* «могила») ¹ противостоят **nàviti* (к **nÿti*; ср. чеш. *naviti* «утомить», русск. *она́виться* «измучиться»), **bàviti* (к **bÿti*; ср. также **slàviti*, **traviti*, **plàviti*). Очевидно, глаголы, имеющие -à- в ступени -о-, могут содержать только корни АЕУэ; тип же АЕУ отражен в **rÿti*, **tÿti* и еще **mÿti* (русск. *мыть*); ср. латыш. *maīt* «плавать», **vÿti* (русск. *мыть*) < **æu-* (ср. греч. *αἶω* «кричу») ².

Все эти глаголы имеют единый тип презенса: **rъjъ* (русск. *рою*, серб. *rÿjem*), **mъjъ* (русск. *мою*, серб. *mÿjem*), **vъjъ* (русск. *вою*, болг. *виа*), **tъjъ* (укр. *тію*, серб. *tÿjem*), где требует объяснения неожиданная баритонеза. Если **rÿti* восходит к **r̥eu̯a|tei:*, как **r̥eti* — к **r̥ena|tei:*, то **rъjъ* должно отражать **r̥u|ϕ*, как **r̥n̥l̥* — **r̥g|ϕ*, **ž̥m̥l̥* — **g̥m̥|ϕ*, **l̥j̥j̥* — *l̥̥|ϕ*, где «нулевая ступень» корня делает сонант слогообразующим, так что формы по-прежнему остаются двусложными. При этом, в то время как *ŋ*- может дать лишь -yl- (**r̥n̥l̥* — так же *č*, *l̥*, *ŋ*), -i̯- > *ь*, -u̯- > *о* (без развития добавочного *ь*): **l̥b|ϕ*, **r̥z̥|ϕ*, откуда **l̥b̥j̥j̥*, **r̥z̥j̥j̥* с развитием *j* в зиянии. После падения редуцированных все эти формы фонетически должны были стать односложными, но морфологически все время существовало стремление к трактовке их как двусложных форм параллельно формам презенса во всех остальных типах глаголов. Двусложное **r̥n̥l̥* могло быть сохранено лишь как **r̥in̥l̥*, т. е. с нефонетическим «сильным редуцированным». Подобное преобразование особенно актуально шло на юге славянской области, где имеем, например, словен. *žànjem*, серб. *žànjem*, болг. *жѣна*, словацк. *žnet* при диал. *žniem*, отражающем уже **ž̥n̥l̥*, как чеш. *žnu*, русск., укр. *жну* (ср. аналогичные колебания в серб. *tàrem* при *trēm*). В типе **l̥b̥j̥j̥* фонетически возникает напряженный *ь* > *i* по диалектам (**l̥ij̥j̥*); возникающая полная огласовка, идентичная огласовке инфинитива, обуславливает более широкое распространение **lij̥j̥*: **l̥b̥j̥j̥* отражает только русский язык (*льбо*); ср. укр. *лїю*, чеш. *lїjї*, серб. *lїem* и т. п. Наконец, в **r̥z̥j̥j̥* с «напряженным *ь*» (**r̥y̯j̥j̥*) форма **r̥z̥j̥j̥* (**r̥j̥j̥*) совершенно не получила распространения, так как она (в противоположность **r̥z̥j̥j̥*, *r̥j̥j̥j̥*) расходилась с остальными формами глагола. Отсюда русск. *рою*, укр. *рію*, серб. *rїem*.

Поскольку **eu̯a* > *у*, но **eu̯a*' > *ju*, инфинитивы типов АЕУ и АЕУэ' совпасть не могли, и было сохранено их различие в презенсе, утраченное во всех остальных корнях АЕУ и АЕУэ'. Действительно, при **r̥juti* имеем презенс **rov̥o*, *reveši* (ст.-слав. *rov̥o*, *roveši*, русск. *ревѹ*, *реѣшь* с противоположным направлением выравнивания), аналогичный **zov̥o*, *zeveši* в АЕУэ' (т. е. первоначальный вокализм презенса в АЕУэ' — ступень -e-, так же как в АЕУe̯). Монофтонгизация **eu̯a*' > *ju* привела к такому резкому противопоставлению вокализма (**ju* — **ou*, *eu*) и консонантизма (изменения перед -j-) инфинитива и презенса, что не могли не последовать выравнивания (для **r̥juti*, *rov̥o*... ср. русск. *реѣшь*, польск. *rzucić*, *rzucię*, в.-луж. *ruć*, *ruji* и т. п.).

Развитие шло одновременно в двух разных направлениях: с одной стороны, тип **r̥juti*, *rov̥o* стремился примкнуть к типу **z̥vati*, *zov̥o* ³ на основании общности вокализма презенса, т. е. устранить огласовку инфинитива -ju-, с другой — эта огласовка инфинитива -ju- (с соответствующими изменениями согласных) стремилась распространиться на презенс, т. е. устранить там сходство с типом **zov̥o*. В результате имеем: а) **geu̯a*'₁: **ž̥v̥ati*, *ž̥uj̥j̥* (ст.-слав. *ž̥vati*, *ž̥uj̥j̥*, русск. *жѣвѣть*, *жѹю̯*, словацк. *žat'*, *žijem*); ср. др.-в.-нем. *kiuwan*; б) **reu̯a*'₁: **pl̥v̥ati*, *pl̥u̯j̥j̥* (русск. *плѣвѣть*, *плю̯ю̯*, ст.-чеш. *plvati*); ср. др.-инд. *r̥avate* «очищает»; в) **beu̯a*'₁: **bl̥v̥ati*, *bl̥u̯j̥j̥* (русск. *блѣвѣть*, *блю̯ю̯*). Во всех трех случаях инфинитив сохраняет следы перестройки: *ž-*, *pl-*, *bl-* вместо **g-*, *p-*, *b-* (**z̥vati*, **g̥v̥ati*), а презенс обобщил вокализм инфинитива, сохранив окситонезу. К типу АЕУэ' относится еще слав. **ob̥v̥ati*, *ob̥uj̥j̥* (русск. *обѹвѣть*, *обѹю̯*), где параллельно с распространением вокализма инфинитива распространилась и баритонеза; глагол содержит корень **ə̯₃eu̯a*'₁- (без *ə*), как показывает литов. *aūti*.

Остается описать тип АЕУэ. В связи со ступенью -о- типа **b̥aviti* выше приводились формы **traviti*, **plaviti*, **slaviti*, для которых обычно восстанавливают **truti*, **pluti*, **sluti*, т. е. инфинитивы, как будто не сопоставимые с **byti*. Действи-

¹ И, вне корней рассматриваемых типов, **krovъ* (к **krÿti*; ср. русск. *кров*, *покрѡв*).

² Ср. еще *рыл*, *рыла*, *прорыл*, *прорыла*, параллельное *мял*, *мяла*, *замял*, *замяла* (АЕУ).

³ Так как нигде АЕУэ' не представлял особый тип (ср. совпадение АЕУэ' с АЕУ), что естественно для типа с «нулевой фонемой».

тельно, на такие формы указывают др.-русск. *трути*, польск. *truć*, н.-луж. *truś*; ст.-слав. *pluti*, словен. *plúti*, чеш. *plouti*; др.-русск. *слути*, словен. *slúti*, чеш. *slouti*. Все эти образования, однако, легко объясняются обобщением вокализма презенса **trovǫ*... , **plovǫ*... , **slovǫ*... (ср. распространение *-ov-* во всей парадигме), чего нельзя сказать о вокализме форм русск. *плыть*, укр. *плисти́*, белор. *плыць*; русск. *слыть*, укр. *сліти*, белорус. *слыць*¹ (ср. производные на *-ǫ-*: ст.-чеш. *slynouti*, польск. *ślynać*, *ślynać*). Такие формы могут указывать лишь на парадигму типа **plūti*; *plovǫ*, *plevěši*... с закономерным *y < euǫ* в инфинитиве. Различие презенса **plovǫ* и презенса **rǫǫ* обусловило соответствующее противопоставление **plav-* — **rov-* в ступени *-o-*².

*

Итак, корни на *-i-* и *-u-*, представляя ряд особенностей, связанных с особым положением этих сонангов, отражают те же типы корней:

II. АЕУ. **lei-*, **reu-*, **teu-*, **meu-*, **geu-*.

IV. АЕУЗ. 1. АЕУǫ. **beiǫ-*, **neiǫ-*, **beuǫ-*; 2. АЕУǫ'. а) АЕУǫ'₁. **ueiǫ'₁*, **geiǫ'₁*, **reiǫ'₁*, **reuǫ'₁*, **geuǫ'₁*, **peuǫ'₁*, **beuǫ'₁*, **ǫ'₃euǫ'₁*; б) АЕУǫ'₃. **geiǫ'₃*, **leiǫ'₃*, **(s)meiǫ'₃*, **reiǫ'₃*, **geuǫ'₃*, **reuǫ'₃*.

Корневой вокализм этих глаголов показан в следующей таблице:

Тип корня		Морфологическая категория					
		ступень <i>-e-</i>				ступень <i>-o-</i>	
		инфинитив		презенс			
II	АЕУ	<i>-ei-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-ь-</i>	<i>-ѣ-</i>	<i>-oi-</i>	<i>-ou-</i>
	АЕУǫ' ₁	<i>-ei-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-ь-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-oi-</i>	<i>-ou-</i>
IV	АЕУЗ	<i>-ei-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-ēi-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-oi-</i>	<i>ou-</i>
	АЕУǫ	<i>-ei-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-ь-</i>	<i>-eu-</i>	<i>-oi-</i>	<i>-āu-</i>

¹ Откуда *-y-* проникает в презенс: ср. русск. *плыў*, *слыў* с *-v-* и окситонезой старых **plovǫ*, **slovǫ*.

² **rǫǫ* (русск. *ною*) вместо ожидаемого **novǫ* объясняется отталкиванием от **novь*, *-noviti* (русск. *обновить* и т. п.); как показывает пример **plyti* и т. п., противопоставление *-y-* в инфинитиве: *-ov-* в презенсе не представляло устойчивой пары. Ударение причастий русск. *плыл*, *плыл̄*, *уплыл*, *уплыл̄*, как (*но*)*звѣл*, (*но*)*звал̄*, вместо **плыл*, *плыла* связано, вероятно, с совпадением **p'ovǫ* — **zovǫ*; тип *пробыл*, *пробыл̄* Развился в результате отталкивания от проникшего в сферу **buti* *забыл*, *забыл̄*: * *пробыл*, *пробыла* > *пробыл*, *пробыл̄*, примкнув, таким образом, к типу *прбыл-а*, *бнпер-л̄а*.

Н. С. ПОСПЕЛОВ

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ *

1. Общее положение о структурной целостности сложного предложения, из которого я исхожу¹, не новое в нашей грамматической традиции. Оно очень хорошо было сформулировано В. А. Богородицким в одном из примечаний к XIV главе его «Общего курса русской грамматики». «Прежде всего, — писал Богородицкий, — во всяком сложном предложении его части составляют одно связное целое, так что, будучи взяты отдельно, уже не могут иметь вполне прежнего смысла или даже совсем невозможны, подобно тому как морфологические части слова существуют только в самом слове, но не отдельно от него; таким образом, ни та, ни другая часть сложного предложения, строго говоря, не являются самостоятельными, но лишь совместно образуют одно целое»². Утверждая, таким образом, в соответствии с принципами казанской лингвистической школы «цельнооформленность»³ сложного предложения, В. А. Богородицкий предлагал при изучении сложных предложений «стремиться к тому, чтобы бестенденциозно определить типы связей или отношений между обеими частями сложных предложений и способов формального обозначения этих связей в речи (включая сюда и отсутствие соединяющих слов, равно как порядок слов и интонацию)»⁴. Насколько и в настоящее время вполне актуален путь изучения сложного предложения, намеченный В. А. Богородицким, свидетельствует академическая грамматика, в которой мы находим такое признание: «Изучение же самой грамматической структуры сложного предложения, изучение построения его основных частей или членов, их количества, характера или качества связей между ними, соотношения их конструктивных элементов, вариаций в порядке их расположения и т. п., изучение грамматической сущности разных видов сложных предложений у нас еще только начинается»⁵. Поэтому и в наше время «основной задачей изучения сложных предложений является точная

* Настоящая статья представляет собой изложение доклада на конференции по вопросам синтаксиса словацкого языка, состоявшейся в Братиславе в июне 1958 г.

¹ См. статьи «О грамматической природе сложного предложения» (сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950) и «О различиях в структуре сложноподчиненного предложения (на материале сложноподчиненных предложений с придаточными временными и определительными)» (сб. «Исследования по синтаксису русского литературного языка», М., 1956).

² В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд., М.—Л., 1935, стр. 229, примеч. 1.

³ Пользуюсь термином покойного проф. А. И. Смирницкого, применявшего его в отношении к слову. См. А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 34.

⁴ В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 229, примеч. 1.

⁵ «Грамматика русского языка», Изд-во АН СССР, т. II, ч. 1, М., 1954, стр. 100.

грамматическая характеристика их структуры и определение их типов и групп, отличающихся друг от друга как по выражаемым ими отношениям, так и по особенностям их структуры»¹.

2. Цель настоящей статьи — дать общую характеристику наиболее очевидных структурных типов и разновидностей сложноподчиненного предложения на основе тех конструктивных различий, которые выявляются в соотношении между главной и придаточной частью. Самое существенное из этих различий состоит в том, что придаточная часть может или соотноситься с главной частью во всем ее объеме, или входить в состав главной части, прикрепляясь к какому-либо ее члену и распространяя его. В первом случае сложноподчиненное предложение получает расчлененное, отчетливо двучленное строение, во втором — нерасчлененную, стянутую, и в этом смысле одночленную, структуру. Сложные предложения одночленной структуры, в которых главная часть как бы вбирает в свой состав придаточную часть, можно было бы, следуя терминологии, предложенной исследователями китайской грамматики для соответствующих по структуре предложений китайского языка, назвать объемлющими или включающими сложными предложениями². Структурное разграничение расчлененных и нерасчлененных конструкций сложноподчиненного предложения имеет глубокие корни в русской научной синтаксической традиции. Его элементы вскрываются у М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, И. И. Давыдова³, в учении А. А. Барсова об «описанных терминах» подлежащего и сказуемого⁴, в замечаниях А. А. Потебни о месте придаточных предложений⁵ и в высказываниях отдельных синтаксистов 60—70-х годов XIX в., например П. Беляевского⁶. Четкая формулировка глубокого различия между двумя основными структурными типами сложноподчиненного предложения дана Ф. Ф. Фортунатовым и, позже, в несколько упрощенном виде принята А. А. Шахматовым. Вот формулировка Ф. Ф. Фортунатова: «Придаточным предложением называется такое предложение, в котором обозначено то, что данное предложение образуется не само для себя, но для другого предложения, с которым оно сочетается; при этом придаточное предложение может быть по значению двоякого рода: или оно разъясняет собою то, что обозначается другим (главным предложением), и не образует поэтому части другого предложения, или оно разъясняет собою то, что обозначается частью другого, главного, предложения, и в этом случае образует, следовательно, само часть другого, главного, предложения. Например, в русском языке предложение с союзом *если* принадлежит к придаточным предложениям первого рода, а предложение с союзом *что* или с относительным словом принадлежит к придаточным предло-

¹ «Грамматика русского языка», стр. 105.

² Ван Ляо-и, Основы китайской грамматики, М., 1954, стр. 161—169; М. К. Румянцев, Предложение-подлежащее в современном китайском языке, М., 1957, стр. 4—7.

³ См. Н. С. Поспелов, О различиях в структуре сложноподчиненного предложения, стр. 49—50.

⁴ См. В. В. Виноградов, Из истории изучения русского синтаксиса, М., 1958, стр. 56—57, 65—68.

⁵ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, III, Харьков, 1899, стр. 337—350.

⁶ П. Беляевский, называя все придаточные предложения пояснительными, делил их на два разряда: одни из них, по его мнению, «служат пояснением к одной только какой-нибудь части главного предложения, т. е. пояснением одного понятия... другие уже поясняют целую мысль, целое предложение, обозначая или причину, или следствие, или условие, или противоположность и проч.» (П. Беляевский, О некоторых спорных вопросах русской грамматики. О пояснительных предложениях, ЖМНП, 1869, февраль, стр. 6 3-й пагин.).

жениям второго рода»¹. До Фортунатова Ф. И. Буслаев пользовался подобной же формулировкой для разграничения сложноподчиненных и сложносочиненных предложений². Однако предвзятое мнение о полном соответствии придаточных предложений членам предложения помешало Буслаеву видеть, что так называемые обстоятельственные придаточные предложения далеко не всегда могут быть приравнены к второстепенным членам предложения. С другой стороны, заслуживает самого пристального внимания и нуждается в дальнейшем развитии то структурное расчленение сложных предложений, которое в чешской традиции намечено было В. Эртлем [сложные предложения с придаточными, изъясняющими содержание (obsahové) и определяющими (určovací), и с придаточными, выражающими отношение (vztahné)] и развернуто Ф. Травничком, разграничивающим придаточные предложения obsahové и doplňovací (дополняющие). Если это разграничение применить к структуре сложноподчиненного предложения в целом, то мы приходим к противоположению предложений, в которых содержание главной части раскрывается, эксплицируется в придаточной их части, — предложениям, в которых придаточная часть выходит из границ главной части, оказывается трансцендентной по отношению к содержанию «главного предложения», так или иначе восполняя его содержание и устанавливая различные соотношения между главной и придаточной частью — временные, условно-уступительные, причинно-следственные, целевые и т. п.³.

3. В русской грамматической традиции первым опытом классификации сложноподчиненных предложений на основе установления структурно-смысловых соотношений между их главной и придаточной частью была классификация, намеченная В. А. Богородицким.

В качестве особого структурно-смыслового типа сложноподчиненных предложений В. А. Богородицкий прежде всего выделяет тип определительно-описательный, «когда тот или другой предметный член предложения не может быть выражен одним словом, а требует описания»⁴. Специфической структурной особенностью этого типа является то, что в этом случае придаточное предложение начинается относительным местоимением или наречием и прикрепляется к имени существительному в главной части⁵. Эта специфическая особенность данного типа дает нам основание назвать его присустантивно-атрибутивным. При этом необходимо учесть, как отмечено А. И. Смирницким, что атрибутивная связь «мешает не строение предложения, а строение отдельных его элементов»⁶,

¹ Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение, Избр. труды, т. I, М., 1956, стр. 188—189.

² «Или одно предложение составляет часть другого». В таком случае «предложение, составляющее часть другого предложения, именуется придаточным, а то, в которое придаточное входит как часть, именуется главным». «Или соединенные предложения не входят одно в другое в виде отдельной части, а остаются самостоятельными». «В первом случае соединение предложений именуется подчинением, потому что одно предложение подчиняется другому, составляя его часть; а во втором — сочинением» (Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, ч. 2, 2-е изд., М., 1863, стр. 34).

³ Ср. J. Вауер, Klasifikace souvětí v českých a ruských mluvnicích, «Sovětská jazykověda», ročn. V, seš. 1, 1955, стр. 13—14.

⁴ В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 230.

⁵ Однако В. А. Богородицкий чрезмерно расширял объем этого типа сложноподчиненных предложений, включая в его состав и те случаи, когда опорным словом для придаточного в главной части является не существительное, а субстантивированное местоимение, которое нуждается не в определении или описании, а в раскрытии его конкретного содержания (например, *Что пройдет, то будет мило*).

⁶ А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 183. По мнению А. В. Исаченко, определение даже не следует рассматривать как «самостоятельный член предложения», так как «определение является всегда членом особой опре-

и «подчеркнуть, что для определения характерно именно то, что оно относится к словам как к частям речи, а не как к членам предложения»¹ и поэтому «может относиться к любому члену предложения»². Но примечательно то, что в составе сложного предложения определительная придаточная часть, прикрепляясь к какому-либо субстантивному члену главной части, может, однако, вступая в противоречие с самим принципом определительности, относиться к главной части в целом, выполняя повествовательно-распространительную функцию и выражая определенное коммуникативное содержание. Таким образом, в составе сложноподчиненных предложений с присубстантивно-атрибутивной придаточной частью функционально разграничиваются две главные структурно-смысловые разновидности. В сложных предложениях компактного, нерасчлененного строения придаточная часть выполняет собственно атрибутивную функцию по отношению к определяемому ею существительному главной части (почти всегда это нарицательное существительное с обобщенным предметным значением), которое только в тесном сочетании с определяющей его придаточной частью входит в состав предложения в качестве его члена. В сложных предложениях расчлененного строения придаточная часть имеет отдельное от главной части коммуникативное содержание, выделяющее его в отдельную синтагму внутри сложного предложения, и получает функцию распространения главной части в целом, хотя и остается формально прикрепленной к какому-либо существительному главной части. Ср. следующие два примера из повести А. С. Пушкина «Арап Петра Великого»: 1) «Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошедшей ассамблее?», 2) «Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы». В первом примере придаточная часть имеет узко атрибутивное назначение: она определяет существительное *девушка* и необходимо входит в состав главной части, в которой речь идет не о девушке вообще, а о девушке, с которой танцевал Ибрагим; во втором примере в придаточной части не определяется слово *брат*, а сообщается, что сделал человек, названный этим существительным. Эти примеры отличаются друг от друга и по интонационному соотношению частей главного предложения: в первом примере главная часть, тесно смыкающаяся с придаточной частью, произносится более напряженным повышением тона, чем главная часть во втором примере³.

Несмотря на глубокое функциональное различие между сложными предложениями с атрибутивной и распространительно-повествовательной придаточной частью⁴, обе эти разновидности образуют один структурно-смысловой тип сложных предложений присубстантивно-определятельный⁵, характеризующийся «полным равенством по объему относительного местоимения с именем, к коему оно относится»⁶ и постпозицией придаточной части. Поэтому нельзя согласиться с попыткой К. Габки⁷ разо-

делительной синтагмы», которая «входит как одно целое в состав того или иного члена предложения» (А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, ч. 1, Братислава, 1954, стр. 324).

¹ А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 232.

² Там же, стр. 233.

³ О разновидностях сложноподчиненных предложений данного типа см. указ. статью «О различиях в структуре сложноподчиненного предложения», стр. 63—75.

⁴ См. «Грамматика русского языка», т. II, ч. 1, стр. 109—110.

⁵ Ср. И. Г. Чередниченко, К изучению присубстантивных предложений в современном русском языке, «Р. яз. в шк.», 1957, № 6, стр. 34—35.

⁶ А. А. Потебня, указ. соч., стр. 347.

⁷ К. G a b k a, Über die sogenannten «weiterführenden Nebensätze» im Russischen, ZfS, Bd. I, Hf. 4, 1956, стр. 75.

рвать внутреннюю связь между этими двумя разновидностями и только на основании общего смыслового признака объединить придаточные предложения с распространительно-повествовательной функцией в одну группу — *Weiterführende Nebensätze* — со случаями относительного подчинения типа «Обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи» (Пушкин, Гробовщик).

4. В отдельный структурно-смысловой тип необходимо, по нашему мнению, выделить те относительные конструкции сложного предложения, в которых соотносительным словом в главной части выступает местоимение¹. Так как придаточная часть в таких случаях прикрепляется к главной тоже местоимением, эти конструкции можно назвать местоименно-соотносительными или конструкциями местоименной относительности. В этих конструкциях синтаксическая функция придаточной части не будет ни определительной, ни распространительной: придаточное может выступать и в функции подлежащего, и в функции сказуемого, и в функции дополнения или обстоятельства по отношению к главной части. Например: «Что пройдет, то будет мило»; «Каков поп, таков и приход»; «Я тот, кого никто не любит...» (Лермонтов, Демон); «Бабушка не поняла того, что он сказал» (Фадеев, Молодая гвардия); «Он живет там, куда летают только на самолетах» («Грамматика русского языка», т. II, ч. 2, стр. 316).

Традиционная классификация разносит местоименно-соотносительные конструкции по разным типам сложного предложения в зависимости от синтаксической функции придаточного, не считаясь с объединяющим эти случаи характером конструктивной связи их частей. Придаточная часть в подобных конструкциях еще глубже, чем в присубстантивно-атрибутивном типе, входит в структуру главной части; главная часть, семантически не завершенная, еще теснее связана с придаточной. В одних из данных конструкций имеет место препозиция придаточной части, в других — постпозиция при слабой в том и другом случае мобильности частей сложного предложения. Совершенно очевидно, что при установлении этого типа нет необходимости выделять в качестве особых типов сложные предложения с придаточными подлежащими, сказуемыми, придаточными местами, как это мы обнаруживаем в традиционных классификациях сложных предложений (Семантическая общность относительного и соотносительного слова в данных конструкциях, в отличие от присубстантивно-определяющего типа, имеет более абстрактный характер, выражая единство субъекта, объекта, предиката, места, времени (при соотношении *тогда, когда*). Следует согласиться с мнением В. Шмилауера, что сочетания относительного и соотносительного слова (*тот..., кто; то..., что; там..., где*) в подобных случаях представляют собою соотносительные выражения (*výrazu souvztažné*), т. е. выступают в качестве единого члена сложного предложения как цельного синтаксического единства².

5. В особый тип, конструктивно противоположный присубстантивно-определяющему и местоименно-соотносительному, выделяются сложные предложения с изъяснительной придаточной частью. В предложениях этого типа придаточная часть восполняет структурно-семантическую недостаточность сказуемого главного предложения, представляющего собой лишь «своеобразно препарированную часть самостоятельного простого предложения»³. В изъяснительных конструкциях сложного предложения сказуемое главной части характеризуется неопределенностью

¹ У В. А. Богородицкого они вмещены в определительно-описательный тип сложноподчиненных предложений (см. указ. соч., стр. 230—231).

² V. Šmíla u e r, *Novočeská skladba*, Praha, 1947, стр. 27.

³ В. В. Виноградов, Основные вопросы синтаксиса предложения, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 430.

своего лексического значения и легко может быть замещено другим, синонимичным ему. Ср. *я знаю, помню, мне известно* и т. п., *что он уехал*. Таким образом, по существу сказуемое изъяснительной конструкции получает черты местоимения; между ним и придаточной частью возникает своего рода «семантическая диффузия», в силу которой в придаточной части раскрывается конкретное содержание сказуемого главной части. При этом для структуры изъяснительных конструкций несущественно, в функции какого члена предложения — дополнения или подлежащего — выступает придаточная часть; по существу она выполняет функцию структурно-семантического распространения сказуемого главной части. Само собой разумеется, что изъяснительные конструкции сложного предложения, так же как и присубстантивно-определятельные и местоименно-соотносительные, представляют собою объемлющие конструкции, в которых главная часть распространяется в придаточной части, но различными путями: в присубстантивно-определятельном распространяется любой член предложения, выраженный существительными (в том числе и именное сказуемое), в изъяснительном типе распространяется сказуемое, т. е. распространение захватывает только предикативное ядро предложения; в местоименно-соотносительном типе придаточная часть раскрывает конкретное содержание соотносительного местоименного слова главной части. Рассматривая сложные предложения трех названных типов как объемлющие, мы тем самым отделяем их от всех других типов сложноподчиненного предложения как факты более тесной структурной связи частей, как явления, переходные от простого предложения к сложному, как своего рода quasi-сложные предложения.

6. Иной тип структурного соотношения между главной и придаточной частью представляют собою сложноподчиненные предложения, выражающие причинно-следственные отношения. «Каждое из таких сложных предложений... может быть видоизменено таким образом, что главное предложение послужит для выражения причины или следствия, а придаточное по смыслу как бы займет его первоначальное место; например: „его похвалили, *потому что* он очень хорошо спел“ // „он очень хорошо спел, *так что* его похвалили“»¹. Иначе говоря, сложные предложения с придаточными причинами и с придаточными следствия являются коррелятами одного структурно-смыслового типа сложного предложения. При этом в каждой из этих структурных разновидностей вследствие возможности расчленения типовых союзов (*потому, что; так, что*) возникают структурные варианты с более тесным соотношением между главной и придаточной частью. Примечательно, однако, что при таком расчленении причинного союза значение причины, выражаемое сложным предложением, акцентируется, тогда как при расчленении союза следствия значение следствия наслаивается на общее значение образа действия, т. е. выступает в ослабленном качестве. При расчленении союзов связь между частями становится очень тесной, и сложное предложение получает более компактное строение. При отсутствии такого расчленения сложное предложение распадается на две отчетливо отграничиваемые друг от друга части, причем придаточное уже не продолжает линию главного предложения (вмещаясь в его объем), а присоединяется к главному как синтаксическое построение с отдельным коммуникативным содержанием. Ср., например: *Прогулка не состоится, потому что испортилась погода* или *Прогулка не состоится потому, что испортилась погода* и *Испортилась погода, так что прогулка не состоится* или *Испортилась погода так, что прогулка не состоится*. На большую самостоятельность придаточной части с нерас-

¹ В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 237.

члененными союзами *потому что* и *так что* указывает и почти полное отсутствие интерпозиции придаточных предложений с этими союзами.

В конструкциях сложного предложения, выражающих причинное соотношение, скрывается существенное различие по структуре и значению между вскрываемыми постпозиции и препозиции придаточной части. Ср. примеры: *Я оделся потеплее, потому что было холодно* и *Так как было холодно, я оделся потеплее.* В открытой конструкции (с постпозицией придаточной части) главная часть автономна, и придаточная свободно примыкает к ней. При этом не возникает никакой структурной соотносительности между утверждением факта и указанием на его причину. Во втором случае (в закрытой конструкции, т. е. с препозицией придаточной части) налицо соотносительность между выражением значения причины в придаточной части и выражением значения следствия в главной части. Таким образом, только в конструкциях закрытого типа выражается причинно-следственное отношение, и связь частей сложного предложения оказывается обоюдною. В открытых конструкциях главная часть не выражает следствия, а придаточная указывает причину того, что утверждается в главной части. В случаях же расчленения причинного союза возникает более «напряженная» конструкция: *Я оделся потеплее потому, что было холодно*, в которой отсутствует значение следствия, а значения причины и изъяснительное распределяются таким образом, что главная часть указывает только на наличие причины, тогда как в придаточной раскрывается конкретное содержание причинного соотношения.

В связи с анализом причинных конструкций получают большой интерес наблюдения Л. Дюровича над переходом в причинные конструкции сложных предложений изъяснительных, когда вследствие появления субъекта в главном предложении придаточное теряет функцию субъекта по отношению к сложному предложению в целом (ср. *Приятно, что ты вернулся* и *Мне приятно, [потому] что ты вернулся*¹). Аналогичные наблюдения были сделаны в недавнее время и советскими исследователями — Н. И. Гурским², А. К. Федоровым³, М. У. Каранской⁴. В латинском языке полупричинный оттенок соответствующей изъяснительной конструкции с *quod* при *verba affectuum* типа *laetor, quod venies* отмечен С. И. Соболевским⁵.

7. В сложных предложениях с временной придаточной частью тоже обнаруживаются глубокие структурные различия. В случаях расчлененного строения сложноподчиненного предложения придаточная часть при синтаксическом ее подчинении главной части имеет собственное временное значение и сохраняется, таким образом, относительную коммуникативную самостоятельность; в случаях же нерасчлененного строения придаточная часть, не имея собственного временного значения, только так или иначе ограничивает объем времени действия, выраженного сказуемым главной части, или приурочивает время действия придаточной части к тому отрез-

¹ L. D u r o v i č, *Modálnosť. Lexikálno-syntaktické vyjadrovanie modálnych a hodnotiacich vzt'ahov v slovenčine a ruštine*, Bratislava, 1956, стр. 163—164, ср. также стр. 196—197.

² Н. И. Г у р с к и й, Сложные синтаксические конструкции с подчинительными союзами *што* и *каб* в современном белорусском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Минск, 1950, стр. 7.

³ А. К. Ф е д о р о в, Употребление подчинительного союза *что* в современном русском языке, «Уч. зап. [Калининск. гос. пед. ин-га]», т. XIX, вып. 2, 1957, стр. 118—119.

⁴ М. У. К а р а н с к а я, Союзы *що*, *щоб* и грамматические конструкции с ними в современном украинском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Киев, 1956, стр. 9—10.

⁵ С. И. С о б о л е в с к и й, Грамматика латинского языка, 3-е изд., М., 1948, стр. 249, §§ 867, 868.

ку времени, который устанавливается сказуемым главной части¹. Ср., например: «Солнце давно уже встало, когда Рудин пришел к Авдюхиному пруду» (Тургенев, Рудин); «Пока он писал, она не решалась подойти к нему...» (Н. Островский, Как закалялась сталь). В первом примере каждая часть сложного предложения имеет самостоятельное коммуникативное назначение, и временное соотношение устанавливается между содержанием той и другой части; во втором примере придаточная часть, указывая на длительность времени действия, выражаемого сказуемым главной части, не имеет коммуникативной самостоятельности, и временное соотношение устанавливается непосредственно между сказуемыми придаточной и главной части. При этом в сложных предложениях с временной придаточной частью обнаруживаются существенные структурно-смысловые различия в зависимости от пре- или постпозиции придаточной части. В закрытых конструкциях (с препозицией придаточной части) придаточная часть акцентируется, возникает соотношение временной обусловленности, и смысловый объем высказываемого в главной части ограничивается установкой высказывания, данной в придаточной части. В открытых конструкциях главная часть высвобождается от соотносительности с придаточной частью и становится автономной, а придаточная часть включается в структуру предложения в его целом *post hoc*, когда главная часть оказывается уже сформированной. Ср.: *Когда он вернется, я зайду к вам; Я зайду к вам, когда он вернется.*

8. Большим своеобразием отличается в современном русском языке структура сложных предложений с условной и уступительной придаточной частью. «Хотя в этих предложениях школьная грамматика и находит часть придаточную с союзами *если* и *хотя*, выражающими условие или уступление, однако ж в действительности здесь нет того подчинения, которым характеризуются другие придаточные предложения»². Предложения этого типа характеризуются отчетливо выраженной двусторонне направленной связью своих частей. Но при единстве их общего типа вскрываются существенные структурные различия между условными и уступительными предложениями, особенно в случаях препозиции придаточной части. В условных конструкциях придаточная часть выражает условие, при котором только и возможна реализация того, о чем говорится в главной части сложного предложения, т. е., не имея отдельного коммуникативного содержания, она дает модальное обоснование высказываемому в главной части. Поэтому, несмотря на резкую расчлененность условного предложения, его части оказываются тесным образом друг с другом связанными. Особенно тесной оказывается эта связь в случаях препозиции придаточной части, когда обусловленность главной части тем, что высказано в придаточной части, выражена в самой структуре сложного предложения взаимоположением его частей. Сравним параллельные примеры: *Если ты зайдешь ко мне, мы легко обо всем договоримся* и *Мы легко обо всем договоримся, если ты зайдешь ко мне.* В первом случае обусловленность главной части тем, что уже дано в придаточной, лишает главную часть ее синтаксической автономности и вводит ее в уже формирующееся с определенной модальной установкой сложное предложение. Во втором случае главная часть при формировании сложного предложения остается автономной и ее содержание только ограничивается указываемым в придаточной части условием. В этом случае модальное

¹ Подробнее см. в статье «О различиях в структуре сложноподчиненного предложения», стр. 55—63, 76. Ср. по существу аналогичные наблюдения (но без выводов о различиях в структуре), сделанные Я. Бауэром в статье «*Časové souvětí v ruštině a češtině*» («Sovětská jazykověda», ročn. V, seš. 5—6, 1955).

² В. А. Богородицкий, указ. соч., стр. 229.

давление придаточной части на главную ослабляется, а при преобразовании придаточной части в присоединительную конструкцию может почти совершенно нейтрализоваться.

В уступительных конструкциях с союзом *хотя* придаточная часть в случаях ее препозиции имеет значение «обратного условия», противопоставляемого содержанию главной части, вводимой противительным союзом, в силу чего такая уступительная конструкция не только получает отчетливое двучленное строение, но и выражает тенденцию к переходу в сочинительное построение. В структуре таких предложений выявляется асимметрия двух противоречивых синтаксических тенденций. Если же в уступительном предложении придаточная часть следует за главной, она приближается по своему значению к добавочному, ограничительному замечанию, причем, однако, двучленность строения сложного предложения сохраняется. Ср.: *Хотя было уже поздно, я еще не спал; Я еще не спал, хотя было уже поздно.*

Примечательно, однако, что обобщенно-уступительные конструкции (с сочетаниями *как ни, кто ни* и т. п.), структурно близкие к местоименно-соотносительным конструкциям, оказываются не только строго подчинительными, но и отчетливо одночленными.

9. Резюмирую кратко основную мысль своей статьи. В структуре сложноподчиненного предложения выделяются присубстантивно-определятельный, местоименно-соотносительный и присказуемость-изъяснительный типы как «объемлющие», одночленные конструкции, представляющие в типических случаях своего построения явления, переходные от простого предложения к сложному. В противоположность «объемлющим» конструкции, выражающие причинно-следственные, временные, условные и уступительные отношения, не только «образуют родственную, семантически связанную систему»¹, но и характеризуются в типических случаях выражения названных отношений, т. е. в закрытых конструкциях, более отчетливой «двучленностью» своего строения, в чем и вскрывается существенное грамматическое различие между случаями с пре- и постпозицией придаточной части.

¹ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 720.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

П. С. КУЗНЕЦОВ

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ФОНОЛОГИИ

1. Фонологическая дискуссия, открытая несколько лет назад на страницах «Известий Отделения литературы и языка АН СССР», завершилась, не достигнув желаемого результата. Фонологические работы, появившиеся после того как у нас, так и за рубежом, никоим образом не могут удовлетворить с точки зрения строгости и внутренней непротиворечивости построения. Имеются в виду, в частности, недавние работы Р. Якобсона¹ и Р. И. Аванесова². Изучение этих работ приводит к мысли, что все же наиболее стройной и наиболее непротиворечивой является та система, которая в свое время была предложена так называемой московской фонологической школой, представленной в работах В. Н. Сидорова, П. С. Кузнецова и Р. И. Аванесова³, ныне отошедшего от нее и создавшего новую теорию, компромиссную с теорией Л. В. Щербы. Не имея сейчас в виду детального критического разбора этой теории, отметим ее наиболее существенные недостатки.

Во-первых, не следует думать, что эта теория не дает никакого представления о действительности: она его дает, но в значительно более сложном и громоздком виде, чем теория московской фонологической школы. А из двух теорий, дающих одна более простую, другая более сложную картину действительности (причем эта сложность не зависит от сложности самих отношений, наблюдающихся в действительности), конечно, должна быть принята та, которая дает более простую и вместе с тем стройную картину.

Во-вторых, эта новая теория не свободна от противоречий. Разграничивая понятия сильной и слабой фонемы, Р. И. Аванесов тем не менее считает, что состав фонем языка (при наличии сильных и слабых фонем) — это состав лишь сильных фонем, но не совокупности сильных и слабых фонем⁴. При этом говорится просто о составе фонем, а не о составе сильных фонем. Но если в состав фонем (просто, вообще фонем) не входят

¹ См., например, R. Jakobson and M. Halle, *Fundamentals of language*, 's-Gravenhage, 1956.

² См. Р. И. Аванесов, Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы, сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955; его же, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956.

³ См., например, Р. Аванесов и В. Сидоров, Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка, «Русский язык в советской школе», 1930, № 4; Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров, Очерк грамматики русского литературного языка, М., 1945; П. С. Кузнецов, К вопросу о фонематической системе современного французского языка, «Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та», т. V, Кафедра русского языка, вып. 1, 1941; П. С. Кузнецов, К вопросу фонологии ударения, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», вып. 6, 1948.

⁴ См. Р. И. Аванесов, Фонетика..., стр. 30.

слабые фонемы, то значит они не фонемы. Однако Р. И. Аванесов утверждает, что они фонемы.

В-третьих, фонологический подход к явлениям звуковой стороны языка смешивается с чисто фонетическим подходом. Недаром Р. И. Аванесов считает ценным в концепции Л. В. Щербы положение о наличии у каждой фонемы во всех ее вариантах своих строго определенных физиолого-акустических признаков¹, и, напротив, упрекает представителей московской фонологической школы за то, что в их понимании фонема лишена определенной физиолого-акустической характеристики².

Наконец, в-четвертых, он упрекает порой представителей московской фонологической школы в том, в чем они вообще неповинны. Так, в качестве одного из недостатков этой школы Р. И. Аванесов отмечает то, что так называемые варианты фонем рассматриваются по преимуществу со стороны своей эквивалентности фонеме в ее основном виде, в то время как различительная способность вариантов оказывается в тени³. Между тем этот вопрос ставился в работах московской фонологической школы⁴.

Полагаю, что концепция так называемой московской фонологической школы сохраняет свое значение и в настоящее время. Однако многое в ней нуждается в более строгом обосновании, некоторые же положения требуют несколько иной интерпретации.

Несмотря на то, что на протяжении последних десятилетий очень многое было сделано в этом направлении, многое вообще в языкознании, не только в фонологии, требует более строгого обоснования. Для языкознания должна быть разработана своя аксиоматика, т. е. сформулированы основные определения и положения, принимаемые без доказательств, с тем, чтобы все последующие доказательства опирались именно на эти определения и положения, чтобы в дальнейшем рассуждении не вводилось таких положений, которые не были сформулированы вначале, как бы самоочевидны они ни казались. Строгая аксиоматика в языкознании до сих пор в полном виде не осуществлена. То, что назвал в свое время аксиоматикой языкознания К. Бюлер⁵, не является аксиоматикой в строгом смысле слова⁶. В применении аксиоматики к языкознанию иногда усматривают опасность идеализма, предполагая произвольность выбора аксиом и отсутствие их связи с действительностью. Но ведь аксиомы даже в математике, наиболее абстрактной из наук, источником своим имеют действительность. И это не только у истоков математики, т. е. тогда, когда она только зарождалась как теоретическая наука. И теперь, на современном этапе развития математики, лишь математики формального направления

¹ См. Р. И. Аванесов, *Фонетика...*, стр. 38.

² Там же, стр. 39.

³ Там же, стр. 39—40.

⁴ См., например, П. С. Кузнецов, *К вопросу о фонематической системе современного французского языка*, стр. 158; в этой статье применительно к русскому и французскому языкам говорится о противопоставлении варианта двух совпадающих в определенной позиции фонем другим фонемам в той же позиции. Конечно, о различительной функции вариантов говорится меньше, чем о различительной функции фонем, но вполне достаточно. Требовать детального разбора всех случаев отношений вариантов, в которых совпадают в слабом положении различные фонемы, — это все равно, что требовать бесчисленного повторения всего хода решения однородных задач с различными числовыми данными, когда уже выведена общая формула их решения.

⁵ См. К. Bühler, *Die Axiomatik der Sprachwissenschaften*, «Kant-studien», Bd. XXXVIII, Hf. 1—2, Berlin, 1933.

⁶ Верно определяя в начале этой работы общие задачи построения лингвистической аксиоматики, основную часть работы К. Бюлер посвящает по существу развитию основных лингвистических понятий. Здесь нет определения того, какие понятия должны быть приняты как исходные, какая система независимых друг от друга определений и положений (постулатов) должна быть принята и положена в основу дальнейших рассуждений и доказательств.

строят аксиомы, совершенно игнорируя то реальное содержание, которое они представляют, математики же иных направлений и прежде всего те, которые опираются на положения диалектического материализма, считают необходимым содержательное обоснование аксиом¹.

Для каждой области языкознания должна быть выработана своя система аксиом, с тем условием, конечно, чтобы она не противоречила системе аксиом другой области языкознания, если в ней такая система также будет выработана. Проще всего такая система аксиом может быть разработана для фонетики и фонологии. Здесь речь будет идти специально о фонологии.

2. Раньше чем формулировались определения и аксиомы какой бы то ни было области (в нашем случае фонологии), необходимо определить, какие понятия являются для нас исходными, или, иначе говоря, мета-понятиями. Эти мета-понятия частью относятся к вещам очевидным и вообще не требующим обоснования (или не могущим быть обоснованными), частью же могут быть строго определены или выведены из каких-то других понятий, но это выведение лежит за пределами фонологии, она пользуется ими как готовым материалом. Существенным является лишь то, что если соответствующие понятия и могут быть строго формулированы или выведены, то это делается во всяком случае без использования тех понятий, которые относятся специально к области фонологии и которые в дальнейшем здесь будут определены. Существенным является также то, что, поскольку некоторые понятия определены как исходные или как мета-понятия, — в дальнейшем изложении не будут использоваться как мета-понятия никакие другие понятия.

Принимаемые здесь мета-понятия следующие. Существуют различные языки, а внутри каждого языка некоторые диалекты. В любом языке имеются слова, и эти слова имеют некоторые значения, причем разные слова обычно (но не всегда) имеют разные значения, но бывает, что разные слова имеют одно значение (это так называемые синонимы). Слова распадаются на морфемы, которые также имеют некоторые значения (вопрос об отличии характера значений слов и морфем для данной работы не существует). Возможно, что не во всех языках слова разбиваются на морфемы, но для подавляющего большинства известных языков это так. Помимо указанных понятий, будут также приняты понятия языка и речи (в понимании де Соссюра).

Особо следует остановиться на понятиях из области фонетики (не фонологии), которые будут использованы в качестве мета-понятий. Таким понятием прежде всего является понятие звука речи, которое, однако, должно быть если не определено, то во всяком случае описано, поскольку под этим термином понимаются по существу две различные вещи. Во-первых, любое высказывание любого говорящего на любом языке, иначе говоря, любая речь состоит из некоторой последовательности звуков речи. Любой звук речи может быть отграничен от звука речи предшествующего и последующего. Это может быть сделано с разной степенью точности, какими средствами — в данном случае безразлично. Несмотря на наличные артикуляционные и акустические переходы от одного звука к другому, такое разграничение проведет любой говорящий

¹ См. «Математика, ее содержание, методы и значение», т. I, М., 1956, стр. 51. Ср. у одного из крупнейших американских специалистов по математической логике Ст. К. Клини: «... чтобы математическое творчество не сводилось к бессмыслице, должно иметься какое-то соответствие между этими результатами (т. е. теми результатами, которые получены из аксиом. — П. К.) и некоторой действительностью, лежащей вне аксиоматической теории» (см. Стефен К. Клини, Введение в мета-математику, перев. с англ., М., 1957, стр. 44).

на данном языке, с большей степенью точности наблюдатель-лингвист, еще с большей степенью точности — прибор. Возможность выделения звука речи в речевом потоке я принимаю как всегда осуществимую. Так, например, в русском слове *стол* мы всегда выделим четыре звука речи — *с-т-с-л*. Во-вторых, один и тот же звук речи при его бесчисленном повторении в составе самых различных значимых единиц (слов, морфем) мы можем узнать и отождествить (т. е. мы можем, например, для русского языка отождествить *с* в форме *стол* и *с* в форме *стал* в качестве одного звука речи *с*). Это с обычно мы также называем звуком речи. Однако звук речи во втором смысле слова не является таким понятием, которое может быть принято в качестве исходного, вследствие чего я считаю необходимым дать ему определение (см. ниже).

Из области фонетики будет также использовано понятие *с л о г а* (речевой поток всегда можно расчленить на слоги), понятие *г л а с н ы х* и *с о г л а с н ы х* звуков, а также понятие *у д а р е н и я* (для данной работы понадобится лишь так называемое *д и н а м и ч е с к о е* *у д а р е н и е*). Наконец, будут использованы различные термины артикуляционно-физиологической характеристики отдельных звуков и общее понятие фонетических (позиционных) условий. В качестве исходного принимается также понятие *ф о н е т и ч е с к о г о* *с л о в а*, границы которого могут не совпадать с границами слова как единицы лексической и морфологической.

Единственное понятие, которое должно быть определено из области фонетики, а не взято в качестве мета-понятия, это понятие звука речи во втором смысле, или (название вводится во избежание путаницы) *з в у к а* *я з ы к а*. Звуком языка называется множество звуков речи, частью тождественных, частью близких друг другу в артикуляционно-акустическом отношении, которые встречаются в самых различных речевых потоках, в составе самых различных значимых единиц (слов, морфем). Границы области, образуемой этим множеством, могут быть несколько различны в зависимости от средств, какими мы пользуемся при их установлении. Этими средствами могут быть: 1) ощущение самих говорящих на данном языке, 2) ощущение наблюдателя-лингвиста с тонким в лингвистическом отношении слухом, 3) экспериментально-фонетические приборы. Не вдаваясь в вопрос о том, как осуществляется самое определение близости, все же можно утверждать, что если мы возьмем какой-то произвольный звук речи (в данном случае именно звук речи), то мы всегда можем определить область, расположенную между границами *ε* и ϵ_1 , внутрь которой попадает данный звук речи, а также другие звуки речи, близкие ему в артикуляционно-акустическом отношении; вся совокупность этих звуков речи (включая и данный) и образует звук языка¹.

3. Теперь обратимся к основным понятиям фонологии и их определению.

Основным понятием фонологии является фонема². Каждый язык или диалект обладает определенным конечным числом отличных друг от друга фонем. Каждая фонема представляет собой некоторый класс звуков речи; как увидим дальше, фонемы и звуки языка могут представлять собой классы взаимно пересекающиеся. Здесь не ставится вопрос о возможном количестве звуков речи и даже о том, может ли встретиться случай, когда

¹ Должен сказать, что в моей работе 1941 г. не было введено понятия звука языка в том смысле, как оно только что формулировано, и термины «звук языка» и «звук речи» употреблялись недифференцированно, в одном и том же значении.

² Фонологические средства языка не исчерпываются фонемами, о чем мне уже неоднократно приходилось писать. Кое-что требует уточнения и более строгого определения и здесь. Но это вопрос особый, и в настоящей статье я его касаться не буду.

класс не будет содержать ни одного звука речи, поскольку заранее неизвестно, содержит ли данный класс хотя бы один элемент. Впрочем заранее можно сказать, что нецелесообразно устанавливать для какого бы то ни было языка такие фонемы, которые не содержат ни одного звука речи¹.

Определить принадлежность того или иного звука речи к той или иной фонеме, не принимая во внимание морфем, в составе которых фигурирует тот или иной звук речи, невозможно. Принадлежность различных звуков речи к одной фонеме определяется не артикуляционно-акустической близостью их, т. е. не принадлежностью к одному или близким друг к другу в артикуляционно-акустическом отношении звукам языка, а положением звуков речи в морфеме.

Каждая фонема данного языка или диалекта отлична от всех остальных фонем того же языка или диалекта. Это следует понимать в том смысле, что нельзя применительно к какому бы то ни было языку или диалекту ставить вопрос, существует ли в нем, например, фонема *a* или *t*, но только — существует ли фонема *a* или фонема *t*, отличная от таких-то и таких-то фонем. Что же касается звуков речи или звуков языка, то такой вопрос вполне законен.

4. Любой звук речи находится в составе какой-то морфемы и занимает в ней (среди других звуков речи) определенное по счету место. Множество звуков речи в составе соответствующей морфемы, повторяемой практически в составе различных слов в различных высказываниях бесконечное число раз, занимающих каждый раз то же порядковое место в составе этой морфемы, принадлежащих частью к одному и тому же, частью к различным звукам языка (последнее исключительно при условии зависимости от позиционных, т. е. фонетических, условий и вне зависимости от того, в составе какой морфемы и какой формы слова находятся соответствующие звуки), входит в одну фонему или принадлежит одной фонеме. Так, например, звук *к* в конце корневой морфемы слова *снег* в им. падеже ед. числа (фонетически *с'н'ек*) и звук *г* в конце той же морфемы в род. падеже ед. числа (фонетически *с'н'эга*) входят в одну фонему, поскольку глухой согласный *к* в первой из этих форм обусловлен позиционно (на конце слова в русском языке любой шумный звонкий согласный невозможен и всегда сменяется глухим независимо от того, в составе какой морфемы он находится). Точно так же звук *л* (в старомосковском произношении *а*) и звук *о*, занимающие второе по порядку место в корневой морфеме слова *гора* в им. падеже ед. числа и в вин. падеже ед. числа (*гору*), входят в одну фонему, поскольку наличие *л* (*а*) в первой из этих форм фонетически обусловлено (*о* в этих фонетических условиях по нормам русского литературного языка невозможно, и любое *о* в составе любой морфемы, т. е. в этом фонетическом положении, сменяется *а* или звуком, близким к последнему).

Два множества звуков речи, относительно каждого из которых установлена вышеуказанным способом принадлежность одной фонеме, принадлежат к двум различным фонемам, если в составе каждого из этих множеств имеется хотя бы по одному звуку речи, удовлетворяющих следующим условиям: принадлежа оба к двум различным звукам языка, они занимают соответственно одно и то же порядковое место в двух различных словах, причем все остальные звуки речи обоих слов образуют пары, члены каждой из которых тождественны друг другу по порядковому месту, занимаемому каждым в своем слове, и по звуку языка, которому они принадлежат. При этом оба слова в целом тождественны друг другу

¹ Вопрос о таких фонемах был мной рассмотрен еще в 1941 г. (см. П. С. Кузнецов, К вопросу о фонематической системе..., стр. 170—171).

и в остальных звуковых признаках (помимо пар различающихся звуков), т. е. в ударении, в слоговой структуре. Под словом понимается в данном случае слово в любой его грамматической форме. Так, например, вышеуказанным способом устанавливается, что различные гласные одной и той же корневой морфемы в таких словах, как *пар*, *пары* [пАрý], *пъра* [Δ¹вой, вѣпър'ит', принадлежат одной и той же фонеме и что различные гласные одной и той же корневой морфемы в таких словах, как *парá* [пАрá] и (*с тех*) *пър*, (*е*) *пъру*, также принадлежат одной и той же фонеме. Но на основании сопоставления таких слов, как *пар* (им. падеж ед. число) и *пор* (род. падеж мн. числа, например, в сочетаниях *с тех пор*, *с давних пор*), мы устанавливаем, что первая совокупность звуков речи (ѣ, А, а) и вторая совокупность звуков речи (а, Δ, о) принадлежат различным фонемам. В сопоставляемых словах соответствующий гласный звук занимает одно и то же порядковое место (именно второе), остальные же звуки обоих слов также удовлетворяют сформулированным выше требованиям: *п* слова *пар* и *п* слова *пор* образуют пару, каждый член которой занимает одно и то же (первое) порядковое место в своем слове, причем оба принадлежат одному и тому же звуку языка (*n*); *р* слова *пар* и *р* слова *пор* также образуют пару, каждый член которой занимает одно и то же (третье) место в своем слове, и оба принадлежат одному и тому же звуку языка (*p*).

Точно так же, например, различные звуки речи *к* в конце корневой морфемы *лук* в словах *лук* (им. падеж ед. числа), *лука* (род. падеж ед. числа) образуют совокупность, принадлежащую иной фонеме, чем совокупность звуков речи *к*, *г* в конце корневой морфемы *луг* в словах *лук* (им. падеж ед. числа), *луга* (род. падеж ед. числа). Поскольку слова состоят из морфем, тем самым рассматриваемые различные звуки языка входят и в некоторые морфемы. Но определять принадлежность различных звуков языка к различным фонемам следует на основании сопоставления сл о в, а не морфем, так как морфемы могут занимать различное место в слове, вследствие чего тождественные по порядку и месту звуки в различных морфемах могут находиться в различных фонетических (позиционных) условиях.

Под фонемой данного языка и понимается множество звуков речи, отличие которого от любых других множеств звуков речи данного языка определяется указанным выше способом. Различие фонем устанавливается на основании различия звуков в составе слов; слова же состоят из морфем, каждая из которых представляет определенную последовательность фонем. Поэтому вполне законно называть фонемы различителями или дифференциаторами морфем. Но само по себе выражение «фонема есть различитель (или дифференциатор) морфем» не является определением в строгом смысле.

Указанным выше путем и следует для каждого языка установить определенное конечное число множеств звуков речи, образующих различные фонемы данного языка. Практически это число, различное для разных языков, по крайней мере для тех, которые пока известны, больше 10 и меньше 100. Необходимо иметь в виду, что должно быть доказано отличие каждой фонемы данного языка от любой другой фонемы того же языка. Ведь из того, что $A \neq B$, а $B \neq C$, не следует, что $A \neq C$.

Из сказанного ясно, что фонемы и звуки языка данной языковой системы обычно представляют собой пересекающиеся множества звуков речи.

Множество звуков речи, все элементы которого принадлежат одному звуку языка и в то же время принадлежат более чем одной фонеме, образует варианты соответствующих фонем, причем каждый из этих звуков речи принадлежит варианту какой-либо из этих фонем.

Всегда ли фонемы и звуки языка образуют пересекающиеся множества звуков речи, сказать трудно. Теоретически мыслим такой язык, где звуки не подвергаются позиционным изменениям (подобным описанным выше или каким-нибудь другим) или же подвергаются лишь незначительным изменениям, не приводящим к тому, что тождественные или очень близкие друг к другу звуки речи, входящие в один и тот же звук языка, принадлежат двум различным фонемам. В данном случае некоторая группа звуков языка, представляющих собой какие-то множества звуков речи, целиком входит в одну фонему. Но практически вряд ли можно встретить такой язык, т. е. язык, где множества звуков речи, образующие звуки языка и фонемы, никогда бы не пересекались.

Множество звуков речи, образующее некоторую фонему, может содержать также и нуль, т. е. полное отсутствие звука. Это имеет место в том случае, если звук речи, входящий в состав соответствующей фонемы, занимающей определенное порядковое место в составе некоторой морфемы, в некоторых фонетических условиях фактически невозможен и подвергается утрате. Так, например, в русском языке невозможно сочетание согласных *стн*, и если морфема, оканчивающаяся сочетанием фонем *ст* (*ст'*), оказывается в слове непосредственно перед морфемой, начинающейся с фонемы *н*, *т* исчезает. Ср. *кость* — *костный* (фонетически *к'осн'ъй*), *лесть* — *лестный* (фонетически *л'эсн'ъй*), *место* — *местный* (фонетически *м'эсн'ъй*) и т. д. Нуль, поскольку он является в данном случае совершенно независимо от того, с какой морфемой мы имеем дело, и зависит исключительно от фонетических условий, является также элементом тех множеств звуков речи, которые образуют фонемы *т* и *т'*. Мы говорим в таком случае о варианте нуль соответствующей фонемы.

Множества звуков речи, принадлежащие к таким звукам языка, которые входят целиком внутрь какой-либо фонемы, называются в *а* *р* и *а* *ц* и *я* и той фонемы, внутрь которой они входят. Так, например, множество звуков речи, образующих звук языка *ä* переднего ряда под ударением между мягкими согласными (в таких словах, как *пяť*, *мяť*, фонетически *п'ят'*, *м'ят'*), как и множество звуков речи, образующих более заднее *а* под ударением перед твердым *л* и после твердого согласного (в таких формах, как *пáлка*, *упáл*), представляют собой различные вариации фонемы *а*.

5. Любой звук речи входит в состав какой-то фонемы. Но некоторые звуки речи могут принадлежать более чем одной фонеме одновременно. Это имеет место, во-первых, в тех случаях, когда два звука речи, принадлежащие двум различным звукам языка, не могут стоять (вообще или в определенных условиях) в непосредственном соседстве, а если они встречаются вследствие того, что оказываются в непосредственном соседстве две морфемы, то оба звука речи замещаются третьим звуком речи, принадлежащим третьему, отличному и от первого и от второго, звуку языка. Этот последний звук речи входит одновременно в два класса звуков речи, образующих две разные фонемы — замыкающую первую из соседних морфем и начинающую вторую из этих морфем. Так, например, в русском языке сочетание согласных *тс* перед следующим согласным дает аффрикату *ц*, например *детский*, фонетически *д'эцк'ъй* (о том, что первая морфема замыкается посредством *т*, а вторая начинается посредством *с*, свидетельствуют, с одной стороны, такие формы, как *дэťка*, *дэťи*, с другой — такие, как *рижский*, фонетически *р'йшск'ъй*). В данном случае и конкретный звук речи данного высказывания *ц*, принадлежащий звуку языка *ц*, входит (наряду с другими звуками речи) одновременно и в фонему *т*, и в фонему *с*. В то же время звук языка *ц* входит и в самостоятельную фонему *ц*.

Во-вторых, одновременно двум и более фонемам принадлежат звуки речи, входящие в состав некоторых морфем и постоянно представленные в таких фонетических условиях, для которых не может быть установлено различие соответствующих фонем. В качестве примера можно указать звуки типа *А* в первом предударном слоге таких русских слов, как *собака*, *корова* (фонетически *сЛбáка*, *кАрóва*), находящиеся в таком фонетическом положении, где не может быть установлено различие фонем *а* и *о*. Группа фонем, представляющих собой взаимно пересекающиеся множества звуков речи, согласно терминологии московской фонологической школы, называется *гиперфоной*. В приведенных выше примерах звуки речи представляют собой вариант одновременно фонем *а* и *о* или гиперфонемы *а — о*.

6. При определении фонемы совсем не использовалось понятие дифференциальных признаков. Это существенная категория фонологии, но устанавливать их для данного языка можно лишь тогда, когда определена система фонем этого языка и отношения между ними¹.

7. Настоящая статья имела целью, как уже было сказано, не принципиальное изменение, а лишь уточнение и дальнейшую разработку основных положений так называемой московской фонологической школы, формулированных в прежних работах ее представителей. Разграничение понятий звука речи и звука языка и определение фонем и звуков языка как множеств звуков речи делает возможным более четко определить отношения фонемы к ее различным модификациям (вариантам, вариациям). Таким образом, устраняется «важнейший», по мнению Р. И. Аванесова, «недостаток концепции московских фонологов», состоящий в «отсутствии четких граней у понятия фонемы»².

¹ Подробнее см.: П. С. Кузнецов, О дифференциальных признаках фонем, ВЯ, 1958, № 1.

² Р. И. Аванесов, Фонетика..., стр. 39.

Ю. С. МАРТЕМЬЯНОВ

КОНСТРУКЦИЯ *avoir parlé* СО СТОРОНЫ СТРУКТУРЫ И ЗНАЧЕНИЯ

Из сложных глагольных конструкций современного французского языка, таких как *aller parler* (futur immédiat), *venir de parler* (passé immédiat), *être parlé* (forme passive), *avoir parlé* (forme composée), последняя представляется наиболее очевидным единством и рассматривается как аналитическая форма «основного» глагола (в нашем случае *parler*). Обычный довод в пользу «грамматикализации» конструкции носит негативный характер и заключается в указании на лексическую опустошенность основного глагола¹. В этом смысле конструкция *avoir parlé* оказывается совершенно «грамматикализованной», поскольку лексическая опустошенность *avoir* дополняется утратой пассивного оттенка у причастия². Иной, положительный смысл имеет определение сложной формы у профессора А. И. Смирницкого. Согласно А. И. Смирницкому, вопрос заключается в том, «каковы условия того, чтобы известные словосочетания выделялись именно наподобие грамматических форм тех основных слов, которые входят в их состав»³. Искомые условия А. И. Смирницкий усматривает в таком взаимоотношении аналитического образования и синтетической формы (при общем лексическом элементе, например *will work : works*), которое продолжало бы уже существующие отношения между синтетическими формами определенной грамматической категории (*will work : works — works : worked*) или напоминало бы подобные отношения и тем самым создавало новую категорию (*works : is working*).

В обоих случаях речь идет об отношениях смысловых, так что критерий принадлежности к парадигме является в основном семантическим. Наименее убедительным и четким оказывается этот критерий тогда, когда речь заходит об отличении определенных глаголов как вспомогательных, внутри «аналитической формы», от тех же глаголов в свободном сочетании. Соответственно, остается неясным, только ли к парадигме «основного» глагола принадлежит получающаяся «аналитическая форма», не относится ли она сразу к двум парадигмам.

В настоящей статье вопрос ставится именно с такой поправкой: каковы условия того, чтобы некоторое образование W_x , включающее форму V_x из класса A_V (парадигмы глагола V), принадлежало этому же классу и только ему, или, иначе, было словоформой этого и только этого глагола⁴.

¹ См. Н. М. Штейнберг, Сложные глагольные конструкции во французском языке (глаголы *aller*, *venir* и *être* с инфинитивом). Канд. диссерт., Л., 1955.

² См. З. Н. Липовецкая, К истории становления сложных глагольных форм с *avoir* в системе изъявительного наклонения во французском языке. Канд. диссерт., М., 1954, стр. 4.

³ А. И. Смирницкий, Аналитические формы, ВЯ, 1956, № 2, стр. 44.

⁴ «Под словоформой понимается... данное слово в данной грамматической форме, или данная грамматическая форма данного слова» [см. А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «тождества слова»), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, 1954, стр. 18].

Прежде всего правомерна попытка решить этот вопрос в чисто структурном плане, а именно: не выражается ли подобная исключительная принадлежность в самом строении словоформы (в составе и во взаимоотношении ее элементов)? В число безусловных («синтетических») словоформ класса A_v , например парадигмы глагола *parler*, входят образования вроде [pɑrlərjɔ̃], [pɑrləɔ̃], [pɑrlɔ̃] и др., которые при сравнении между собой обнаруживают довольно сложный состав:

$$\begin{array}{c} (il) [pɑrləɛ] \\ \hline - [pɑrl] \\ \hline [pɑrl/əɛ] \\ \hline - [pɑrlɛ] \\ \hline [pɑrl/əɛ//ɛ]^1 \end{array}$$

Составляющие элементы [əɛ] и [ɛ] следует признать значащими элементами², поскольку именно в них сосредоточено различие между соответствующими разными по смыслу словоформами³. Наличие у какой-либо словоформы, например [pɑrləɛ], элементов [əɛ], [ɛ], дополнительных сравнительно с [pɑrl], не мешает по-прежнему считать ее безусловной формой того же глагола *parler*, и только его.

Поэтому представляется необходимым определить особый характер элементов [əɛ], [ɛ], [əɛ] и др. сравнительно с элементами типа [pɑrl]. Различие между этими двумя разновидностями элементов заключается, как оказалось, в особенностях их речевого существования, а именно: [əɛ] в отличие от [pɑrl] никогда не составляет высказывания, т. е. «такого отрезка речи какого-либо лица, до и после чего это лицо молчит»⁴.

Можно думать, что способность некоторого отрезка звучания составлять высказывание и, соответственно, очевидность его связи с определенным значением играет очень важную роль для обратного узнавания (отождествления и выделения) этого отрезка в составе большего высказывания, т. е. даже при отсутствии выделяющего молчания — и наоборот. Это «наоборот» как раз и имеет место для элементов типа [əɛ]. Их неспособность составить высказывание позволяет сформулировать такое самоочевидное положение. Высказывание W_x , включающее высказывание V_x из класса A_v , принадлежит тому же классу и только ему, если элемент $a = W_x - V_x$ не составляет высказывания (такой элемент принято называть «связанным»).

Так, например, высказывания *tu leur parles*, *parle-leur!* и т. д. входят по-прежнему в класс глагола *parler*, ибо *tu* и *leur* не составляют высказывания. Отсюда вытекает необходимое условие исключительной принадлежности некоторому классу высказываний.

Для того чтобы какое-либо высказывание W_x , включающее высказывание V_x из класса A , принадлежало этому же классу высказываний и

¹ Это разграничение может быть произведено способом «непосредственных составляющих», причем в нашем случае правомерность сравнения опирается на полное тождество (в звуке и смысле) меньшей формы (model) с частью большей (expansion). См. R. S. Wells, Immediate constituents, «Language», vol. 23, № 2, 1947.

² Определяя значащий элемент как внешнюю (звуковую) разницу между двумя единицами одного класса, мы ничего не говорим о его минимальности. В этом отличие значащего элемента от «морфы», которая определяется как минимальный значащий элемент. Cp. Ch. F. Hoekett, Problems of morphemic analysis, «Language», vol. 23, № 4, 1947.

³ В этом случае мы совершенно согласны с А. И. Смирницким (см. А. И. Смирницкий, Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», вып. 5, 1948).

⁴ Определение заимствовано из книги: Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951, стр. 14.

Но в таком случае другую часть совокупного значения конструкции придется отнести, очевидно, целиком на долю причастной формы.

Следует отметить, что мысль о немотивированности значения «сложной формы» (например, *passé composé*) опирается на сопоставление смысла всего сочетания (например, «прошедшее, связанное с настоящим») со смыслом отдельно причастия («пассивность») и глагола *avoir*. Так как и в том и в другом случае этот смысл определяется путем прямой семантической оценки и потому не может считаться окончательно доказанным¹, то и само суждение о немотивированности представляется необоснованным.

Остановимся подробнее на форме причастия (*participe passé*). Распространено мнение, что *participe passé* означает «страдательность» («пассивность») и «перфектность», причем далее следует обычно уточнение: первое значение свойственно глаголам переходным, а причастие от переходных глаголов в лучшем случае указывает на особый «вид», если глагол «терминативный»². Это уточнение наводит на мысль, что оба указанных осмысления не только соответствуют двум особенностям реального глагольного действия, но прямо обусловлены этой реальностью, в то время как собственное значение формы в лучшем случае лишь способствует получению таких оттенков, не будучи, возможно, ни тем, ни другим.

Ограничимся двумя наблюдениями:

а) Оттенок «страдательности» обусловлен представлением об особой внешней причине некоторого состояния; при отсутствии этой причины такое осмысление вовсе не обязательно, даже в случае причастий от переходных глаголов. Ср. «Par la cartouche encore toute *noircie*, leur bouche est prête à flatter les tyrans» (Beranger, Textes); «Et tout cela était raconté d'une façon convenable et *modérée*, où parfois éclatait un enthousiasme *voulu*, propre à exciter l'émulation» (Maupassant, Boule de suif).

б) Насколько форма причастия от переходных глаголов безразлична сама по себе к обозначению «страдательности», можно судить по такому факту: в случае возвратных глаголов эта форма сохраняет нестрадательный смысл даже несмотря на опущение возвратного приглагольного местоимения, т. е. при полном совпадении с причастием от переходных глаголов. Ср.: «Elle vivait *retirée* dans des pratiques pieuses» (Flaubert, Salammbô); «L'un d'eux, un petit garçon, *assis* par terre, achevait de ronger un os de poulet» (V.-Couturier, Enfance), где *retirée* и *assis* означают, соответственно, «удалившись» и «усевшись» (от *se retirer* и *s'asseoir*), а не «удаленная» (кем-то) и «посаженный» (кем-то). Вот почему правомерна попытка понять, как бы «схватить», собственное значение языковой единицы в отвлечении от контекста.

Для грамматических единиц такой путь мысли постольку, поскольку они (например, словоформы глагола) составляют немногочисленную замкнутую группу (парадигму) и, кроме того, поскольку между ними, внутри группы, существует определенный однозначный порядок; другими словами, поскольку они образуют систему.

¹ Например, *passé composé* определяется не только как «прошедшее, связанное с настоящим» (см., например, A. D a u z a t, Le génie de la langue française, Paris, 1947) или как «прошедшее субъективное» (*passé de la mémoire* — см. J.-M. B u f f i n, Remarques sur les moyens d'expression de la durée et du temps en français, Paris, 1925), но и как особый вид (*aspect extensif* — см. G. G u i l l a u m e, Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps, Paris, 1929), а также как «предшествование» (см. J. D a m o u r e t t e, E. P i c h o n, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, t. V, Paris, 1936).

² См., например, L. C l é d a t, Le participe passé, le passé composé et les deux auxiliaires, «Revue de philologie française et de littérature» t. XVII, fasc. 1, 1903.

*

Такой определенный порядок явно обнаруживается у составных словоформ, внутри которых выделяются отдельные элементы. При внешнем выражении различия в виде дополнительного звучания легко судить о степени и направлении отличия одной словоформы от другой. Например, словоформа [pɑrlō] составляет минимальное отрицательное отличие от [pɑrləŕō] и более значительное, причем тоже отрицательное — от [pɑrləŕjō], обнаруживая отсутствие соответственно одного [əŕ] и двух элементов [əŕ] — [j] ¹.

Определенный системный порядок среди таких словоформ заключается, очевидно, в последовательном характере их разл и ч и й, а именно — каждая словоформа: а) непосредственно отличается отнюдь не от всех словоформ сразу, а лишь от ближайшей менее распространенной (если таковая имеется): [pɑrlō] < [pɑrləŕō] < [pɑrləŕjō]; б) от всех остальных словоформ она отличается опосредствованно, через посредство словоформ с промежуточной степенью распространения.

$$[pɑrlō] < [pɑrləŕō] < [pɑrləŕjō]$$

Соответственно, каждая из более распространенных словоформ включает звучание и значение всех менее распространенных:

$$\begin{array}{l} [pɑrl] \leftarrow [\ō] \\ \quad \quad \quad [əŕ] \rightarrow \\ \quad \quad \quad [j] \rightarrow \end{array}$$

С другой стороны, отличие более распространенной словесной формы от менее распространенной сводится к различию дополнительного элемента и нуля: [pɑrləŕō]: [pɑrlō] = [əŕ]: *нуль*, что со стороны значения выглядит как различие типа *marqué* — *non-marqué* ².

Все дальнейшее рассуждение имеет смысл лишь в том случае, если мы согласимся допустить, что указанная последовательность различий внутри парадигмы закономерна не только для ряда форм с прозрачным составом (агглютинативного типа), но также и для всех остальных словоформ данной парадигмы, даже если внешнее различие между ними оказывается в этом отношении совсем невыразительным, например: *parler, parlant, parlons, parlé*.

Вообще говоря, такое допущение совершенно правомерно. Значение словоформы типа *parlé*, если оно сколько-нибудь определено, не может, очевидно, основываться на абсолютном отличии от любой другой словоформы вообще. Определенным значением может обладать непосредственное положительное отличие лишь от одной словоформы (менее значимой), в то время как все прочие различия будут уже опосредствованы этим первым. Таким образом, гипотетична не сама необходимость определенного порядка, а лишь тот или иной конкретный характер этого порядка. Мы предполагаем, что этот порядок — один и тот же для всех словоформ парадигмы, независимо от их большей или меньшей выразительности, и заключается в последовательности внешних различий, чему должна соответствовать и последовательность соотносительных значений ³.

¹ Соответственно, [pɑrlō] указывает просто на связь действия с лицом, в то время как [pɑrləŕō] относит эту связь в будущее, а [pɑrləŕjō] уточняет, что «будущая связь» в целом отнесена в прошлое.

² См. R. Jakobson, указ. соч., стр. 246. Приведенные выше формы иллюстрируют необходимость такого распределения значений самим характером внешнего различия.

³ В этом предположении мы опираемся на упомянутую уже работу Р. Якобсона, где автору удалось обнаружить такую последовательность для русских падежей, внешнее различие между которыми совершенно невыразительно.

При установлении взаимного расположения словоформ ряда *parler, parlons, parlez, parle, parles, parlent, parlant, parlé* обнаруживается вариантность единиц [pɑrlɔ], [pɑrle], [pɑrl], различие между которыми механически соответствует определенным взаимно-дополняющим «окружениям» (*nous*)—, (*vous*)—, (*je, tu, il, ils*) —. Тем самым они не могут иметь разных значений и могут быть отождествлены с определенной одной и той же единицей¹ (условно — *parlons...*), вследствие чего наш ряд приобретает вид: *parler, parlons..., parlant, parlé*.

Учет окружений, используемый в первую очередь для идентификации вариантов, позволяет в некоторых случаях определить соотносительное место невариантных единиц².

Примером может служить все та же единица *parlons...* Только словоформам этого тождества (*parlons, parlez, parlent, parle* и др.) и их производным (*parlerons, parlerions* и др.) свойственно сочетание-согласование с приглагольными субъектными местоимениями *nous, vous, ils — je — tu — il*. Тем самым эта единица отличается от всех остальных словоформ ряда *parlons... > parlant > parler* и т. д., причем, вероятно, является среди них наиболее значимой, будучи наименее значимой в ряду *parlerions... > parlerons... > parlons...* Соответственно, значением ее является, очевидно, указание на отнесенность к определенному лицу (ср. *parle!, parlez!, parlons!*), причем без тех временных модификаций, которые свойственны более распространенным словоформам (ср.: *nous parlerons*).

Для единицы *parlé* решающим моментом оказывается другое окружение — приглагольные объектные местоимения *me, te, le, la, se* и др.

При широком использовании таких высказываний, как *nous la parlons (cette langue), en la parlant, de la parler*, французская речь избегает высказываний вида *la parlé*. Лексическое содержание переходных глаголов как бы лишается в этой форме способности направляться на объект.

Это отрицательное свидетельство должно настораживать. Действительно, речь идет о связанном приглагольном элементе, который тем самым является характерным окружением глагола. Постоянное отсутствие такого элемента при одной из глагольных форм является фактом очень заметным, тем более что связанные приглагольные элементы составляют немногочисленную, легко обозримую группу. С другой стороны, отсутствие указанных объектных местоимений лишь при одной из глагольных форм не может быть случайным и должно находить свое объяснение не в чем ином, как в особом значении именно этой формы³.

Уже этого обстоятельства достаточно, чтобы признать причастие отличным от всех остальных словоформ глагола, и в первую очередь от минимальной из них — от инфинитива: *parlerions > parlerons > parlons > parlant > parler < parlé*.

Внутренний смысл этого отличия нельзя, конечно, сводить к утрате у глагольного действия, в форме причастия, способности переходить на объект. О такой утрате можно говорить лишь применительно к некото-

¹ Об «окружении» и «дополняющем распределении» (*complementary distribution*) см., например: Ch. N o s k e t t, указ. соч.; Z. S. N a g r i s, указ. соч.

² Нельзя, конечно, рассчитывать на то, что особое значение единицы находит прямое и обязательное отражение в виде особых, только ей свойственных окружений (ср. H. F r e i, *Critères de délimitation*, «Word», vol. 10, № 2, 1954). Однако было бы другой крайностью вообще отвергать изучение окружений даже в качестве косвенного средства обнаружить порядок единиц в парадигматическом плане.

³ Применительно к элементам внутри простого высказывания, с его определенной внутренней структурой, учет «окружений» (*environments*) представляется гораздо более эффективным средством классификации и более надежным материалом для каких-либо суждений о месте соответствующего «основного элемента» (*focus*), нежели такой же учет в сфере более сложных образований, представляющих комбинации, более или менее свободные, целого ряда простых высказываний.

рым, а именно так называемым «переходным» глаголам. Ослабление «переходности» следует скорее рассматривать лишь как частное, хотя и наиболее наглядное проявление некоторой общей особенности *participe passé*: в отличие от всех прочих форм, *participe passé* обозначает действие истекшее, «разряженное» (*action en détension*¹). Это значение присуще форме причастия как таковой и не зависит от лексического содержания глагола: ср. «Il but, *exténué* par sa grande dépense de souffle et d'éloquence» (R. Rolland, Colas Breugnon); «On savait seulement qu'elle vivait *retirée* dans des pratiques pieuses» (Flaubert, Salammbô).

Такое понимание вполне соответствует обычному способу распределения значений у соотносительных единиц:

<i>non-marqué</i>	<i>marqué</i>
<i>parler</i>	<i>parlé</i>
напряженное,	разряженное,
протекающее действие	истекающее (истекшее) действие

Значение «разряженного действия» уравнивает глагольную форму *participe passé* с другими языковыми единицами, указывающими на «неподвижный признак» (например, прилагательными), откуда ее сочетаемость с отрицанием *non* (вместо приглагольного *ne*): *non-marqué* (ср. *non-labiale*), возможность использования с этой формой префикса *in-* и суффикса *-ment* (*inattendu*, *assurément*), а также наличие, для некоторых глаголов, особого варианта женского рода (*faite*, *écrite*, *couverte*).

Существует даже мнение, что *participe passé* является «чистым глаголом» лишь в случаях типа *parcouru la rue* или *j'ai parcouru la rue*, а в остальных употреблении (*la rue parcourue*, *la rue est parcourue*) представляет собой прилагательное². Однако утверждать это — значит ставить на одну доску грамматическое значение формы, обусловленное положением в системе, и некоторые из ее речевых функций.

Отнесение причастия к имени есть лишь частный случай использования этой формы в речи³. Другим случаем речевого функционирования причастия является отнесение его к глаголу *avoir* в качестве смыслового дополнения. Получающаяся сложная конструкция является, таким образом, не чем иным, как прямым продуктом речевого следования единиц, речевым произведением в той же степени, как и любое другое сочетание *avoir* с последующим словом. Ср. «Il avait le corps pris dans une cuirasse brune» (Flaubert, Salammbô) и «Le Suffète avait pris sur le pont leurs catapultes abandonnées» (там же).

Тот факт, что за глаголом *avoir* следует причастие (а не имя), является решающим для возникновения между ними непосредственной смысловой связи, а следовательно, только он и дает нам право говорить о конструкции. В принципе неверна попытка обратного рассуждения, когда говорят о том, что конструкция (якобы заранее данная) не допускает между своими компонентами появления имени. На самом деле в этом случае кон-

¹ Наиболее удачное определение формы *participe passé* (*détension*) мы находим у Г. Гийома, которому можно поставить в упрек отнюдь не сам термин, а только способ его введения, опирающийся на произвольное (психологическое) расположение форм. Самым существенным является лишь четкое установление различия. Что касается термина, используемого для описания различия, то он может быть более или менее удачным и часто зависит от наличия подходящего слова (см. G. G u i l l a u m e, указ. соч.).

² Т. Н. Калепку, *Hat das Französische einen «participe passé», «Zeitschr. für französische Sprache und Literatur», Bd. LII, Hf. 1—3, 1929, стр. 89—96.*

³ Появление при этом у некоторых причастий особых «форм согласования», т. е. специальных вариантов для жен. рода (*faite* < *facta*), ничего не говорит об их переходе в «прилагательные». Такой вариант отнюдь не является показателем какого-либо особого замкнутого класса единиц, он возможен у единиц различных классов; ср. *une vie heureuse*, *la ville passante*, *la lettre écrite* и даже *la lettre que j'ai écrite*.

струкция вообще не создается и о ней не приходится говорить. Насколько рассматриваемое сочетание является свободным, можно судить хотя бы по тому факту, что, оказавшись после имени (в случаях типа *la lettre que j'ai écrite*), причастие, помимо зависимости от *avoir*, обнаруживает смысловую связь с именем.

Совокупным значением этой конструкции должно быть, соответственно, нечто вроде «обладания»¹ (в широком смысле) «истекшим», «разряженным действием»: *Parcouru la rue — nous avons parcouru la rue; payé cette somme — nous avons payé cette somme*; ср. «Manger est bon, *avoir mangé est meilleur*» (France, *Les pensées de Riquet*). «Обладание» таким действием может относиться, в зависимости от контекста, к какому угодно времени: как к прошедшему [ср. «J'en conviens, oui, je suis cet abominable homme. Et quoique en vérité je pense *avoir commis* D'autres crimes encore que vous avez omis, *Avoir un peu touché* les questions obscures, *avoir sondé* les maux, *avoir cherché* les cures..., Je me borne à ceci, je suis ce monstre énorme» (Hugo, *Contemplations*)], так и к будущему [«Attendez! *J'ai bientôt terminé* et je vais pouvoir m'occuper» (France, *Crainquebille*)].

Традиционные названия, такие как *infinitif passé* или *passé composé*, представляются тем самым слишком узкими.

В отличие от простой формы прошедшего или будущего времени (*passé simple*, *futur simple*), сложная конструкция имеет в виду не время какого-либо действия, а само это действие, представленное как истекшее и принадлежащее какому-либо субъекту (например, как факт его существования, деятельности, биографии и т. д.)².

«Et je lus: „Monsieur de Saint Exupéry, je me vois obligé demander pour vous sanction à Paris, vous avez viré trop près des hangars au départ de Casablanca“. Il était vrai que j'avais viré trop près des hangars...» (Exupéry, *Terre des hommes*).

Как бы ни было абстрактно при этом значение глагола *avoir*, оно остается тем же самым лексическим значением, что и в случаях с объектом-именем. Ср. «Tout content de m'avoir, il me tenait les mains» (R. Rolland, *Colas Breugnon*). Наличие этого значения проявляется, например, в том, что после *avoir* не принято употреблять те глаголы, которые по своей семантике немыслимы как объект «обладания» (*naître* «рождаться», *mourir* «умирать», *devenir* «становиться» и т. д.).

Четкое отличие лексического значения *avoir* («включение чего-либо») от лексического значения *être* («включенность во что-либо») используется в случае так называемых «разноспрягаемых» глаголов: *Il est descendu* «он (есть) спустившийся (и находится внизу)»; *Il a descendu* «ему принадлежит соответствующее истекшее действие (но он мог и вновь подняться)».

Нельзя усматривать стирание смыслового различия *avoir — être* в том факте, что при местоименных глаголах обладанием выражается словом *être*: *Il s'est adonné au travail; il s'est levé*. Такие случаи можно объяснить тем, что при местоименных глаголах объект оказывается тождественным субъекту (по объему), так что истекшее действие столько же принадлежит субъекту, сколько включает его (*il s'est levé = = il a levé + il est levé*)³. Таким образом, для данного случая

¹ Ср. термин. *acquêt* (приобретение) у Ж. Дамурета и Э. Пишона (J. Damourette et E. Pichon, указ. соч., стр. 165).

² Ср. психологизированное определение Г. Вебера (H. Weber, *Das Tempus-system des Deutschen und des Französischen*, Bern, 1954, стр. 58).

³ См. L. Clédat, *En marge des grammaires: V — Les temps composés et surcomposés*, «Revue de philologie française et de littérature», t. XXXVIII, fasc. 1, 1926; Th. Kalerky, указ. соч.

разница в значениях *avoir* и *être* оказывается несущественной, и под влиянием различных факторов в качестве речевой нормы здесь мог закрепиться глагол *être*¹. Следовательно, и со стороны значения конструкция *avoir parlé* может рассматриваться как сочетание двух единиц, в полной мере сохраняющих свои значения.

*

Остается сделать одно замечание. Главное препятствие для предлагаемого понимания конструкции заключается в том, что вне конструкции форма *participe passé* (от переходных глаголов) оценивается обычно как пассивное причастие. Ср. «L'enseignement est donné par des maîtres qui sont au moins agrégés de grammaire» (V.-Couturier, *Enfance*). Между тем пассивный смысл такого причастия легко поддается объяснению, исходя из значения «ненапряженного» (разряженного или разряжающегося) действия и из особого контекстного условия, которое почему-то не замечается. Условие это состоит в следующем: причастие переходного глагола воспринимается как пассивное лишь в том случае, если оно по смыслу относится к имени как его определение (в том числе обособленное) или как предикатив (*attribut*). При этом подлинным агентом или причиной этого «разряженного» действия может оказаться совсем другое лицо или предмет (*l'enseignement est donné par les maîtres; la bouche, noircie par la cartouche*). Тем самым первое имя (определяемое) оказывается носителем признака действия, произведенного другим, посторонним лицом или предметом (см. стр. 39), откуда эффект «пассивности». Такая связь с двумя разными именами имеет место лишь у причастий переходных глаголов, причем отнюдь не всегда (ср. *il est bu* «он пьян»), и невозможна для причастий от глаголов непереходных и возвратных. Соответственно, последние не могут иметь пассивного оттенка: «... Le sabre d'adjutant — *venu d'où?*» (V.-Couturier, *Enfance*); «...qui retombent encore dans l'air *noirci*» (Verhaeren, *Poèmes*).

Таким образом, «пассивность» есть лишь эффект формы «ненапряженного» действия, который возникает в особых условиях. Естественно, что в случае конструкции *nous avons parlé*, где действие принадлежит лицу как факт его собственной, а не посторонней деятельности (ср. *la langue est parlée par nous*), такого эффекта не возникает.

*

Итак, подход, учитывающий характер существования элементов *avoir* и *parlé* на синтагматической и парадигматической осях, представляется полезным не только для выяснения структурного характера конструкции (свободное сочетание, не словоформа), но и для установления ее значения. Из этого вовсе не следует, что в дальнейшем данное сочетание нельзя отнести в число средств, используемых говорящим для указания на «вид» и на «время». Более того, в качестве такого средства конструкция может восприниматься говорящим как нечто е д и н о е, связанное с единым «мотивом употребления». Допуская правомерность такой оценки конструкции говорящим в сфере употребления, мы настаиваем на том, что объективно, в системе языка, доказать существование сложной формы *avoir parlé* невозможно.

¹ Местоименные глаголы оказываются в этом случае позицией, нейтрализующей различие *avoir* и *être*, и *être* оказывается своеобразной «архиморфемой», аналогично «архифонеме». См. N. S. T r u b e z k o y, Die Aufhebung der phonologischen Gegensätze, TCLP, 6, 1936, стр. 29—45.

К ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСА ОБ ОМОНИМАХ

(Обзор статей, поступивших в редакцию)

Статья В. И. Абаева «О подаче омонимов в словаре» (ВЯ, 1957, № 3) вызвала ряд откликов наших читателей. Отмечая достоинства статьи — своевременность постановки вопроса, удачно подобранные примеры ошибок и непоследовательностей в словарях, остроумие автора и боевой тон его изложения, — читатели в то же время выражают несогласие с основным тезисом статьи В. И. Абаева и с избранной им системой аргументации. Отмечается, что, несмотря на видимую простоту и ясность основного тезиса статьи, автор впадает в противоречие с самим собою. Так, Е. И. А м о с е н к о в а (Ленинград) пишет: «В. И. Абаев не признает омонимами слова, возникшие на базе разошедшихся значений одного и того же слова. По его мнению, истинными омонимами являются лишь те созвучные слова, которые ни в какую историческую эпоху не имели генетической связи. Основываясь на этих положениях, автор неоднократно подчеркивает, что между омонимами и полисемией нет ничего общего. Отметим, однако, что сам В. И. Абаев как бы допускает возможность существования омонимов, образовавшихся в результате сильно разошедшихся значений одного слова. „Но обычно, — пишет он, — это имеет место в тех случаях, когда начало дифференциации значений находится за пределами засвидетельствованной истории данного языка, когда на протяжении всей истории языка разошедшиеся значения мыслились уже как разные слова” (ВЯ, 1957, № 3, стр. 33—34)¹. Это положение автора вызывает ряд недоуменных вопросов. Если дифференциация возможна, то почему ее начало выносится за пределы засвидетельствованной истории? Далее, если дифференциация фактически установлена, то как же этот исторический факт может быть за пределами засвидетельствованной истории?» Это противоречие в статье отмечает и А. А. Неёлов (Орджоникидзе).

Читатели указывают далее на упрощенность основной идеи статьи: ее автор не интересуется современное состояние лексической системы того или иного языка, сложные и изменчивые соотношения слов и их значений; понимая омонимы как категорию далекой истории языка, В. И. Абаев требует, чтобы и все другие приняли эту точку зрения. Однако в вопросе об омонимах (как, впрочем, и в других вопросах языковой системы) следует строго различать историю языка и его современное состояние. Приводя примеры «семантических омонимов» (*месяц* — «луна» и *месяц* — $\frac{1}{12}$ часть года; *совет* — «наставление» и *совет* — «орган государственной власти» и др.), С. М. П о т а п о в (Вильнюс) пишет: «С точки зрения исторической лексикологии каждая приведенная пара слов есть не что иное, как выражение разных значений одного слова, с точки же зрения говорящих на русском языке сейчас это разные слова»².

«В основе ошибочных утверждений В. И. Абаева по поводу полисемии и омонимии, как нам кажется, лежит неверное понимание им соотношения синхронии и диахронии в языке, — пишет А. А. Неёлов. — В. И. Абаев склонен чисто отрицать возможность синхронного подхода к изучению языковых явлений. Между тем понятия омонимии и полисемии относятся к „синхронным“ лингвистическим понятиям. В са-

¹ Далее в скобках указываются страницы этого номера журнала.

² См. также: С. М. П о т а п о в, К вопросу об омонимах, «Уч. зап. [Вильнюск. гос. н-та]», XXVI, Языкознание, I, 1958, стр. 225—226.

мом деле, что мы имеем в виду, когда говорим, что какие-то два слова являются по отношению друг к другу омонимами? Очевидно, только то, что эти слова одинаково звучат в данный момент развития языка. Ведь бесспорные и для В. И. Абаева омонимы современного языка очень часто не были омонимами несколько веков тому назад. Следовательно, омонимия есть явление по сути своей синхроническое. То же самое можно сказать и о полисемии: говоря, что слово полисеманлично, мы имеем в виду, что в данный момент истории языка оно обладает несколькими значениями. В прошлом оно могло быть однозначным, теоретически оно может стать однозначным в будущем, но сейчас мы констатируем множественность значений. Сам термин „полисемия” предполагает единовременное сосуществование соотнесенных между собой значений одного слова, рассматриваемого как элемент наличествующей в сознании носителей языка лексической системы. Поэтому представляется весьма неудачной попытка представить омонимию в виде двух параллельных линий, а полисемию — в виде пучка прямых, выходящих из одной точки. Судя по контексту, таким наглядным способом В. И. Абаев пытается представить не омонимию как определенное соотношение между словами и не полисемию как единовременную характеристику семантической структуры слова, а процессы развития омонимии и полисемии. Но в таком случае почему же омонимия представлена как две параллельных — разве то, что мы сейчас считаем омонимами, всегда было омонимами? Или если при помощи параллельных линий автор хочет изобразить не тождество форм внешнего материального выражения двух слов, а просто их независимое существование, то почему же он не считает возможным изобразить в виде параллельных линий дальнейшее развитие двух омонимов, возникших в результате полного исчезновения исходного значения, вскрываемого лишь исторически? Ведь тогда, если использовать малоудачный графический образ В. И. Абаева, нужно будет только убрать из схемы развития полисемии точку выхода пучка прямых линий; при продолжении лишь в одну сторону эти прямые также нигде не пересекутся и в этом своем качестве будут совершенно подобны параллельным». «В. А. Абаев намного упрощает схему исторического развития омонимии и полисемии,— пишет Я. Г. Б и р е н б а у м (Улан-Удэ).— Он так очарован линиями своих схем, что забыл, что дело идет не об абстрактной эвклидовой геометрии, а о живом языковом развитии».

Убедительные материалы о возникновении семантических омонимов на основе полисемии во французском языке приводит Е. И. Амосенкова. Она пишет, что историческое изучение лексики устанавливает разнообразные причины возникновения семантических омонимов. К ним относятся: 1) изменения, происходящие в общественной жизни; 2) утрата словом первоначального значения или архаизация одного из значений слова, которое являлось связующим звеном в цепи разнообразных значений слова; 3) использование слова, уже бытующего в языке, для наименования специального понятия.

1. Изменения, происходящие в общественной жизни народа, могут оказаться одной из причин появления лексических омонимов. Например, определенные общественно-политические условия в жизни французского народа оказались непосредственной причиной появления в XIX в. нового значения у слова *grève*, которое издавна существовало в значении «песчаный берег моря, реки». В словарном составе современного языка слова *grève* в значении «песчаный берег» и *grève* в значении «забастовка», несомненно, являются омонимами. Употребление слова *grève* в значении «стачка» началось в XIX в. Парижские рабочие прекращали работу и собирались на Гревской площади на берегу Сены, где обсуждали свои требования

предприимателям. Постепенно прекращение работы на заводах и фабриках стало ассоциироваться с выходом рабочих на эту площадь, которая называлась *La place de Grève* или просто *La grève*. Затем в словарном составе французского языка появляются выражения типа *faire grève, être en grève, se mettre en grève*, означающие «прекращать работу», «бастовать». Новое значение слова *grève* первоначально могло выступать как фразеологически связанное, а затем оформилось как свободное номинативное значение. Следующим шагом, свидетельствующим о нарушении смыслового единства, является появление производных на базе слова *grève* в его новом значении. Так, в конце XIX в. в лексике французского языка появляется производное слово *gréviste* в значении «забастовщик». В современном французском языке вошло в употребление сложное слово — калька *briseur de grève* «штрейкбрехер» (ср. нем. *Streikbrecher*), а также возникают многочисленные сочетания со словом *grève*, как-то: *grève générale* «всеобщая забастовка», *grève perlée* «итальянская забастовка», *grève politique* «политическая забастовка».

2. Распад полисемии слова и образование омонимов может произойти в результате архаизации первоначального значения слова. Этот тип образования омонимов можно проследить на примере исторического развития французского слова *timbre*. Слово это появилось в словарном составе французского языка в XII в. и употреблялось в качестве наименования особого рода барабана. В дальнейшем смысловое развитие слова *timbre* идет по двум направлениям: слово используется для обозначения церковного колокола и для наименования колокольчика, который вешали у ворот дома. В XIV в. *timbre* перестает употребляться в своем первоначальном значении. Вскоре на его основе возникают два смысловых центра, которые становятся источником дальнейшего семантического развития данного слова. *Timbre* в его значении «церковный колокол» стало употребляться как «звук колокола», а затем в более общем значении — «звук любого инструмента или голоса». Второе же производное значение слова *timbre* — «металлический колпачок» — в средние века послужило базой для образования производного, обозначающего «часть шлема, которая имела форму колпачка». Обычно эта часть шлема изображалась на самом верху щита феодала и украшалась каким-либо предметом, указывающим на знатное происхождение и титул владельца. Таким образом, в итоге своего семантического развития слово *timbre* во времена средневековья получает значение «герб». Затем, в XVIII в. это слово употребляется в значении «государственной гербовой печати». В середине XIX в. *timbre* начинает употребляться в смысле «почтовая марка». В современном французском языке нет смысловой связи между значениями «тембр голоса» и «почтовая марка»; мы имеем здесь дело с семантическими омонимами, образовавшимися в результате утраты словом его первоначального значения.

К этому типу примыкают случаи образования слов-омонимов вследствие полной утраты одного из значений многозначного слова. Примером могут служить слова *assiette* «положение, посадка» и *assiette* «тарелка», которые в современном французском языке являются омонимами. Однако исторически между этими значениями существовала смысловая связь, которая с течением времени оказалась утраченной. Слово *assiette* появилось в словарном составе французского языка в значении «посадка, положение». В ходе развития языка слово *assiette* расширяет круг фразеологических связей и начинает употребляться в тех случаях, когда речь идет о месте расположения города, лагеря. Расширяя свои фразеологические связи, слово *assiette* стало употребляться в переносном значении, когда речь шла о состоянии духа. На этом процесс образования производных значений

не прерывается, и в XIV в. *assiette* начинает употребляться в значении «расположение гостей за столом». Появление этого нового значения не нарушало смысловой цельности слова *assiette*, поскольку и в этом случае речь шла о местоположении. Последующее развитие слова шло по линии образования производных значений на основе этого нового значения, и в XVII в. *assiette* стало употребляться в значении «тарелка». Впоследствии на базе этого значения слова *assiette* появились различные фразеологические сочетания: *piquer l'assiette*, *pique-assiette*. Первоначально это производное значение было связано с исходным значением слова *assiette* «положение» через промежуточное значение «место приглашенного за столом», но постепенно с утратой промежуточного значения связь эта оказалась нарушенной, что и способствовало оформлению этих двух значений в самостоятельные слова-омонимы.

3. Общеупотребительные слова используются для называния различных научно-технических понятий на основе сходства внешних признаков. Если легший в основу наименования признак оказывается чисто внешним, несущественным, смысловая связь нарушается и исходное слово и производный от него термин оказываются омонимами. Так, словом *grue* во французском языке первоначально обозначался только определенный вид птицы — журавль. Во второй половине XV в. была изобретена машина для подъема тяжестей, которая внешне напоминала журавля и в связи с этим получила название *grue*. Слово-термин *grue* в этом новом значении широко употребляется в современной научно-технической литературе. Однако понятия, лежащие в основе значений этих двух слов, принадлежат к слишком разобобщенным сферам и не имеют точек соприкосновения. Несомненно поэтому *grue* в значении «журавль» и *grue* в значении «подъемный кран» являются омонимами, о чем свидетельствует возникновение на основе слова-термина производного *gruttier* «крановщик». В технике известны различные виды подъемных кранов, например, *grue à flèche fixe* «кран с укрепленной стрелой», *grue à flèche relevable* «кран со снимающейся стрелой», *grue pivotante* «поворотный кран», *grue de hissage* «подъемный кран».

Для доказательства возникновения омонимов на основе полисемии А. А. Неёлов приводит материалы из истории английского языка. Он пишет: «В английском языке издавна существует слово *game* (др.-англ. *gamen*), имевшее и продолжающее иметь основное значение «игра, развлечение». В письменности впервые оно было зарегистрировано в этом значении еще в Беовульфе. В дальнейшем это существительное накапливало многие второстепенные значения; в частности, в XIII в. оно было впервые употреблено в письменности в значении «охота». Это второе, производное значение закрепляется в языке. На его основе в конце того же XIII в. возникло еще одно производное значение слова *game*: «дичь как предмет охоты». Долгое время все эти три значения сосуществуют в языке. Каждое из них при этом оказывается вовлеченным в сложные и малоизученные исторические отношения как друг с другом, так и с другими соотносимыми элементами английской лексики — со своими синонимами (*sport*, *amusement*, *contest*, *play*; *hunt*, *hunting*, *chase* *wildfowl*, *gamebird*), со своими производными (*gamble*, *gaming*, *gamester*, *gamy*, *gambler*), созданными на их основе сложными словами (*game-keeper*, *game-laws*, *game-bag*); на базе этих сосуществующих значений образуются фразеологические единицы различной степени спаянности и употребительности (например, *game and glee*, *to play a deep game*, *the game's afoot* и т. д.). Все эти факты оказывают своепротиворечивое влияние на развитие трех названных значений слова *game* на протяжении многих веков. В результате в процессе речевой практики, взаимодействуя со всеми соотнесенными с ним элементами словарного со-

става английского языка, значение „охота“ постепенно устаревает, вытесняется словами *hunting, hunt, chase*; в настоящее время, как правило, словари современного английского языка даже и не отмечают этого устаревшего значения слова *game*. Напротив, *game* в значении „игра, развлечение“ и *game* в значении „дичь“ прочно входят в состав наиболее употребительных и широко известных лексических средств английского языка, в котором не сохранилось никакой осязаемой связи между этими двумя словами, исторически восходящими к одному источнику. Сейчас они относятся друг к другу совершенно так же, как относятся друг к другу русские *брак* „супружеский союз“ и *брак* „недоброкачественное изделие“».

Где проходит граница между полисемией и омонимией? Как избежать субъективного подхода и ошибок при решении этого вопроса в практической работе лексикографа? В ответ на этот вопрос читатели, откликнувшиеся на статью В. И. Абаева, высказывают верные, но неизбежно очень общие соображения. «До тех пор пока в сознании людей присутствует „ощущение“ связи между обозначаемыми словом явлениями, мы имеем дело с полисемией. С утратой этого мы получаем омонимы... Нужно знать, как воспринимает анализируемые явления большинство говорящих на данном языке, и из этого исходить. Это трудный, но наиболее плодотворный путь. Если между значениями одинаково звучащих слов, хотя бы и вышедших когда-то из одной точки, из одного понятия, так же мало в данное время общего (общих смысловых, ассоциативных связей), как между любыми другими словами; если между ними нет смысловых точек соприкосновения, которые говорили бы об общности, единстве их значений, мы имеем перед собой омонимы. Если же между значениями таких слов можно провести связующие их смысловые нити, а тем более подобрать к ним общие синонимы, то эти значения относятся к области полисемии слова» (С. М. Потапов)¹. «Получившее широкое распространение в нашей лексикологии положение о смысловой целостности единого слова логически вытекает из понимания слова как неразрывного единства внешней материальной и внутренней смысловой сторон. Провергнуть этот тезис невозможно, если понимать слово не только как определенный комплекс звуков, но и как известное мыслительное содержание. При этом возникновение самостоятельных одинаково внешне оформленных слов на базе развития и распада многозначности — не выдумка досужих теоретиков, а реальный языковой факт, находящий себе выражение в качественно иной способности двух слов образовывать свободные словосочетания, в различных показателях употребительности, в возникновении у этих слов иных соотношений по линии синонимии и антонимии и т. д. Лексикография современного языка, стремясь наиболее адекватным путем представить реально существующую смысловую структуру отдельных самостоятельных слов, не может не отразить факта существования независимых слов, звучащих одинаково и происшедших из одного источника. Всякие попытки „втолкнуть“ в словарную статью семантические единицы, противоречащие основному смысловому стержню слова и всей его смысловой структуре, на практике приводят к нарушению принципа возможно более точного отражения реальных соотношений между различными лексемами» (А. А. Нелюбов). Лексикографы должны «уделять больше внимания формальным, грамматическим моментам: синтаксической и фразеологической сочетаемости слов, фонетическому облику слов и др.» (Я. Г. Биренбаум). Нужно тщательно изучать историю слов, так, чтобы лексиколог мог «не просто констатировать разрыв смысловой связи, но д о к а з а т ь, что связь на-

¹ См. также С. М. П о т а п о в., указ. статья, стр. 226—227-

рушена, выдвинув определенные объективные критерии, свидетельствующие о нарушении смысловой целостности слова» (Е. И. Амосенкова). «Ошибки и произвол, имеющие место при выделении омонимов, возникших из полисемии, в некоторых новейших лексикографических изданиях, не могут дискредитировать самой плодотворной идеи их отдельного представления в описательных словарях, — пишет А. А. Неёлов. — Для того чтобы избавиться от этой распространившейся в последние годы путаницы, следует в каждом конкретном случае решать вопрос в пользу выделения омонима лишь после тщательного исторического изучения семантического развития рассматриваемого многозначного слова. Это можно было бы сделать путем постановки ряда смыкающихся между собой тематически диссертационных работ».

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М. В. СЕРГИЕВСКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В АЛЖИРЕ

I

О характере французского языка в африканских колониях Франции в научной литературе до сих пор нет сколько-нибудь обстоятельных этюдов или даже простых обзоров. А между тем вопрос этот заслуживает внимания, так как весь процесс распространения французского языка в Северной Африке проходил за последнее столетие, вернее даже за вторую его половину, т. е. на глазах у современников. Изучение этого процесса представляет уже определенный интерес для лингвиста, так как позволяет делать выводы, применимые и к эпохам более ранним, когда подобные процессы имели место: стоит только вспомнить судьбу латинского языка в провинциях Римского государства.

Как увидим далее, оба процесса имели в самом деле много общих черт, и поэтому мне казалось не лишним затронуть хотя бы в самых общих чертах эту новую и живую в то же время тему. Для начала я использовал сочинения современного нам французского писателя, родившегося и выросшего в Алжире, Робера Рандо¹, который в своих произведениях дал интересные образцы французского разговорного языка, употребительного в колонии. Можно думать, что изучение произведений других писателей, отдавших дань колониальному роману, как то: Ф. Дюшен, А. Жид и другие², — может значительно пополнить наши сведения о французском языке Алжира и других африканских колоний. Настоящий мой очерк носит лишь предварительный характер, больше имея целью поставить самую проблему изучения французского колониального языка, нежели дать ей достаточно обстоятельное освещение.

В Алжир французский язык начал проникать только во второй половине XIX в. Известно, что Франция начала свое завоевание Алжира с 1830 г., когда туда была снаряжена первая военная экспедиция под предлогом вызывающих действий алжирского бея, управлявшего страной. Но первые десятилетия после овладения Алжиром прошли для Франции в постоянной борьбе с многочисленными восстаниями воинственных берберских племен, медленно оттеснявшихся от побережья внутрь страны; в этих условиях еще нельзя было думать о систематическом и прочном заселении земель колонистами из метрополии. Только после подавления восстания кабилы в 1871—1872 гг. в Алжире устанавливается более или менее спокойная обстановка, при которой французское правительство начи-

¹ В настоящей статье использован языковой материал романа Р. Рандо «Колонисты» (R. Randau, Les colons). — *Ред.*

² См. Ch. Taillart, *L'Algérie dans la littérature française*, Paris, 1925.

нает планомерно эксплуатировать земли, отнятые у туземцев, путем раздачи их колонистам из Франции на даровых началах и с предоставлением первым колонистам значительных льгот. Именно в прибрежных областях Константине и Телле совершается всего активнее эта колонизация, в результате которой в 1921 г. в Алжире числилось уже около 147 тысяч натурализованных французов, при наличии еще 406 тысяч французов из метрополии, представленных отчасти в качестве поселенцев, а более в качестве чиновников, администрации и служащих торговых и промышленных предприятий. Основное население в стране в ту пору составляли по-прежнему берберы (племена кабиллов, туарегов, мозабитов и шауйя в количестве около 4,9 миллиона), наряду с которыми в стране были арабы (преимущественно кочевники-скотоводы) и так называемые мавры — потомки берберов и арабов, являющиеся преимущественно насельниками в городах.

Необходимо заметить, что и все берберские племена говорят ныне по-арабски (частично сохраняя и свой исконный язык), поскольку арабский язык проникал к ним вместе с исламом уже в конце VII в. и особенно начиная с XII в., при вторичном усилении арабского владычества. Таким образом, французам пришлось столкнуться здесь в первую очередь и сильнее всего с арабским языковым элементом, что не замедлило сказаться, как увидим далее, на самом характере языка французских колонистов в Алжире.

Обращаясь теперь к непосредственному обзору специфических черт языка, поскольку он представлен в упомянутом нашем источнике, необходимо прежде всего отметить, что разговорный язык населения составляет в основе своей тот самый разговорный язык французских городов, который носит в литературе наименование народного языка (*langage populaire*) и который в современной Франции отличается от литературного языка главным образом составом своей лексики, а в некоторой степени также в грамматическом отношении¹. По характеру наших источников мы лишены возможности установить какие-либо специфические черты в области произношения, свойственные алжирской французской речи. Но а priori можно предполагать их наличие там, и даже на то есть косвенные указания у самого Рандо [см. хотя бы следующие его замечания: «Des colons... croisent Jos et échangent quelques plaisanteries. Ils ont cet accent nasal particulier aux Africains» или «il parle d'abondance le français énergique, mais d'une souveraine incorrection des Africains»]. Вероятно, этот особый носовой оттенок автор хотел выразить написанием глагола *boomber* как *boôbber*, например: *au dehors boôbbaient les coups de tonnerr*².

Можно думать, что в общем французский язык в Алжире представляет своеобразный тип того регионального французского языка, который ныне распространен в большей части самой Франции на месте существовавших ранее местных диалектов, вытесненных общим разговорным языком городского населения страны, но оставивших свой след в некоторой специфической окраске речи каждой данной области³. Поскольку французские колонисты Алжира являлись выходцами из разных областей самой Франции, трудно и даже невозможно говорить о преобладании какого-либо одного из типов областной французской речи в языке колонистов, но не-

¹ См. Н. В а с h e, *Le langage populaire*, 2-me éd., Paris, 1928, а также краткий очерк в моей книге «История французского языка» (М., 1938).

² Ср. еще написания: *pluss, alorssquoi, en arrière; Le combass vous avez! Qué qu'vous voulez* и т. п.

³ Здесь автор делает ссылку на свою статью «Областная французская речь», написанную в том же году, что и настоящая статья, для неопубликованного сборника памяти Д. Н. Ушакова. — *Ред.*

которые элементы языка последних указывают на значительную примесь среди них населения Южной Франции, принесшего с собой провансальский языковой элемент в колонию, о чем будет речь в своем месте.

Возникает еще один вопрос, на который мы должны ответить, прежде чем перейти к изложению наблюдаемых фактов. Я имею в виду вопрос, насколько можно доверять романистам как источнику наших сведений об алжирском французском языке. В этом отношении романы Рандо могут быть использованы как вполне достоверный источник, так как писатель сам принадлежал к числу французских уроженцев Алжира, хотя и получивших высшее образование во Франции, но оставшихся верными патриотами родной колонии. Он выступил как писатель еще в начале XX в. (совместно со своим лицейским другом Садиа Леви из Орана) с романом «Rabbin» из еврейских нравов, натурализм которого вызвал резкие упреки в антисемитизме. Годы высшего образования (факультет права и *École coloniale*) прошли под влиянием Гюисманса, затем Рандо отправился в качестве *administrateur adjoint* в департамент Константины и там начал в своих произведениях *р а з в и в а т ь* идеи алжирского национализма (*algérianisme*, по его собственному выражению), нашедшие свое выражение в романе «*Les algérianistes*». Еще ранее, в 1900—1904 гг., он усиленно сотрудничал в журнале «*La grande France*» (вместе с Рони, К. Лемонье), где особое внимание уделялось развитию колониальной литературы. Ряд его романов одушевлен идеей «*de l'expansion virile de l'Algérie sur toute Afrique du nord*» (по словам М. А. Леблон в предисловии к роману «*Les colons*») или вообще посвящен описанию страны, например «*Cassarde le Berbère*», «*Le chef des Porte-plume*», «*Les explorateurs*», «*Le commandant et les Foulbé*» и др.

Характеризуя героев и вообще персонажей своих произведений, писатель старается возможно вернее передать их язык и, можно сказать, нарочито стремится передать его таким, каким он есть, не подменяя его общепринятой литературной формой в тех случаях, когда последняя звучала бы неестественно в устах говорящих. Последние как представители французской национальности в тех случаях, когда они принадлежат к интеллигенции, пользуются, где нужно, конечно, чисто литературной речью, но в более непринужденном разговоре переходят на разговорную речь, а при случае щеголяют типичными местными словами, вовсе не понятными во Франции, но вполне уместными в устах алжирского французского населения. Приведем для примера такую фразу из разговора чиновной молодежи по поводу одного из персонажей романа «*Les colons*», играющего в нем важную роль, — богатого колониста Жоса Лавьё: «*un jour les marabouts prêchèrent la révolte dans le Sahel et proclamèrent sultan un pouilleux; celui-ci s'empressa de toper avec Jos, de baiser son index et de prendre le vieux pour khalifa; et le paillard endossa le burnous, coiffa la chéchia...; les insurgés le baptisèrent Kaddour, depuis on ne l'appelle qu'ainsi.*»

В других случаях непринужденный разговор ведется в чисто разговорном стиле. Так, например, показана речь молодой девушки, прошедшей обычную среднюю школу, в разговоре со старшим братом, где на каждом шагу встречаются такие выражения: «*Je veux qu'on s'aime et qu'on soit riches*», «*Irangin, ne te gêne pas! Tu peux y sucer la pomme à ta Lena*», «*t'as beau carotter l'idiot*», «*Allons, bourrique, ôte-moi mes bottes*», «*Tu te fais bourriquer par un gavatche*».

Иначе звучит опять-таки французская речь в устах арабов из местного населения; ср., например, обращенную к тому же Жосу Лавьё речь его друга араба: «*On affirme qu'an fond du coeur tu n'es plus roumi, car un marabout, un ouali suscité par Dieu t'élut entre mille pour être son khalifa*».

Таким образом, писатель, действительно, довольно точно воспроизводит живую речь своих действующих лиц как истинный натуралист, и потому его произведения могут служить более или менее надежным источником, откуда можно черпать материал о языке французского населения в Алжире.

2

В чем же заключаются специфические черты этого языка? Поставив этот вопрос, я подчеркиваю, что имею в виду разговорный язык французских колонистов, наряду с которым в Алжире существует в употреблении и общий литературный национальный язык, применяемый всеми более или менее интеллигентными людьми, когда это необходимо; он же, конечно, используется на письме, в прессе и т. д. Возможно, что и в нем можно встретить некоторые элементы лексического порядка, относящиеся к явлениям местной жизни, но они не составляют слишком заметного отличия и являются своего рода характеристикой местного колорита. Что же касается разговорного языка, то, как уже говорилось, в основе его лежит общеразговорный язык городов Франции (*langage populaire*) со свойственными последнему характерными отличиями от литературного языка, но вместе с тем встречаются в изобилии некоторые специфические черты, которые уже не встречаются во Франции. Основная лексика разговорной алжирской французской речи та же, которую мы знаем из словарей французского «народного языка». Достаточно привести такие слова, как встречающиеся на каждом шагу: *se balader* «прогуливаться», *se biler* «беспокоиться», *bibine* «плохой напиток», *champoreau* «кофе с ликером», *dare-dare* «быстро», *degueulasse* «отвратительный», *flapi* «усталый», *frangin* «братец», *floppée* «множество», *fringale* «голод», *hancher* «вилять бедрами», *gober* «любить», *pedzouille* «мужлан», *peloter* «ласкать», *ratichon* «поп», *salopard* «негодяй», *sucer la pomme* «целовать», *zyeuter* «глядеть» и т. д. Таких иллюстраций можно привести чрезвычайно много, и в этом отношении язык персонажей романов представляет отличный материал для составителей лексикона народной речи.

Но в этом лексиконе мы находим у Рандо и такие особенные элементы, которые не встретятся во Франции, и они-то составляют специфику языка собственно алжирского населения и потому привлекают к себе особое внимание. Среди подобных элементов можно отметить и чисто французские слова и выражения, вроде *tronc de figuier*, которое сам автор поясняет в примечании: «indigène en patois algérien», затем провансальские, как, например, *ascouter* = *écouter* из прованс. *escoutar*, или *pitchoun* «малый» из прованс. *pitchoun*, наконец, испанские. Последних уже достаточно много, как, например: *anisado* «водка», *cacaouette* «земляной орех» (исп. *caca-huete*), *criada* «служанка» (исп. *criada*), *tchiquète* «девушка» (из исп. *chica*), *tchicote* «хлыст» (исп. *chicote*), *tchoulo* «апах» (исп. *chulo*), *douro* «пиастр» (исп. *duro*), *escarminter* «научить» (исп. *escarmentar*), *garbanzo* «турецкий орех» (исп. *garbanzo*), *gavatche* (исп. *gabacho*, презрит. «французишка»), *meneo* (например, *ce truc-là, en espagnole, s'appelle le meneo*; исп. *meneo* «поворот», разг. «трепка»), *moukère* «женщина» (исп. *mujer*), *ninia* «девушка» (исп. *niña*), *novio* «жених» (исп. *novio*), *patio* «внутренний двор» (исп. *patio*), *poutchero* «похлебка» (исп. *puchero*), *rabia* «ярость» (исп. *rabia*) и т. п. Некоторые слова представляют собой какую-то смесь испанского с провансальским, как приведенное выше *ascouter* при прованс. *escoutar* и исп. *ascouchar* или *marinero* «моряк» при прованс. *marinié* и исп. *marinero*.

Но самым характерным элементом французской разговорной речи в Алжире является, конечно, арабский элемент, представленный в большом

избыли. В журнале «French review» за 1938 год (t. XII, № 2) была напечатана заметка В. Л. Шварца (W. L. Schwartz, A glossary of Franco-arabic words), в которой автор приводит список 38 слов арабского происхождения, зарегистрированных как употребительные во французском языке в Алжире в словаре «Petit Larousse» (PL). К этому списку В. Л. Шварц добавляет еще 40 слов, извлеченных им из шеститомного «Larousse du XX-me siècle» (LXX). Среди этих 78 слов¹, зарегистрированных в современной французской лексикографии, некоторые настолько уже нашли себе распространение в разговорной французской речи, что занесены в словарь народной речи, данной в упомянутой выше книге Боша «Le langage populaire». Многие из них встречаются и в романах Рандо, у которого, однако, находим и слова, не отмеченные пока что ни в каких известных нам лексиконах. Я позволю себе привести сперва весь материал, данный в заметке Шварца, сопровождая его указаниями на другие источники:

aman (PL) (араб. 'amān «безопасность, защита»);
barca (L XX); Г. Бош—междометие (воен., разг.) в смысле «il n'y a rien à faire»;

barda m. (L XX); Г. Бош: воен. в значении «ноша, вьюк, багаж». Слово приводится и во «Французско-русском словаре» К. А. Ганшиной (изд. 1939 г.) как арготизм со значением «скарб, барахло, хлам» и как термин военного жаргона «шинель, снаряжение солдата», но без указания на алжирскую сферу его употребления;

bézeŷ — наречие (L XX); Г. Бош: *beseŷ* — наречие, означающее «beau-coup»; часто у Р. Рандо;

bled m. (L XX). В словаре К. А. Ганшиной дано в значении «пустырь, открытое поле» и в выражении *le bled Marocain* «внутренние области Марокко». В последнем значении часто у Р. Рандо (<араб. *bilād* «страна»);

bordj m. (L XX) в значении «дом, жилище префекта»; часто у Р. Рандо;
barnous (PL). В словаре К. А. Ганшиной «бурнус (плащ)»; часто у Р. Рандо;

cadi (PL)—известное арабское слово *qādi* «судья»;
caïd (PL)—в словаре К. А. Ганшиной «каид, губернатор [в колониях]»; часто у Р. Рандо; араб. *qā'id* «вождь, начальник»;

casbah f. (PL). Г. Бош приводит это слово в значении «maison, logis»; у него же дается слово *kasbah* — воен., разг. «maison»; у К. А. Ганшиной дано: «1) крепость (в Марокко); 2) фам. „дом, жилище“ [араб. *qasba(h)* „тростник, трость“]»;

chaouch m. (L XX) в значении «сторож, служитель»; также у Р. Рандо (араб. *šawīš*, тур. *çavuş*);

chechia f. (PL); встречается у Рандо в значении «прическа» (например, *coiffer la chechia*);

cheik(h) (PL); в словаре К. А. Ганшиной «шейх», также у Р. Рандо (араб. *šaik* «старик, старейшина»);

cherif (PL) — араб. *šerif* «знатный → чиновник»;
chott (PL) — араб. *šott* «пересыхающее озеро в Сев. Африке»;
couscous m. (PL) — араб. *qusqus* «род сладкого кушанья»; ср. у Р. Рандо *la corde à sécher le couscous* или *couscous à la viande*;

djaouak m. (L XX) «арабская флейта»;

djaoui m. (L XX) «самум»;

djebel m. (PL) «гора»;

djebira m. (L XX) «мешок» (f. у Р. Рандо, например *il... tire d'une djebira brodée des plis qu'il remet à l'adjoint*);

djellaba f. (L XX) «плащ с капюшоном и широкими рукавами»;

¹ На самом деле их несколько меньше, так как некоторые даются в разных написаниях и отдельно же считаются производные.

- djema* f. (L XX) «сельский совет»; у Рандо, например, *kebir de djema* (араб. *ġamā'a* → *ġema'a* «толпа, общество»);
djich m. (L XX) и отсюда *djicheur* m. (L XX) «пират»;
djerid (PL) — араб. *ġarid* «пальмовая ветвь без листьев»;
douar m. (PL); у К. А. Ганшиной «дуар ~ кочевой поселок бедуинов»;
тоже у Рандо (араб. *dowwār*, народн. *duwār* «загон, ограда»);
erg (pl. *areg*) (L XX) «дюна, песчаный холм»;
foggara m. (L XX) «оросительный канал»;
fondik m. (L XX) или *fondouk* (там же) «арабская гостиница»;
gandoura (PL);
gout m. (PL) и *goutier* (там же); у Ганшиной: «1) семья, род (у арабов);
2) воен. отряд туземцев в Алжире под командой французского офицера»;
hadji (PL) «человек, побывавший в Мекке»;
haik m. (L XX) «материя для женских платьев»; у Р. Рандо, например, *une femme enveloppée de riches haïks* (араб. *hiġka* «ткань»);
hanman или *hamman* (PL);
harka (L XX) «атака, набег»;
iman или *imat* (PL) «имам»;
k(h)an (PL); у Ганшиной: «1) хан; 2) караван-сарай» (араб. *hān* с теми же значениями);
kēbir (PL); у Рандо, например, *kebir de djemaâ* (араб. *kaḅīr* «старший», «глава»);
(*kief*) или *kif(f)* (L XX, PL), *kif-kif* — наречие; Г. Бош: *kif-kif* — прилаг. со значением «pareil, semblable», наречие со значением «de même, comme»; у Ганшиной: *kif-kif* вульг. «то же самое»; у Р. Рандо с тем же значением (араб. *kif* «как»);
ksar m., pl. *ksoar* (PL); у Ганшиной: «араб. 1) селение, город; 2) укрепление (в оазисе)»; (араб. *qasr*, народн. сев.-афр. *qasr* «замок»);
maboul — прилаг. (PL); Г. Бош приводит это слово со значением «fou»; у Ганшиной: вульг. «свихнувшийся, не в своем уме»; у Р. Рандо, например, *j'étais maboul ou tout comm*;
macache — междометие (L XX); Г. Бош: «non», «rien»: *c'est macache* «il n'y a rien à faire»;
marabout m. (PL), часто у Р. Рандо, у которого и производное *maraboutiser* (араб. *murābit* «воинствующие полумонашеские группы в Сев. Африке; марабуты»);
mastaba (PL) «каменная скамья перед домом»;
medersa f. (PL) «мусульманская школа, медресе»;
mehalla f. (L XX) «колонна войск»;
mektoub — междометие (L XX) «так написано»;
mellah f. (L XX); у Ганшиной: «еврейский квартал в Марокко»;
mouchir m. (L XX) «брат правителя»;
mollah (PL); у Ганшиной: «мулла»;
moucharaby (PL); у Ганшиной: «деревянная решетка в окнах (на востоке)»;
moukère f. (L XX) (из испанского через арабский); у Ганшиной: арго «женщина»;
muez(z)in (PL); у Ганшиной: «муэдзин»;
nouba f. (L XX); Г. Бош: «fête, bombance»; у Р. Рандо, например, *alors, c'est la nouba* (араб. *nūba* «несчастье»);
oued (PL); у Ганшиной: «речка, ручей (в Африке)»; часто у Р. Рандо (араб. *wādī*, сев.-афр. *wed* «воды»);
ouled, pl. *aouled* (L XX) «сын, мальчик»; у Р. Рандо *ouled* m. и *yaouled* [араб. *walad*, pl. *awlād*, сев.-афр. *ulēd* «мальчик»; *yaouled* (*aouled*) — звательная форма];

- Ouled-Nail* m. (L XX) «алжирское племя»; «проститутка из этого племени»;
- razzia* (PL); у Ганшиной: «набег»; часто у Рандо;
- reg* m. (L XX) «песчаная насыпь»;
- rezzou* m. (L XX) «банда»; есть у Рандо;
- roumi* (PL) (араб. *rūmī* «православный, византийский»);
- seghia*, *seguia* f. (L XX) «оросительный канал»;
- sidi* (PL) (народно-араб. *sīdī*, класс. араб. *saʿīdī* «мой господин»);
- simoun* (PL); у Ганшиной: «самум»;
- smala(h)* f. (PL); Г. Бош: в значении «famille»; у Ганшиной: «1) семья и свита арабского князька; 2) фам. „многочисленная семья“»; часто у Рандо;
- soufi* m. (LXX) «мусульманский мудрец»;
- souk* (PL) (араб. *sūg* «базар»);
- toubib* m. (L XX); Г. Бош: воен. в значении «médecin»; у Ганшиной: «воен. врач, хирург»; у Рандо часто в форме *tebib* (араб. *tabīb* «врач»);
- tartouche* m. (PL); у Ганшиной: «феска» (араб. *tarbuš*);
- ouléma* или *uléma* (PL); (араб. *ulemā* «улема, знаток корана и шариата»);
- youdi* m. (L XX) «еврей»;
- zaouia* f. (L XX); у Ганшиной: «поселок, становище (в Африке)»; встречается у Рандо, например: *chef de zaouia* [араб. *zaʿīia*: 1) «угол», 2) «монастырь (в Сев. Африке)»].
- Но, кроме приведенных слов, у Рандо встречается и целый ряд других, значение которых не всегда легко определить. Следующие слова являются безусловно арабскими¹:
- alfa* m. «альфа, особая трава, растущая в полупустынных местах Алжира» (араб. *alaf* «фураж, сено»);
- bakchich* m. «бакшиш, чаевые» (араб.-персид. *baḫšēš* «подарок»);
- bessif* — наречие, например *bessif faut que tu ailles à confesse vec lui* (<вульг. араб. *b'esif* «к сожалению»);
- caroubier* «рождковое дерево» (др.-евр. *harūb*);
- chbabe*, например *la France est une garce chbabe* (араб. *šabāb* «юность», *šābb* «юноша, джигит, молодец»);
- chekaia* f. (например, *les surprises de la~*) <араб. *šikāia* «жалоба, обвинение»;
- chichma* «туалетная, уборная» <народн. араб. *šišma*;
- diouan* m. «канцелярия, департамент» <араб. *diwan*;
- diss* m. «род травы»;
- djenoum* m. (например, *il redouta les djenoums aux yeux de feu*) <араб. *ǧinn* (народн. *ǧēnin* «безумие»);
- djinn* m. «джинн (демон)»;
- djaroutyua* m. «грамматика» (от имени автора Уджрумия, ставшего нарицательным);
- fellah* m. «пахарь, крестьянин»; ср. у Ганшиной: «феллах (крестьянин в Египте)»;
- flouss* m. (например, *elle possè de assez de flouss pour être indépendante*) <араб. *fuls* «деньги»;
- gourbi* m. «шалаш, землянка (у арабов)» (Ганшина); воен. *cabane, maison, refuge* (Г. Бош);
- hakem* m. <араб. *hākim* «правитель»;
- haram* (например, *s'abstenir de viande haram* <араб. *harām* «запрещенное исламом», ср. еще *n'est pas haram*);

¹ Арабские этимологии этих слов, как и ранее указанные, были мне любезно сообщены проф. В. М. Гранде.

- kahoua* m. <араб. *qahwa* «кофе»; Г. Бош: *caoua* m. воен., разг.;
katous «словарь» <араб. *qātūs*;
kebad «шашлык» <(персид. >араб.);
kesra m. <араб. *kisra(h)* «кусок» (например, *Ahmed cheik préside au repas, désigne du doigt les meilleurs morceaux à ses convives, leur distribue des crêpes et des kesra*);
kiddar m. означает «cheval de rebut en patois arabe» (примеч. автора к фразе «moi, je grimpe sur mon kiddar»);
khalifa m. «господин» (например, в обращении *M-r le khalifa*) <араб. *halīfa* «халиф»;
khammes m. <араб. *hammās* «работающий за $\frac{1}{5}$ урожая или арендатор за $\frac{1}{5}$ часть»;
kharchef m. <араб. *huršūf* «артишок»;
khodja m. «господин, начальник» (например, *ils insistent devant le~*) <араб. (<перс.) «господин»;
koura f. <араб. *kūra* «мяч, шар»;
loubia f. «сорт бобов, лобия»;
mechooi m. <араб. *mašwiḡ* «жареный» (например, *un mechooi d'agneau*);
melk m. <араб. *mulk* «имение» (например, *le melk que tu m'achetais*);
mokaddem m. <араб. «предводитель, начальник»;
nif m. <араб. *naiiif* «излишек», например, *je suis pauvre, mais j'ai du nif; une famille qui a du nif*;
ouahad «один, первый» <араб. *wāhid* (например, о вине: *numéro ouahad*);
ramadan m. «рамазан (пост у мусульман)» (Ганшина);
seroual m. <араб. *sirwāl* «шаровары» (например, *la boue embrenne ses mestr (sic!) de filali, crotte sur le seroual, macule jusqu'à sa courte veste brodée*).
- Помимо этого, в романе Рандо встречается ряд слов, возможно, берберского происхождения, которые большей частью отсутствуют в современных словарях. Приведем для примера такие:
- arch*, например *acquérir les terres arch*;
berboucha f «род кушанья» (*berboucha de blé dur*);
bicot (например, *il parle bicot mieux que nous le français*); Г. Бош дает это слово со значением «Arabe»;
cahouète — бранный термин, например, *ce cahouète et sa smala; assez cahouète*;
kelb m. — арго «собака» (Ганшина) (например, *il a du culot, ce ben kelb! или cet homme, furieux, l'appela ~ et djifa, épithètes excessives, j'en conviens, même, pour un tel polisson*);
khol m. «карандаш для бровей» (Ганшина);
koubba f. «construction à coupole» (примеч. Рандо);
filali «сорт кожи» (например, *les bottes de filali gaufrées d'or* или *ses mestr de filali*);
guelbite «победа» (например, *j'ai bezzeḡ eu la guelbite*);
makhzen m. (например, *il est à couteaux tirés avec le makhzen, mal avec le préfet*);
mekhrazeni m. (например, *accroupi sur le sol, le mekhrazeni tette un peau de bouc de lait aigre*);
moana f.;
moula-er-raba m. (например, *il était le moula-er-raba, le maître du maqués*);
nefra f. (например, *instigateur d'une nefra après laquelle on ramassa sur le marché d'El Had cinq cadavres*);

r'aba f. (la *r'aba s'assombrit* или *il n'y a pas d'herbe dans la r'aba; la sécheresse la brûla*);

r'haib m. «род кушанья»;

raita (например, *la musique allegre des~*);

setla f. (например, *ils buvaient d'amples setlas de lait aigre*);

slougui m. (например, *il lança sur le fauve ses meilleurs slouguis*);

cof (например, *notre cof n'était pas au pouvoir* или *D. m'a mouchardé et cambriola mes secrets au prolit d'un cof*).

Или еще в описании автора: «Et déjà on leur apporte, ensemble des outres de leben, le taâm, dans des quessaâ en bois de frêne; on leur présente couscouss à la viande, ragoûts, brochettes de kobda..., chaque chef de gamelle arrose de merga au piment la chechia de semoule qui fleure à point le beurre rance, ce régal de chaïx».

Этим отнюдь не исчерпывается весь запас арабских слов в романе Рандо, и я не задавался целью привести здесь их все до единого. Для меня достаточно сделанного, чтобы показать своеобразие французского языка в Алжире. В отдельных местах обилие подобных слов делает просто мало понятной речь говорящих; ср. такую, например, фразу в устах одного из персонажей романа: «j'y coupe les klaoui et j'y fais bouffer vec la merga et le khroubiza chez le gargottier mzabite, en devant la place du Mauché». Но все же весьма поучительно то, что целый ряд подобных слов из Алжира проник в разговорный язык парижан, как о том свидетельствует их наличие в словаре Боша и других источниках.

3

Помимо этих своеобразных особенностей алжирской французской речи, внимание исследователя останавливается невольно на морфологической характеристике подобных, вновь входящих в оборот языка необычных элементов чужой речи. Прежде всего отметим, что в отношении распределения слов по частям речи основное большинство приходится на имена существительные, как это легко видеть из приведенных материалов. Совершенно нет глаголов, и можно отметить только единственный встретившийся производный глагол *maraboutiser* (например, *Nul ne maraboutise mieux que moi un différend!*), образованный из соответствующего существительного при помощи французского глагольного суффикса по типу *anecdôtiser, poétiser* и т. п. Очень мало прилагательных, но больше наречий, таких, как *bessif, bezzeff, barca, kif-kif, macache* и т. п. В отношении существительных особенно интересно проследить причины отнесения их к тому или иному грамматическому роду. Внешний звуковой тип слов при этом явно не является решающим, как показывают примеры; ср. *barda m.* «багаж» и *casba f.* «дом, жилие», *alfa m.* «альфа» и *koura f.* «мяч», *gourbi m.* «шалаш», *khodja m.* «господин» и *djemâa f.* «сельская община», *medersa f.* «мусульманская школа» и т. д. Характерно, что совершенно нет слов с окончанием женского рода *-e*, кроме *moukèrè* «женщина», которое является испанизмом, получившим уже новое окончание. Слова на согласный звук обычно мужского рода; ср. *bled m.* «открытое поле», *bordj m.* «крепость, резиденция», *burnous m.* «бурнус», *chaouch m.* «страж», *couscouss m.* «пирожное», *douar m.* «кочевье», *gout m.* «отряд», *ksar m.* «селение», *oued m.* «речка», *ouled m.* «мальчик», *simoun m.* «самум», *toubib m.* «врач», *khammès m.* «арендатор», *hakem m.* «правитель», *melk m.* «именье, владенье», *nif m.* «излишек» и т. д.

Очевидно, что в вопросе о роде решающим моментом для современного француза является семантический, поскольку при однородном звуковом оформлении вновь входящие в язык слова выступают то как мужские,

то как женские по своему роду. Можно думать, что такое слово, как *casba(h)*, воспринятое со значением «жилище», уподобляется в роде такому слову, как *maison* или *cabane*; соответственно этому *koura* воспринимается в женском роде по аналогии с *la balle*, *mederza* по аналогии с *l'école*, *djemâ—la commune* и т. д. Напротив, для восприятия в мужском роде таких слов, как *khodja*, *cadi*, *barda*, *sidi*, *soufi* и т. п., решающим моментом являлись их значения, аналогичные французским *monsieur*, *juge*, *savant*, *paquet* и т. д.¹ Все это доказывает достаточную живость категории грамматического рода в современном разговорном языке Франции. И едва ли можно согласиться с мнением Фрея, что «le genre semble surtout dicté par la nature de la terminaison» и что «les changements de genre, si fréquents dans le langage populaire, ne sont guère dus à l'action de la signification»². Приводя высказывания Реми-де-Гурмона о том, что слова с окончанием на краткую гласную (*l'auto*, *dynamo*, *paroi* и под.) имеют тенденцию восприниматься в мужском роде, Фрей отмечает, что слова с исходом на долгий гласный звук, наоборот, воспринимаются как слова женского рода (*une hymenée*, *incendie*, *trophée* и т. п.). Наш материал не подтверждает этого наблюдения и скорее говорит за семантические основания при отнесении слова к тому или иному роду.

Существенным вопросом является также сама степень усвоения чужезычных элементов в языке французских колоний. Этот вопрос решать довольно трудно, но такие факты, как наличие слов в разговорном языке Парижа (поскольку они нашли свое место в словаре Боша), с одной стороны, а затем обрращение их производными, с другой, могут свидетельствовать о прочности усвоения и широте распространения. Слов последнего ряда очень немного: кроме *marabout* с производным *maraboutiser* мы находим еще *gout* и *goumier*, *caroube* и *caroubier*, *djich* и *djicheur* и только. Но употребительность многих слов — и в особенности в специфических фразеологических выражениях — не подлежит сомнению. Такие слова, как *kif-kif*, *bezef*, *taboul*, *macache*, *faire la nouba*, *smala*, *toubib*, безусловно вошли в обиход разговорной французской речи и уже не осознаются говорящими как иностранные экзотические слова, вроде *bled*, *oued*, *ouled*, *cadi*, *caïd* или *djemaa*, *gourbi*, *ksar* и им подобные.

Таким образом, мы можем сделать общее заключение, что французский язык в Алжире содержит в себе специфические иноязычные элементы как арабские, так и берберские и испанские, которые позволяют его рассматривать как своего рода областной (региональный) язык, существенно отличный от аналогичных типов областной речи в самой Франции. Его основу составляет общий разговорный язык Франции (*langage populaire*), который приобретает там особую окраску — и в произношении, и особенно в части словаря. Но этот областной алжирский язык в свою очередь оказывает кое-какое воздействие на разговорную речь самой Франции. Через чиновников колоний, особенно же через офицеров и солдат, направляемых на службу в Северную Африку из метрополии, многие слова алжирской речи попадают в живой язык самой Франции, где сперва воспринимаются как экзотизмы, а потом становятся уже органической частью народной речи.

Г. Ламменс в своей работе «*Remarques sur les mots français dérivés de l'arabe*» (Beyrouth, 1890)³ насчитывал свыше 420 слов арабского проис-

¹ Ср. по этому вопросу А. Sjögren, *Le genre des mots d'emprunt norrois en Normandie*, «*Romania*», t. LIV, 1928, стр. 381—412.

² Н. Frei, *La grammaire des fautes*, Paris, 1928, стр. 50, 51.

³ Эта работа непосредственно мне не была доступна, но она полностью использована у Гамилльшега (E. Gamillscheg, *Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache*, Heidelberg, 1926—1929), откуда я черпаю соответствующие данные.

хождения, наличных во французском языке. Среди этих слов только около 20 принадлежат к числу тех, которые отмечены как заимствования XIX в. и которые приводятся в настоящей статье, а именно — *aman* «прощение», *aeja* (известное еще в ст.-франц. в виде *aufe*), *burnous*, *caroub* (еще в ст.-франц. *carouge* из галло-роман. *carroubium*), *caïd*, *chott*, *diss*, *djinn*, *fellah*, *gout*, *gourbi*, *goule* «упырь», *razzia* (с производным *razzier*), *simoun*. Как наиболее ранние отмечены *iman* (XVI в.), *couscous* (XVI в.), *marabout* (с XVII в. через португ. *marabutol*), *cheik* (с XIII—XIV вв., вновь XVIII в.), *douar* (с XVII в.). Отсюда ясно, что процесс усвоения арабизмов во французском алжирском областном языке последние десятилетия шел довольно быстрыми темпами. Отсюда ясна важность детального исследования этого языка, которое, естественно, не могло быть проведено в рамках настоящей статьи; цель ее — привлечь внимание к этой вовсе еще не затронутой в науке теме.

17 августа 1945 г.

Н. С. ТРУБЕЦКОЙ

ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ
ЯЗЫКОВ*

Как известно, восточные и южные славянские языки отличаются от западных между прочим тем, что смягчают *k, g, x* перед *v*, за которым следует гласная переднего ряда. Явление это имело место после изменения дифтонга *oi* в *ě* (откуда дальше *ѣ*), и его, разумеется, невозможно отделить от так называемого «третьего смягчения» заднеязычных, т. е. смягчения *k, g, x* в положении перед гласными переднего ряда. В свою очередь и это явление есть лишь частный случай общей тенденции к прогрессивной палатализации, т. е. к смягчению всех согласных в положении перед гласными переднего ряда. Тенденция эта начала проявляться в диалектах общеславянского праязыка только после перехода *oi* в *ě*. До этого перехода в упомянутых диалектах существовала только тенденция к регрессивной палатализации, т. е. к смягчению согласных в положении п о с л е г л а с н ы х переднего ряда. Таковы случаи «второго смягчения заднеязычных» после неударяемого *i, ĭ* (ліс'е < лікò, вьс'е < вїхò, кѣнѣз'ь < кѣнїгѣ) и прарусско-празападнославянское смягчение предгласных плавных после *ь* (*i*) и *e* (польск. *wilk* < *vb'l'kь* < *vilkū*, русск. *верх*, польск. *wierzch* < *<vb'r'xь* < *vīrġū*, далее русск. *берег*, предполагающее *ber'g'ь* < *ber'gь* < *bergū*).

Только один раз тенденция прогрессивного смягчения проявилась до перехода *oi* в *ě*, именно в случае так называемого «первого смягчения заднеязычных», относящегося, как известно, к глубокой балтийско-славянской древности. Это исключение особенно замечательно. Оно показывает, что заднеязычные подвергались смягчению перед гласными переднего ряда даже в такую эпоху, когда тенденция к прогрессивному смягчению еще не существовала, другими словами, что заднеязычные особенно склонны к прогрессивному смягчению. Поэтому естественно было бы ожидать, что в эпоху появления общей тенденции к смягчению всех согласных перед гласными переднего ряда заднеязычные должны были подвергнуться этому смягчению с особой интенсивностью и во всех случаях. Тем более удивительно, что в западнославянских языках заднеязычные остались несмягченными перед *v* с последующей гласной переднего ряда, т. е. в таком положении, в котором зубные в ту же эпоху смягчению подверглись (польск. *dźwierz, świat*).

* Материалы и выводы настоящей статьи были использованы Н. С. Трубецким в статье «Über die Entstehung der gemeinwestslavischen Eigentümlichkeiten auf dem Gebiete des Konsonantismus», опубликованной в «Zeitschrift für slavische Philologie» (Bd. VII, Hf. 3—4, 1930, стр. 383—406), где более широко рассматривается вопрос о славянской палатализации согласных и групп согласных. Вместе с тем статья, предлагаемая сейчас вниманию читателей, продолжает сохранять самостоятельный интерес, так как она посвящена специально рассмотрению одного из явлений фонетики западнославянских языков.

Текст печатается по автографу Н. С. Трубецкого, присланному автором весной 1922 г. Б. В. Горнунгу для публикации в «Трудах Московского лингвистического кружка». — *Ред.*

Парадоксальность этого факта еще увеличивается, если рассмотреть проявление общей тенденции к прогрессивному смягчению по отдельным диалектам общеславянского праязыка. Оказывается, что упомянутая тенденция была слабее всего на юго-западе, в прасловенском и прасербском диалектах, а также в той части праболгарских говоров, которая легла в основу старославянского языка. Здесь губные перед гласными переднего ряда остаются всегда твердыми, а из зубных мягкими являются только те *n'*, *l'*, *r'*, которые восходят к старым сочетаниям *nj*, *lj*, *rj* (ст.-слав. *нкго*, *колктъ*, *морк*). Наоборот, на востоке и северо-западе, в прарусских, большей части праболгарских, в прапольских и прапоморских диалектах тенденция прогрессивного смягчения действовала сильнее всего. Губные и зубные здесь смягчаются перед всеми гласными переднего ряда, и если в малорусских и части западноболгарских диалектов перед этими гласными стоят твердые согласные, то это есть результат позднейшего отвердения, как это видно из того, что твердыми в таких случаях являются даже *n'*, *l'* из *nj*, *lj* (малорусск. *небо* и зап.-болг. *него* имеют *n* такое же твердое, как в отрицании *не*). Прачехословацкие диалекты занимали среднее положение между упомянутыми двумя группами диалектов общеславянского праязыка, но все же и в них тенденция к прогрессивной палатализации сказалась гораздо сильнее, чем в диалектах юго-западной группы. Таким образом, все западнославянские языки восходят к тому типу говоров общеславянского праязыка, в котором смягчение согласных перед гласными переднего ряда протекало с наибольшей интенсивностью. А между тем как раз в этих языках наиболее легко поддающиеся прогрессивному смягчению звуки, задненебные, сохраняются без смягчения перед *v* с последующею гласною переднего ряда, т. е. в таком положении, в котором эти звуки подверглись смягчению даже в сербском, словенском и старославянском языках.

Факт этот настолько парадоксален, что заставляет невольно усумниться в правильности обычного понимания твердости *k*, *g*, *x* в польск. *kwiat*, *gwiazda*, *chwila* как сохранения старины и вызывает необходимость толковать эту твердость как результат позднейшего фонетического изменения.

Наряду с тенденцией к смягчению согласных в славянских языках постоянно проявлялась и тенденция обратная — к отвердению смягченных согласных. Эта тенденция проявлялась в разные эпохи и притом в виде разных звуковых изменений, то «свободных», то «комбинаторных». При этом среди условий комбинаторного отвердения смягченных согласных особенно часто повторяется одно: положение перед согласной. Так, в западных и восточных славянских языках уже после падения *ѣ* и *ь* смягченные губные отвердели перед всеми согласными, а смягченные зубные (кроме *l'*) — перед зубными согласными. В гораздо более древнюю эпоху в прарусском, прапольском и пралужицком диалектах смягченные плавные отвердели перед зубными согласными. Таким образом, отвердение смягченной согласной в положении перед другой согласной (безразлично, перед твердой или перед смягченной) для славянских, и особенно для западнославянских, языков является довольно обычным.

Это обстоятельство помогает нам понять и объяснить парадоксальную твердость задненебных в польск. *kwiat*, *gwiazda*, *chwila*. Очевидно, первоначально задненебные в празападнославянских диалектах смягчались не только непосредственно перед гласными переднего ряда, но и перед *v* с последующею гласной переднего ряда, совершенно так же, как в других диалектах общеславянского праязыка. Но после этого смягчения и до дальнейшего изменения средненебных *k'*, *g'*, *x'* в свистящие (или полусвистящие) аффрикаты и фрикативные в празападнославянских диалектах

произошло отвердение этих *k'*, *g'*, *x'* в положении перед всеми согласными, в том числе и перед *v*.

Таким образом, отличие польск. *kwiat*, *gwiazda* от ст.-слав. *цвѣтъ*, *звѣзда* объясняется не сохранением в празападнославянских диалектах старины, а наоборот, особым специально празападнославянским фонетическим изменением (отвердением *k'*, *g'*, *x'* перед *v'*), не коснувшимся других диалектов общеславянского праязыка. Впрочем возможно, что и самое специально празападнославянское фонетическое изменение было лишь проявлением одной тенденции, общей всем славянским диалектам того времени. Как известно, во всех диалектах общеславянского праязыка задненебные сохраняются без смягчения перед плавными и *n* с последующими гласными переднего ряда (ст.-слав. *крѣвъ*, *грѣхъ*, *кѣли*, *глина*, *гниль*). Очень странно было бы, если бы в эпоху перехода *květъ* в *k'větъ* задненебные в *grĕxъ*, *glīna* оставались без изменения. По всей вероятности, первоначально задненебные смягчались и в этих положениях, но позднее они отвердели во всех диалектах — перед *r*, *l*, *n*, а в празападнославянских, сверх того, — и перед *v* (иначе говоря, вообще перед всеми согласными). В таком случае оказалось бы, что празападнославянские диалекты, с особой силой проводившие общеславянскую тенденцию прогрессивного смягчения, вслед за этим, когда появилась реакционная тенденция отвердения смягченных согласных перед другими согласными, и в этой новой тенденции проявили наибольший радикализм.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. Р. ЛУРИЯ

АФАЗИЯ И АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ¹

Наблюдения над афазией и, шире, над случаями мозговых поражений всегда давали неоценимый материал для анализа строения человеческой речи и тем самым — для лучшего понимания некоторых сторон строения языка. То, что в норме является нераздельным и слитным, а потому очень трудным для анализа, в патологии расчленяется и становится доступным для аналитического исследования. Задача вычленения компонентов человеческой речи и изучение сложных функциональных систем, непосредственно зависящих от этих компонентов, и является непосредственной задачей использования патологических состояний мозга для психологического и лингвистического анализа.

1

Патологические состояния мозга, и прежде всего те из них, которые наступают в результате ограниченных локальных поражений, никогда не вызывают непосредственно распада сложных образований языка — морфологии или синтаксиса, лексики или семантики.

Реальными единицами работы мозга являются те сложнейшие функциональные системы временных связей, которые приводят к хорошо известным нам видам приспособительной деятельности и которые у человека принимают формы предметной деятельности, активной и пассивной речи, письма или чтения, счета или решения познавательных задач. Каждая из этих сложнейших функциональных систем, сформировавшаяся в истории общественного развития, включает в свой состав множество функциональных компонентов и может нормально осуществляться лишь при наличии ряда физиологических условий. Естественно, что для различения звуков речи необходим их тонкий акустико-артикулярный анализ, так же как для произнесения любого слова необходима сохранность тех кинестетических импульсов, которые только и делают возможным дифференциацию близких артикулем. Совершенно понятно поэтому, что при нарушении работы соответствующего анализатора, который участвует в осуществлении той или иной деятельности, нормальное существование всей функциональной системы в целом становится невозможным, причем в этой функциональной системе начинает избирательно страдать все то, что

¹ Ниже печатается сокращенное содержание статьи А. Р. Лурия (см. «Language and speech», vol. I, pt. 1, 1958), в которой излагается современное состояние лингвистических, неврологических и психологических исследований в области афазии и освещается их значение для решения лингвистических проблем. Результаты работы, положенной в основу настоящей статьи, были впервые изложены автором в монографии «Травматическая афазия» (М., 1947). — *Ред.*

ближайшим образом зависит от нормальной работы данного анализатора. Это нарушение целой функциональной системы, возникающее в результате первичного расстройства работы одного из анализаторов, и является вторичным или системным эффектом данного поражения. Эти вторичные или системные эффекты частных поражений и составляют основное содержание клиники локальных нарушений деятельности коры больших полушарий. К ним относятся также симптомы афазии, агнозий или апраксий, использование которых для анализа структуры речевых процессов занимает нас в этой статье.

Было бы, однако, неправильным полагать, что сложная функциональная система речи распадается одинаково при первичном нарушении разных компонентов. Различные компоненты речевой деятельности занимают неодинаковое место в сложной функциональной системе речевых процессов; слуховой анализ и синтез, кинестетические дифференцировки, необходимые для сохранения четких артикуляций, анализ и синтез пространственных или временных отношений — все это в совершенно неодинаковой степени нужно для слышания и понимания речи, для активного произношения звуков или слов, для письма или чтения. Поэтому совершенно естественно, что дефект в работе того или иного анализатора, возникающий в результате очагового поражения мозга, неизбежно приводит к вторичному нарушению целого комплекса функций, нормальное осуществление которых зависит от его сохранности. Поэтому распад речевой системы, возникающий в результате первичного нарушения каждой из этих физиологических функций, будет носить различный характер. И так же, как внимательный терапевт по характеру нарушения работы сердца может заключить о месте, в котором произошло его повреждение, опытный невролог, изучающий характер речевых расстройств, может с уверенностью заключить, какой первичный дефект лежит в их основе. Именно в силу этого патологический метод оказывается столь ценным для обнаружения тех скрытых особенностей строения речи и механизмов, на которые опирается язык и анализ которых часто ускользает от объективного исследования.

2

Клиницистам хорошо известны случаи, когда поражение задне-верхних отделов левой височной области (у правшей), так называемой зоны Вернике, приводит к нарушению понимания речи, когда слова начинают звучать для больного как нечленораздельные шумы и когда их смысл перестает восприниматься. Подобные нарушения, по меткому выражению Р. Якобсона, приводят к нарушению элементарного кода звуковой речи. В тесной связи с этими расстройствами происходят распад нормального обозначения предметов, процесса письма и другие своеобразные нарушения мышления. Такие нарушения речи были широко известны как явления сенсорной афазии, но приводящие к этим явлениям механизмы продолжали вызывать оживленные споры.

Оставалось неясным, какое именно первичное нарушение приводит к такому расстройству речи, является ли оно «дефектом слуха» или «дефектом мысли» и каким образом можно объяснить, что такой причудливый букет выпадения, казалось бы, различных проявлений речи неизбежно сопровождает эти нарушения.

Анализ значительного числа случаев поражения левой височной области, проведенный за последние десятилетия советскими клиницистами, физиологами и психологами, позволяет ближе подойти к решению некоторых из этих вопросов.

Исследования показали, что поражение интересующей нас зоны, входящей в систему коркового конца звукового анализатора, не вызывает (как это думали некоторые классики неврологии) никаких выпадений слышания тех или иных участков шкалы тонов, но неизбежно приводит к нарушению процесса различения и обобщения звуков, иначе говоря, — процессов звукового анализа и синтеза. Этот факт подтверждается тем, что больные, легко образуя условные рефлексy на звуки, проявляют значительные затруднения, если перед ними ставится задача дифференцировать сложные звуковые комплексы, причем эти трудности оказываются очень велики как при попытке образовать дифференцированные реакции на аккорды, отличающиеся друг от друга наличием различных компонентов, так, особенно, и при попытках выработать различение двух рядов, в которых звуки располагаются в неодинаковом порядке (ABCD и ACDB).

Едва ли не наиболее существенным оказывается, однако, тот факт, что это нарушение звукового анализа и синтеза не остается в пределах элементарных звуковых комплексов, но проявляется особенно отчетливо в различении близких фонем, и нарушение фонематического слуха с полным основанием может быть признано основным, фундаментальным симптомом поражения занимающей нас области.

После работ, основы которых были заложены в современной фонетике Бодуэном де Куртене, Трубецким, Щербой, Якобсоном, стало ясно, что фонетический строй языка опирается на систему звуковых оппозиций, которые в разных языках построены по-разному, но в которых всегда один из звуковых признаков (звонкость — глухость, ударность — безударность, мягкость — твердость и т. п.) играет основную, мы могли бы сказать, — сигнальную или смыслоразличительную роль. Выделение этих признаков, придаваемых звуковому комплексу с помощью измененного положения произносительных приборов, и составляет отличие речевого слуха. Существенное заключается в том, что именно эти системы и нарушаются при поражении задне-верхних отделов височной области доминирующего полушария, быть может, потому, что этот аппарат стоит в теснейшей функциональной и морфологической связи с нижними отделами кинестетической и двигательной областей коры, принимающими непосредственное участие в артикулярном акте, и формирование этого участка мозга нельзя понимать иначе, как формирование единой слухо-артикулярной системы.

Нарушение фонематического слуха сразу же вызывает ряд вторичных расстройств: оно неизбежно приводит к тому, что в системе языка нарушаются все те образования, которые продолжают включать в свой состав четкий фонематический слух как условие, необходимое для их нормального функционирования.

Нарушение четкого звукового анализа и синтеза приводит прежде всего к нарушению произношения слов, особенно там, где это произношение не носит автоматического характера; достаточно предложить больному повторить новое и трудное в звуковом отношении слово (например, «стрептомицин» или «арахноидит»), чтобы убедиться в этом. Поражение фонематического слуха приводит к особенно глубоким нарушениям и смысла, и, сохраняя способность без труда списывать предложенный текст, такой больной оказывается неспособным написать под диктовку или самостоятельно какие-либо (опять-таки недостаточно автоматизированные) слова, затрудняясь в выделении составляющих их звуков и заменяя противопоставленные фонемы.

Первичное нарушение фонематического слуха приводит, однако, к более широким последствиям, своеобразно отражаясь на строении сло-

весных значений и существенно нарушая лексику языка, которыми больной владел раньше. Больной с нарушением фонематического слуха теряет способность отчетливо воспринимать слова и дифференцировать их значение.

Существенным представляется тот факт, что распад лексического строя языка, вызванный нарушением фонематического слуха, не задевает равномерно всех морфологических образований слова. Потенциальная сохранность отвлеченных понятий у больных с подобными расстройствами и связанная с ними относительная сохранность абстрактного мышления представляет одно из самых интересных явлений, позволяющих вплотную подойти к анализу тех формаций, которые возникли на базе звуковой речи, но по мере развития речевого мышления человека начинают приобретать относительную самостоятельность. Нет сомнения в том, что внимательное исследование тех феноменов, которые возникают в результате подобных расстройств, широко открывает двери для анализа важных проблем, стоящих на границе фонетики и морфологии, с одной стороны, и психологии речевых процессов — с другой.

3

Внимательный анализ больных с ограниченными поражениями нижней теменной (или теменно-затылочной) области показал прежде всего, что у них нарушаются далеко не все формы речевой деятельности и далеко не все формы абстрактного мышления и поведения. Продолжая понимать обыденную речь, передающую какие-либо события, эти больные сохраняли также и отвлеченные понятия, выражающие как внутренние психологические состояния и моральные ценности, так и некоторые абстрактные категории; они вели себя совершенно адекватно, правильно оценивая свои возможности и упорно и целенаправленно работая над коррекцией своих дефектов, если такое задание давалось им. При всем этом они начинали испытывать значительные затруднения каждый раз, когда им предстояло разобраться в сложном чертеже и собрать его детали в одно целое, оперировать разрядным строением числа, переходя через десяток при сложных операциях, путали направление в пространстве и — что представляет особенный интерес для непосредственно занимающего нас вопроса — становились в тупик каждый раз, когда они сталкивались с необходимостью понять предложенную им грамматически сколько-нибудь сложно построенную «коммуникацию отношения».

Даже простейшая «коммуникация отношений» (если только она не носит совершенно привычного характера) является своеобразной сложной задачей, обязательно включающей сопоставление двух элементов с выделением основного признака и последующим синтезом обоих упомянутых элементов в специфическую структуру.

Типичным примером такой системы является конструкция «брат отца» и оппозиционная к ней конструкция «отец брата». В обоих случаях дело идет о двух объектах, обозначенных как «брат» и «отец»; однако вся конструкция в целом говорит не об этих объектах, а о третьем, возникшем из их логического сочетания: «дяде» в первом случае и «отце» (определенном из другой, новой связи) — во втором. Чтобы охватить эту — относительно поздно возникшую — конструкцию, недостаточно просто воспринять два изолированных обозначения; для этого необходимо выделить основной (опорный) объект («отец») и воспринять значение второго объекта («брата»), исходя из отношения к нему. При этом в некоторых языках (например, русском), выражающих эти отношения в виде родительного атрибутивного, необходимо произвести операцию абстракции от субстанционального значения имени, стоящего в родительном падеже, и превра-

щения его, соответственно его значению, в качественное слово («брат отца» = «отцовский брат»).

Совершенно аналогичное психологическое строение имеет «коммуникация отношений», выраженная с помощью предлога, например, конструкция «круг под треугольником» и оппозиционная к ней «треугольник под кругом». В данном случае простое обозначение двух элементов только начинается, а не завершает сложную работу; для понимания значения этой конструкции также необходимо выделить основной, опорный объект (например, треугольник) и оценить пространственное расположение второго объекта (круга) по отношению к первому. Такое же строение имеют и коммуникации временных отношений (например, «лето после весны» или «весна после лета»), орудийные отношения (например, «земля освещается солнцем» или «солнце освещается землей»), правильные формы которых можно установить только после аналогичной операции выделения опорного обозначения и установления значения второго объекта, а следовательно, и значения общей конструкции из анализа отношений.

Вот почему больные с теменно-затылочными поражениями, особенно расположенными на границе с речевыми зонами коры, легко оказываются не в состоянии справиться даже, казалось бы, с простыми «коммуникациями отношений», стаивая в тупик перед задачей «нарисовать квадрат под кругом» (обычно аграмматично выполняя это задание в порядке следования слов: изображая квадрат, а под ним круг) и оказываются совершенно не в состоянии разобраться в различных конструкциях «брат отца» и «отец брата», заявляя, что в обоих случаях речь идет о брате и отце, что, следовательно, эти конструкции одинаковы, и легко принимают конструкцию «солнце освещается землей», в которой привычный для активной конструкции порядок слов ($S \rightarrow P \rightarrow O$) аграмматично воспринимается как правильный. Этот симптом, отчетливо выступающий в тех случаях, когда поражение задевает наиболее сложные и наиболее поздно сформировавшиеся зоны теменно-затылочной области на ее границе с височной, и составляет основной симптом так называемой «семантической афазии», для анализа которой задачи на понимание простейших логико-грамматических отношений начинают занимать такое же место, которое задачи на дифференцировку оппозиционных фонем занимают при анализе височной «акустической афазии».

Внимательное изучение тех изменений, которые наступают в рассмотренных нами случаях при пользовании сложнейшими кодами языка (фонетическим в одном и семантическим в другом случае), позволяет, следовательно, использовать очаговые мозговые поражения как меру расчленения сложных языковых явлений и как способ анализа тех функциональных образований, которые без этого метода оставались бы трудно доступными для расчленяющего исследования.

*

Логика нашего изложения заставляет нас теперь обратиться к нарушениям речевых структур, возникающих при распаде другой очень важной функции, которая, как показывают все данные, обеспечивается, в первую очередь, передними, лобно-височными отделами коры и которая сводится к синтезу последовательных элементов в одну непрерывную серию или динамическую систему. Такие нарушения сукцессивных синтезов и непосредственно связанных с ними акустико-моторных рядов, или, как это часто обозначается в клинике, «кинестических мелодий», не остаются также без воздействия на речевые системы. Но на этот раз распад сложных речевых образований идет по совсем иной линии, и больные, не обнаруживая никаких заметных

дефектов в различении фонетических элементов словесной речи или в схватывании логико-грамматических отношений в языке, начинают проявлять заметные нарушения в плавном переходе от подлежащего к сказуемому и, следовательно, в осуществлении того высказывания (propositionizing), о котором в свое время особенно много и подробно говорил Хьюлингс Джексон. Именно в результате упомянутого выше нарушения последовательных синтезов, которое не изменяет единичных систем возбуждений, но препятствует легко осуществляемой денервации этих возбуждений и переходу от одной системы иннервации к другой (в чистом виде это нарушение выступает при так называемом «премоторном синдроме»), вторично страдает внутренняя речь. По правильному утверждению ряда психологов, она является свернутой предикативной речью (ср. исследование Л. С. Выготского) и наличие ее совершенно необходимо для плавного предикативного высказывания. Именно эти поражения и приводят в результате к появлению того исключительного по своему интересу явления, которое широко известно в клинической литературе как «телеграфный стиль» и которое Р. Якобсон с полным основанием рассматривает как нарушение контекстной речи.

4

До сих пор мы занимались анализом того, что могут дать очаговые поражения головного мозга для анализа структуры речевых процессов и, в частности, — для пристального изучения фонетической и морфологической, семантической и синтаксической сторон речи. Однако кроме этих существенных сторон речевого процесса, обеспечивающих употребление языка как средства общения и орудия мышления, есть еще одна существенная функция речи, которая до сих пор мало привлекала внимание лингвистов и психологов. Мы имеем в виду регулирующую функцию речи, которая — как мы покажем ниже — оставалась относительно сохранной в описанных выше случаях и которая требует внимательного рассмотрения.

Когда взрослый обращается к ребенку с каким-либо приказом, он вызывает у него систему доминирующих связей, направляющих все дальнейшее поведение ребенка и тормозящих все его побочные действия. Речь взрослого регулирует здесь поведение ребенка. Это регулирующее влияние, которое оказывает речь взрослого на поведение ребенка, становится в дальнейшем источником сложных функциональных новообразований. Приобретая собственную, сначала развернутую, а затем и свернутую, внутреннюю речь, ребенок начинает использовать ее не только как орудие общения и мышления; он начинает использовать ее как средство регуляции своего поведения. Собственная речь ребенка, помогающая ему ориентироваться в окружающей среде и создающая систему связей, в которых он отражает действительность и формулирует свои желания, позволяет ему наметить план своего поведения и регулировать протекание его деятельности. Исследования, проведенные за последние годы, позволили показать, какой сложный путь проходит формирование этой регулирующей функции речи, прежде чем она становится способной не только пускать в ход известные, ранее закрепленные действия, но замыкать доминирующую систему связей и тормозить все побочные действия, не относящиеся к выполнению формулированной в речи задаче. Нет никакого сомнения, что все наиболее высокие функциональные образования, которыми занимается психология, — выполнение сознательного, целенаправленного действия, систематическое активное мышление, произвольное запоминание — все они в той или иной мере связаны с регулирующей функцией речи. Во всех этих случаях внешняя (или чаще

всего внутренняя) речь замыкает известную систему связей, которые в нормальном поведении становятся доминирующими и которые определяют протекание всей дальнейшей деятельности человека, приобретая иногда силу, значительно превышающую силу витальных инстинктов.

Что может дать изучение патологических состояний мозга для анализа этой важнейшей, но еще столь мало изученной регулирующей функции речи? Нарушается ли она равномерно при любых мозговых поражениях или же мы можем выделить особые мозговые системы, сохранность которых совершенно необходима для того, чтобы регулирующее влияние речи на поведение стало возможным?

Случаи очаговых мозговых поражений, рассмотренные выше, нарушали фонетическую и лексическую, семантическую и синтаксическую стороны речи, но еще не приводили к отчетливо выраженному нарушению ее регулирующей функции. Больные, страдающие описанными выше дефектами, охотно исполняли сформулированные в речи приказы врача, длительно сосредоточивались на выполнении его заданий и обнаруживали нередко исключительное упорство в работе над компенсацией своих дефектов, без которой восстановление нарушенных функций было бы невозможным. Специальные (еще не опубликованные) опыты, проведенные за последнее время, показали, что во всех этих случаях речь больного, нарушенная в фонетическом или грамматическом отношении, все же продолжает сохранять свою детерминирующую, направляющую роль, обеспечивая тем самым осмысленное, направленное поведение больного.

Чтобы изучить патологию регулирующей функции речи, необходимо, следовательно, выйти за пределы изученных нами форм речевых расстройств и, как мы увидим ниже, вообще за пределы того, что известно в клинике под названием «афазий».

Длительное исследование нарушения структуры поведения у больных с поражениями лобных долей мозга, проведенное нами с целым рядом сотрудников (Филиппчева, Мещеряков, Иванова и др.), позволили описать своеобразную картину возникающих в этих случаях расстройств, которые никогда не относились к афазии, но которые по существу могут быть поняты как нарушения регулирующей роли речи.

Как правило, мы не наблюдаем у больных с поражениями лобных долей мозга (как бы тяжелы и массивны эти поражения ни были) сколько-нибудь заметных нарушений структуры речевых процессов: фонетика и лексика, семантика и грамматика речи этих больных оказываются, как правило, полностью сохраненными как в своей импрессивной, так и в своей экспрессивной части. Лишь у больных, поражение мозга которых располагается в ниже-задних отделах левой лобной доли, примыкающих спереди к зоне Брока, можно наблюдать известную инактивность речи, нарушения монологической речи при сохранности ответной (диалогической речи), которые мне в другом месте пришлось описать как симптомы «лобной афазии». И, однако, несмотря на внешнюю сохранность, у этих больных оказывается глубоко нарушена регулирующая роль речи. Нарушение регулирующей роли речи оказывается характерным для всего поведения таких больных; оно лишает их деятельность нужной целенаправленности и накладывает отпечаток на весь характер их нарушенных интеллектуальных процессов.

Внимательное изучение этой формы речевых расстройств, эмпирически хорошо известной клиницистам, но не привлекавшей к себе должного внимания, находится еще в самом начале. Но нет никаких сомнений, что систематическое исследование того, как формируется регулирующее влияние речи в онтогенезе, как оно осуществляется в нормальном поведении и

как оно распадается при патологических состояниях мозга, раскроет целую серию фактов, представляющих значительный интерес как для психологии, так и для раздела науки, занимающегося реальными формами речевой деятельности.

Мы осветили лишь некоторые вопросы, которые раскрываются перед психологом, использующим наблюдения над патологическими состояниями мозговой деятельности в качестве метода, позволяющего раскрыть некоторые внутренние и трудно доступные для вычленения механизмы речевых процессов. Было бы неправильным думать, — как это, к сожалению, нередко делают, — что патологические состояния мозга возвращают речь к пройденным этапам и позволяют в обратном порядке проследить историю ее формирования.

Патологические изменения мозговой деятельности нарушают то или иное физиологическое условие, необходимое для нормального существования речевых процессов; поэтому они практически никогда не воспроизводят какой-либо из ранее пройденных этапов речевого развития. Но разлагая и упрощая то, что имеется слитное и нераздельное в физиологической норме¹, они позволяют использовать этот метод как важный способ анализа психологического строения речи и реальных форм использования языка.

¹ И. П. Павлов, Лекция по работе больших полушарий головного мозга, Полн. собр. соч., т. IV, М.—Л., 1951, стр. 317.

Р. А. БУДАГОВ

«СЛОВАРЬ ТРУДНОСТЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

(A. V. Thomas, Dictionnaire des difficultés de la langue française,
Paris, 1956. 435 стр.)

Известно, что словари бывают самые различные. Если даже сначала ограничить задачу обзором одних только филологических лексиконов, то и в этом случае пришлось бы говорить о работах очень разнообразного характера¹. Особым и мало известным является «словарь трудностей» того или иного языка, в частности «Словарь трудностей французского языка», о котором пойдет речь дальше.

Культурой родного языка издавна интересовались во Франции. Еще в XVI в. известный филолог Робер Этьен издал своеобразное руководство «Говорите — не говорите»². В дальнейшем стремление разобраться в практических вопросах «хорошего литературного языка» наблюдается у самых выдающихся писателей. Расин посылает свои пьесы на суд к грамматисту Вожла, Вольтер пишет статьи о литературном языке и помещает их в «Философский словарь» (1764), Гюго и Барбюс, не колеблясь, включают целые главы рассуждений о языке в тексты своих романов «Отверженные» и «Огонь». И не только писатели страстно спорят о судьбах родного языка. К ним присоединяются ученые и политические деятели, учителя и студенты, издатели газет и театральные критики³.

В этом отношении большой интерес представляет рецензируемый словарь, в котором сделана попытка обратить внимание на такие «трудности языка», с которыми повседневно приходится иметь дело самим французам, говорящим на родном языке. И хотя аналогичные попытки делались и раньше⁴, однако по широте анализируемого материала, тонкости наблюдений и — что особенно важно — отличной и точной документации словарь А. Тома может быть выделен особо.

В предисловии (стр. IX)⁵ автор подчеркивает чисто практический характер словаря: обратить внимание на трудности языка и помочь всем, кто хочет просто, ясно и убедительно выражать свои мысли, не допускать ошибок. При этом ошибки понимаются автором не в школьном смысле, а широко. К ошибкам относится все, что мешает простой и вместе с тем изящной манере передавать мысли и чувства на родном языке. Здесь могут быть и смешения значений синонимичных слов, и неточные следования правилам грамматики, и тавтологичные обороты, и искажения ино-

¹ См. Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, «Избр. работы по языкознанию и фонетике», т. I, Л., 1958, стр. 54—91.

² R. Estienne, Dites — ne dites pas, Paris, 1539.

³ В этом легко убедиться, просмотрев, например, разные номера ежемесячного популярного иллюстрированного филологического журнала «Vie et langage» (Paris).

⁴ См., например: J. Laveaux, Dictionnaire raisonné des difficultés grammaticales et littéraires de la langue française, 4-e éd., Paris, 1873; M. Grevisse, Le bon usage, Paris, 1-e éd. — 1946, 6-e éd. — 1955 и др.

⁵ В дальнейшем цифры в скобках указывают страницу словаря.

странных лексем, и различного рода деформации словосочетаний, и ошибки в произношении, орфографии, пунктуации. От малого до большого в языке все важно, все значительно, все должно быть осмыслено.

Нужно отдать должное автору. В целом он отлично справился со своей задачей. Его словарь — результат многолетних наблюдений и раздумий, результат кропотливого изучения самого разнообразного словесного материала — получился очень полезным и поучительным. И мне кажется, что значение подобного словаря далеко переходит те границы чисто практического характера, которые скромно очертил сам автор. Словарь дает интереснейший материал и для постановки целого ряда теоретических вопросов развития современного литературного французского языка в его взаимоотношениях с народной речью и разговорным стилем.

Своим словарем, отлично документированным, А. Тома опровергает очень распространенное мнение, согласно которому ошибки в родном языке совершают будто бы только недоучившиеся люди. Он показывает, что при широком понимании ошибок выясняется, что они встречаются не только у людей, плохо владеющих литературным языком, но и у лиц образованных. И не только у этих последних, но и у писателей, а в отдельных случаях даже у выдающихся художников слова. Во всяком случае интересные примеры, приводимые из Флобера и других первоклассных мастеров языка (стр. 289, 325, 356 и пр.), убеждают читателя в этом. Все это как бы напоминает: родному языку нужно учиться постоянно и нет предела совершенствованию подобных знаний.

Составляя словарь «трудностей» родного языка, сам автор должен занимать правильную позицию. Всем известно, что язык непрерывно изменяется. Поэтому то, что было неправильным сравнительно еще недавно, может оказаться правильным в наше время, как и наоборот: звучащее теперь необычно раньше воспринималось как обычное. А. Тома хорошо понимает все это. В своем словаре он не занимает позиции наивного и нетерпимого догматика. Он считается с развитием языка. Против местоименной формы глагола *s'activer* еще недавно выступали пуристы, но глагол этот прочно вошел в словарный состав языка и, как показывают примеры самого словаря А. Тома, часто употребляется современными писателями (стр. 11). Глагол этот признается вполне литературным и автором «Словаря трудностей».

Каковы же, однако, критерии, которым следует А. Тома для разграничения правильного и неправильного в языке? Что он считает «хорошим» и «плохим»? Вопрос о «трудностях языка» в практическом отношении сводится к тому, как избежать неправильного в языке и как овладеть правильным. Вместе с тем автор стремится объяснить (хотя и не всегда), почему те или иные факты и тенденции языка являются неправильными.

Основное положение, которое защищает А. Тома на протяжении всего своего словаря, может быть сформулировано так: неправильное в языке — это то, что мешает ясности выражения. Соответственно правильное в языке содействует достижению главной цели — ясности выражения. Поясним, что означает этот общий принцип применительно к материалу. Если автор судит, например, о том или ином новом слове, то вопрос о его необходимости решается на основе общего принципа: что передает данное слово, способствует ли оно дифференциации старых понятий или выражает новое понятие? Если новое слово не располагает никакими новыми «выразительными возможностями» и является простым дублетом старого, то оно признается ненужным. Так, появившееся сравнительно недавно существительное *numérotation* объявляется ненужным (*inutile*), так как оно означает совершенно то же, что и более старое *numérotage* «нумерация» (стр. 282). Принцип этот — в целом бесспорный и правильный — истолковы-

вается Тома, однако, слишком прямолинейно. Но отметим сначала то, что хорошо удалось показать автору на основе данного общего принципа. Начнем с простых примеров, а затем перейдем к более сложным.

Синонимы *prolongation* — *prolongement* оба нужны языку, так как первый означает «продление во времени» (*la prolongation d'un congé*), а второй — «продление в пространстве» (*le prolongement d'une rue*). Кроме того, второй синоним применим только к вещам и не относится к людям. Несколько иначе дифференцированы соответствующие глаголы (*prolonger* — *proroger*), из которых первый употребляется во временном и пространственном смыслах (*prolonger une avenue*), а второй — в более специальном (*proroger une séance, proroger une loi*).

Появление нового слова может уточнить семантику старого, рядом с которым оно «становится». Прилагательное *indolent* в недалеком прошлом означало не только «вялый», «апатичный», но и «безболезненный» (в медицинской терминологии). Совсем недавно возникшее *indolore* закрепило в этом последнем смысле, «освободив» тем самым первое прилагательное от одного из его значений. В результате в языке наших дней *indolent* все реже и реже употребляется в смысле «безболезненный». Особое прилагательное (*indolore*) стало передавать это понятие, сделал там самым *indolent* менее многозначным, более «собранным». Дифференциация значений оправдывает неологизм *indolore*, делает его нужным (стр. 216). «Трудность» языка заключается в том, чтобы правильно понимать происходящий процесс.

Углубляя этот общий принцип смысловой дифференциации в области лексики, А. Тома делает много тонких наблюдений. Существительное *décorum* — это «совокупность правил, которые следует соблюдать в обществе, благопристойность», тогда как *décor* — «нечто показное», «внешнее украшение» (стр. 118). Но существительное *décorum* иногда употребляется в значении *décor* не только в небрежной устной речи, но и у выдающихся писателей, в числе которых оказывается и Бальзак: «Il n'a d'autre décorum à garder que celui dont s'est chargé son tailleur» («Le Cousin Pons»). Следует ряд других подтверждающих отмеченное смешение примеров из произведений писателей. «Трудность» языка заключается в том, чтобы не допускать подобных «сползаний» одного слова в сферу другого.

В ряде случаев соприкосновение слов может иметь и гораздо более далеко идущие последствия. Прилагательное *émérite* еще во второй половине XIX в. академическим лексиконом определялось как «почетный». А. Тома поясняет: «celui qui, ayant exercé un emploi (du lat. *emeritus*...), a pris sa retraite et jouit des honneurs de son titre» (стр. 144). Впоследствии изменение значения (*glissement de sens*) этого прилагательного было обусловлено ошибочной ассоциацией со словом *mérite* «заслуга», «достоинство». В результате *émérite* вошло в синонимический ряд с такими словами, как *méritant*, *remarquable*, и стало означать «выдающийся». Этому изменению значения способствовал и другой фактор: понятие «почетный» могло передаваться совсем другим прилагательным — *honoraire*. В результате в современном языке *émérite* целиком утратило свое этимологическое значение и стало осмысляться как «выдающийся». Семантика «почетный» перешла к прилагательному *honoraire*.

Случай этот оказывается уже гораздо более сложным, чем предшествующие, и, соответственно, комментарий составителя словаря более спорным. Новое значение *émérite* («выдающийся»), по-видимому, действительно возникло первоначально в результате смешения со словами *mérite*, *méritant*. Рассуждая абстрактно, смешение слов должно быть осуждено, тем более, что для понятия «почетный» имеется совсем другое слово — *honoraire*. Практически, однако, трудно бороться с таким значением *émé-*

rite («выдающийся»), которое стало теперь всеобщим. То, что некогда действительно было ошибочным с лингвистической точки зрения, в другую эпоху делается вполне возможным. Новые синхронные языковые связи отодвигают на задний план чисто историческое осмысление слова. Синхрония вносит поправку в диахронию. К тому же, будучи различными словами, *émérite* и *méritant* связаны между собой этимологически. Это облегчает исследователю путь к оправданию подобного сближения. Поэтому вряд ли можно согласиться с Тома, рекомендуя лучше совсем не употреблять прилагательного *émérite*, чем употреблять его «ошибочно», т. е. в значении «выдающийся» (стр. 145).

При решении подобных вопросов составителю «Словаря трудностей» самому приходится преодолевать разнообразные трудности в поисках обоснованных рекомендаций. В тех случаях, когда историческое значение слова еще не совсем забыто, когда его внутренняя форма как бы напоминает об исходном значении, а новое значение вовлекает слово в новые словосочетания, составителю приходится задумываться над рекомендациями.

Когда существительное *ascenseur* приобрело значение «лифт», то его связи с этимологически родственными словами (например, *ascendant*, *ascension*) стали заметно ослабевать, так как на лифте можно не только подниматься, но и спускаться. Поэтому выражение *prendre l'ascenseur pour descendre* «войти в лифт, чтобы спуститься», хотя и «нелогично» (*illogique*), но должно быть признано вполне «нормальным» (стр. 38). Синхрония опять-таки вносит свои поправки в диахронию. Фактические возможности словосочетаний переходят за пределы чисто этимологических границ слова. И исследователь современной речи не может не считаться с этим непреложным фактом развития языка и жизни слова. В большинстве случаев так поступает и А. Тома.

Вернемся, однако, к основной проблеме словаря — к проблеме дифференциации значений и грамматических форм. Бесспорные случаи подобной дифференциации в области лексики, приведенные выше, не исчерпывают все же ни сферы самой лексики, ни, тем более, сферы грамматики, к которой они непосредственно и не относятся. Осложнение обнаруживается уже в том, что в языке нередко существуют две формы, между которыми не удастся провести хоть сколько-нибудь ясную границу.

Префикс *re* чаще всего означает повторяемость действия (*dire — redire*), но глагол *emplir* передает то же значение, что и *remplir* (стр. 380); выражение *à ras de* идентично *au ras de* (стр. 353), существительное *autochtone* — существительному *aborigène* (стр. 45). Таких примеров почти полной тождественности отдельных слов и выражений в языке немало, и они отмечаются также автором словаря. Но здесь возникает важный теоретический вопрос: как в таком случае следует понимать принцип дифференциации слов и грамматических форм, который оказывается в основе словаря? А. Тома, по-видимому, не замечает возникающего противоречия. Между тем оно весьма существенно.

Тенденция к дифференциации слов, фонем, грамматических форм, синтаксических конструкций действительно имеется в любом языке. И это вполне естественно. В своем поступательном историческом развитии язык становится все более совершенным средством выражения мышления, орудием общения. Но тенденцию эту нельзя пошимаť упрощенно как движение прямолинейное. Присмотримся к более сложным явлениям. Начнем с лексики, а затем перейдем к явлениям грамматическим.

Современный язык уже не смешивает такие близкие по форме, но разные по значению глаголы, как *recouvrir* «возвращать утраченное», «овладевать» и *recouvrir* «вновь покрывать». Но еще в XVII в. здесь наблюдалась нечеткость. Даже такой стилист, как Ф. Малерб, мог писать *ils... ont re-*

couvert la santé вместо *ils ont recouvré la santé* (наблюдение Э. Литтре). Близость формальная обуславливала функциональное подобие, хотя семантика восставала против отождествления разных глаголов. Лишь постепенно язык освобождается от данного смешения. Но, разграничив отмеченную пару некогда альтернирующих глаголов, язык сталкивается с новой трудностью, с новой проблемой. Избавившись от одного смешения, язык начинает допускать другое. Теперь глагол *recouvrer* нередко отождествляется с глаголом *retrouver* «вновь находить». Этот последний глагол, как отмечает Тома (стр. 356), часто употребляется там, где по нормам литературного языка следовало бы ожидать *recouvrer*: *ils désirent voir notre pays retrouver la plénitude de ses moyens d'action* (из газет), хотя речь идет о том, что многие «хотят возвратить себе утраченное», а не только «снова найти». Тонкое различие между глаголами *recouvrer* — *retrouver* пропадает в результате их отождествления.

Итак, устранив в процессе своего исторического развития одно смешение (*recouvrer* — *recouvrir*), язык иногда допускает другое (*recouvrer* — *retrouver*). С позиции современного языка первое смешение кажется более грубым, чем второе. В первом случае обнаруживается лишь формальное сходство глаголов при их семантической разнородности, во втором — очевидна не только формальная, но и смысловая близость глаголов. Следовательно, речь идет не только о том, что, справившись с одной проблемой дифференциации, язык оказывается перед лицом другой аналогичной проблемы, но и о том, что вторая проблема сложнее первой. Решив более простое на одном историческом этапе, язык и мышление должны решить более сложное на другом этапе. Поэтому выше и было подчеркнуто, что «стремление к дифференциации» в языке нельзя понимать упрощенно. От разграничения одного типа, через сферу вторичного смешения, язык устремляется к новому разграничению. Количество подобных ступеней может быть и значительно большим.

Стремясь во что бы то ни стало провести дифференциацию между сходными словами, как и между сходными грамматическими конструкциями, А. Тома иллюстрирует дифференцирующую тенденцию языка самыми разнообразными примерами. Их можно классифицировать так: 1) разграничения необходимые, принятые в литературном языке; 2) разграничения целесообразные, тонкие, но не соблюдаемые в литературном языке; 3) разграничения спорные; 4) разграничения искусственные и тем самым ненужные. К сожалению, автор не всегда отделяет эти разные группы друг от друга. Первая группа была истолкована выше. Отметим теперь некоторые особенности последующих рубрикатий.

Различие между выражениями *par parenthèse* и *entre parenthèses* заключается в том, что первое означает «мимоходом», «в скобках», но не передает понятия «между» в такой степени, как второе (существительное *parenthèses* во втором случае во множественном числе). Поэтому следует сказать, например, *mettre dans un dictionnaire une prononciation entre parenthèses* (но не *par parenthèse*), а, с другой стороны, — *je vous envoie des livres qui, par parenthèse, ne sont pas encore payés*. Различие между этими выражениями, обычно не соблюдаемое, передает, однако, тонкие оттенки мысли, а поэтому украшает литературный язык.

Совсем иной, на наш взгляд, оказывается искусственная дифференциация между выражениями *à terre* и *par terre*. Попытка доказать, что второе употребляется только по отношению к предметам, соприкасающимся с землей (*la chaise tomba par terre*), а первое такого ограничения не имеет (*les perles tombèrent à terre*), оказывается несостоятельной, так как подобное разграничение не нужно ни логически, ни лингвистически. И недаром разграничение это обычно не соблюдается (стр. 405).

Еще сложнее — с разграничением сходных грамматических построений. Если стремление семантически отделить *commencer à* от *commencer de* может быть понято, хотя практически и это разграничение обычно редко проводится (первая конструкция предполагает развитие действия, тогда как вторая передает небольшой период длительности действия: *cet enfant commence à parler*, но *je commençais de dormir quand ce bruit me réveilla*), то при дифференциации *continuer à* и *continuer de* А. Тома приходится больше ссылаться на слух говорящего, чем на логику грамматики (стр. 100). Столь же условна дифференциация *s'occuper à* и *s'occuper de*: первое означает «заниматься чем-нибудь», второе — «быть занятым чем-нибудь»: *il s'occupe à son jardin*; *il s'occupe de son jardin* (стр. 284).

Подобного рода примеры показывают, что составитель словаря обычно не различает значений грамматических и лексических. Между тем, несмотря на постоянное взаимодействие лексики и грамматики, эти «сферы языка» различны. Не всегда дифференциацию между грамматическими конструкциями возможно свести к чисто лексическим оттенкам, как это делает А. Тома применительно к *s'occuper à* и *s'occuper de*. Во всяком случае, когда речь идет о том, что одна конструкция «способна» передать процесс протекания действия, а другая — процесс ограниченной длительности действия, вперед выступает не частное (лексическое) различие между конструкциями, а общее, категориальное (грамматическое). Применительно к близким в грамматическом отношении конструкциям структурная дифференциация между ними (если она имеется) выступает как более очевидная, более «категориальная», чем дифференциация лексическая и контекстная. В приведенных примерах *s'occuper à* — *s'occuper de* разграничение оказывается контекстно-лексическим, а в *commencer à* — *commencer de* — грамматическим.

Итак, хотя тенденция к дифференциации сходных по смыслу слов, сходных грамматических конструкций, действительно очень сильна в каждом языке (она очевидна и во французском), ее нельзя понимать прямолинейно. Необходимо учитывать, что в языке имеются п р о т и в о п о с т в у ю щ и е с и л ы и что тенденция к дифференциации сталкивается с тенденцией к унификации сходных языковых явлений. Последнее становится понятным, если помнить, что одну и ту же мысль можно чаще всего передать разными, хотя и близкими языковыми средствами. В этом также проявляется богатство языка, как и в дифференцирующей тенденции. Поэтому строить «словарь трудностей» на одной только различительной тенденции языка не вполне правомерно.

Обратим внимание еще на одну проблему, существенную для словаря рассматриваемого типа: как усваивают и как понимают говорящие различного рода устойчивые словосочетания. Очень часто трудность языка заключается в том, что подобного рода словосочетания либо понимаются неправильно, либо незаметно деформируются в процессе механического и бездумного употребления. Словарь Тома содержит в этом отношении разнообразный и интересный материал, подчас тонко интерпретированный. Какие, однако, общие вопросы возникают при его изучении?

Деформация более или менее устойчивого словосочетания может быть обусловлена самыми разнообразными причинами. Параллельно с выражением *noir comme un corbeau* «черный как смоль» (буквально: «как ворон») французский язык располагает другим словосочетанием — *noir comme du jais* «черный как смоль» (буквально: «как черный янтарь»). Слово *jais* редкое, поэтому второе выражение легко деформируется. Возникает *noir comme un geai* (аналогия с *noir comme un corbeau*). Но *geai* — птица сойка, и она вовсе не черного, а серо-голубого цвета. Однако звуковое совпадение двух слов-омонимов вызывает трансформацию: *jais* > *geai* (стр. 226).

Таким образом, бессмысленное с позиции семантики отдельных слов выражение *noir comme un geai* возникает под воздействием двух ранее существовавших словосочетаний — *noir comme un corbeau* и *noir comme du jais*. От первого из них *noir comme un geai* заимствует построение и сравнение с птицей (*un corbeau — un geai*), от второго — звучание слова *jais*, совпадающего со словом *geai*. Конечно, произносящие ошибочное выражение *noir comme un geai* сознательно ничего и ниоткуда не заимствуют, но если разобрать «механизм» этого словосочетания, то его двусторонняя зависимость от других (правильных) словосочетаний не подлежит сомнению.

Причины и источники деформации различных словосочетаний очень существенны не только для практического разграничения правильного и неправильного в языке, но и для теоретических наблюдений над жизнью слова в его взаимодействии с другими словами и словосочетаниями.

Выражение *tomber dans le lac* означает «попасться в сети». Но вот рядом с этим устойчивым сочетанием слов появился другое: *tomber dans le lac* «упасть в озеро» (стр. 232). Возникла путаница, ибо существительное *le lac* «сети», «западня», которое по условиям литературного языка должно произноситься «ла», в народной речи часто звучит *lak* и тем самым омонимически совпадает со словом *lac* «озеро». Случай этот оказывается иным по сравнению с ранее разобранным *noir comme un geai*. Если последнее словосочетание само по себе бессмысленно, то *tomber dans le lac* имеет точно очерченное значение, которое может претендовать на «литературность» в такой же степени, как и *tomber dans le lac*. Правда, смысл двух выражений различен, но это не помешало одному из них возникнуть на основе другого. Как бы ни объяснять подобное явление (по-видимому, неправильно прочитанное *le lac* превратилось в *le lac*), бесспорно, что деформация здесь иного характера, чем в *noir comme un geai*. Деформация одного выражения не создает бессмысленного другого выражения (как в случае с названием серо-голубой птицы, долженствующим передавать понятие черного цвета), а порождает новое словосочетание, которое может либо вытеснить первое (для тех, кто путает *le lac* и *le lac*), либо стать как бы рядом с ним, для того чтобы сформировать новое понятие: «упасть в озеро» («кануть в воду») — это совсем не то, что «попасть в сети» («попасть в западню»)¹.

Разграничение правильного и неправильного в области устойчивых словосочетаний дает интересный материал и для некоторых теоретических наблюдений и обобщений.

Коснемся, наконец, еще одного вопроса, существенного для «словаря трудностей». Культура языка требует не только различать всевозможные синонимы, но и правильно разграничивать омонимы. В повседневной речи они обычно нисколько не мешают друг другу. Никто не будет смешивать такие омонимы, как *mère* «мать», *maire* «городской голова», *mer* «море». В речевой практике, в контексте, эти слова достаточно разграничены. Взгляд на всякие омонимы как на «больные слова» языка, широко распространенный в лексикологической литературе, неверен, так как омонимы обусловлены характером самого языка, тем, что количество звуков в нем ограничено, количество же понятий, выражаемых при помощи слов, а следовательно, и самих слов, бесконечно велико и по мере развития языка все больше и больше увеличивается. Лишь в особых условиях омонимы могут «мешать» друг другу². Поэтому очень важно внимательно изучить подобные условия для каждого языка, чтобы не допускать смешения того, что должно быть разграничено.

¹ Ср. материалы русского языка в тонкой статье В. И. Чернышева «Разыскания и замечания о некоторых русских выражениях», «Докл. и сообщ. Ин-та русского языка», вып. 4, М., 1948, стр. 3—17.

² См. об этом подробнее в моей книге «Введение в науку о языке», М., 1958, стр. 46—50.

Словарь А. Тома и в этом отношении дает интересный и в ряде случаев новый материал. Приведем здесь два примера, из которых один был известен и раньше, а другой интерпретирован в словаре заново. Первая иллюстрация должна показать, почему омонимы обычно не мешают говорящим правильно выражать свои мысли, вторая, напротив, демонстрирует трудности, возникающие в известных случаях от неправильного употребления омонимов.

Глаголы *pêcher* «ловить рыбу» и *pécher* «грешить» являются омонимами. (Как указывает фонетический словарь¹, различие в произношении первого гласного в этих глаголах обычно не соблюдается.) Однако их отождествить невозможно не только по семантическим причинам (совершенно различные значения), но и по грамматическим: *pêcher* соотносится с *pêche* «рыболовство», а *pécher* — с *péché* «грех»; женский род от *pêcheur* «рыболов» — *pêcheuse*, тогда как от *pécheur* «грешник» — *pécheresse*. Омонимы «разводятся» в разные стороны не только по мотивам семантическим, но и по причинам грамматическим. Словопроизводство определяет специфику каждого омонима. Большинство слов того же семантического «гнезда» омонимичными уже не являются.

Как быть, однако, с теми случаями, когда отдельные омонимы все же начинают мешать друг другу, сталкиваться между собой? Ответ может быть только один: их необходимо разграничить. Вот здесь-то особенно велика роль «словаря трудностей», как и других руководств аналогичного типа. Латинский глагол *errare* «заблуждаться, ошибаться» закономерно дал во французском *errer*. Эту же форму *errer* в старофранцузском языке приобрел глагол *iterare*, получивший в поздней латыни значение «путешествовать», «идти прямой дорогой» (*iter facere*). Во французском языке возникли омонимы (*errer* — *errer*). И хотя глагол *errer* в значении «путешествовать» сейчас не сохранился, смешение двух глаголов, наблюдавшееся в прошлом («идти прямо» — «идти окольным путем»), отразилось на некоторых производных образованиях. В современном языке существительное *errements*, употребляемое во множественном числе, означает «заведенный порядок», «обычный ход» (связь с глаголом *errer* «идти прямой дорогой»). Но под влиянием другого глагола-омонима (*errer* «заблуждаться») это же существительное *errements* стало приобретать уничижительное значение — «ошибка, заблуждение». Так столкновение двух омонимичных глаголов, наблюдавшееся в прошлом, рикошетом отражается на семантике современного существительного *errements*. А. Тома правильно предостерегает против употребления *errements* в смысле «ошибки», «заблуждения» (стр. 156). Для последнего значения язык располагает другим словом — *erreurs*. Так разграничение правильного и неправильного в современном языке должно опираться не только на интуитивное чувство, но и на хорошее знание истории языка. Смешение некоторых омонимов может иметь далеко идущие последствия и вызвать путаницу в употреблении и неомонимичных слов (*errements* — *erreurs*).

Из множества теоретических положений, возникающих при изучении разнообразных материалов словаря А. Тома, мы остановились здесь на том: 1) как следует понимать дифференцирующую тенденцию языка в связи с составлением самого словника; 2) что дает для языка изучение различных типов деформации устойчивых сочетаний; 3) каков удельный вес омонимов, «мешающих» друг другу, по сравнению с омонимами, несколько не стесняющими говорящих; 4) какова, наконец, позиция автора, ре-

¹ H. Michaelis et P. Passy, Dictionnaire phonétique de la langue française, Hannover, 1924, стр. 214.

комендующего одни языковые образования и нововведения и отвергающего другие.

Хотя сам автор «Словаря трудностей» не ставил перед собой больших вопросов теории и стремился создать лишь практическое пособие, однако любовь к родной речи, острая наблюдательность и тонкое чувство языка помогли ему создать не только полезный справочник, но и книгу, которая дает возможность осмыслить некоторые тенденции развития современного французского языка. Разумеется, многие факты, приводимые в словаре Тома, были известны и раньше (автор хорошо использовал материалы своих предшественников), однако составитель сумел не только заново сгруппировать эти факты, но и расширить их разнообразными собственными наблюдениями, обосновать тщательно продуманной документацией. Как и во многих других серьезных филологических словарях, в работе А. Тома имеются отдельные неудачи (некоторые субъективные суждения, спорные рекомендации), хотя в целом автору удалось создать новый тип словаря. Чем выше культура языка в обществе, тем большее значение приобретают подобные разыскания.

МАРК ВЕЙ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯ
ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Превосходный частотный словарь чешского языка, подготовленный под руководством Я. Елинка, Й. Бечки и М. Тешителовой («Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce», в печати), содержит статистические сведения, позволяющие проверить на чешском материале данные о статистической структуре словаря, установленные ранее для других языков. Они позволяют также получить и новые числовые данные.

1. В статье о статистике чешского словаря¹ я показал соотношение между количеством различных слов, употребленных одновременно в определенном количестве текстов, и количеством этих текстов. Это соотношение, само по себе представляющее интерес для статистики, интересно еще и тем, что в нем в форме математической зависимости утверждается, что для получения основных сведений о статистической структуре словаря языка не обязательно неограниченно увеличивать выборку.

Вместе с тем, если построить график для указанной зависимости, окажется, что полученная кривая в общем совпадает с кривой, которую можно было бы получить экспериментальным путем на основании прямого подсчета. Исключение составят две крайние области — явление обычное в статистике. Это побуждает дать лингвистическую оценку результатов.

а) Как бы ни было мало количество различных слов, каждое из которых встретилось во всех 75 текстах (рассмотрение которых легло в основу словаря «Frekvence slov»), оно оказывается больше, чем позволило бы ожидать констатированное отношение. Это связано с тем, что в число таких слов попадают не столько слова чешского языка с наивысшей частотностью, сколько слова, без которых невозможно никакое высказывание любой протяженности. Указанное количество не может бесконечно уменьшаться.

б) Количество слов, зарегистрированных в очень небольшом количестве текстов (что обозначается графически другой крайней областью кривой), равным образом оказывается больше, чем можно было бы ожидать. Объясняется это тем, что на этом уровне появляется значительное количество словарных единиц, не принадлежащих к узаконенному словарю языка (в особенности имена собственные и слова им подобные).

2. В моей статье в «Slavia»² при рассмотрении главных числовых зависимостей, ранее установленных статистиками для других языков, я обратился к проверке их на чешском материале. Для большинства случаев справедливость этих зависимостей подтверждается. В особенности примечательно, что для зависимости между вероятностью употребления и зна-

¹ M. V e y, A propos de la statistique du vocabulaire tchèque, RESI, t. XXXIV, fasc. 1—4, 1957.

² M. V e y, A propos de la statistique du vocabulaire tchèque. Examen de principales relations numériques, «Slavia», rocn. XXVII, seš. 3, 1958.

чимостью слова (последняя пропорциональна числу фонем) я получил формулу, идентичную той, которая иным путем уже была получена П. Гиро.

Однако необходимо отметить одно серьезное расхождение. Согласно Г. К. Зипфу, среднее число значений данного слова прямо пропорционально квадратному корню из его частоты. В чешском же языке среднее число значений прямо пропорционально корню четвертой степени из частоты. В моей статье в «Slavia» я ограничился констатацией этого факта, поскольку задачей статьи не было сравнение данных, полученных для чешского языка, с данными в особенности важными для какого-нибудь другого языка, например для французского. Однако такое сравнение не лишено интереса. С этой целью следовало бы обратиться не к абсолютным частотам, а к вероятностям, поскольку протяженность текстов, подвергнутых обследованию для составления «Frekvence slov» (более 1623 тыс. слов) и «French word book» В. А. С. Хенмона (400 тыс. слов), различна. Не входя в подробности вычисления, заметим, что слова, вероятность которых равна $\frac{26}{1000000}$, имеют в чешском и во французском языках одно и то же среднее число значений (а именно 3). У слов с низшей вероятностью (это слова редкие) больше значений в чешском языке (от трех до одного с небольшим), чем во французском. Напротив, слова употребительные, с вероятностью больше чем $\frac{26}{1000000}$, менее многозначны в чешском по сравнению с французским. Это весьма показательное различие является результатом различия в структурах чешского и французского словарей: у чешских слов, более многочисленных, количество значений в общем меньше, чем у французских слов.

В этой связи следует обратить внимание на следующее весьма важное обстоятельство. Обычно принимают за истину, верную в отношении всех языков, что некоторое небольшое число слов составляет высокий процент от всех слов, заключенных в тексте. Считается, что 15 наиболее употребительных слов всегда составляют приблизительно $\frac{1}{4}$ часть от общего количества употребленных слов, 66 наиболее употребительных слов — примерно половину, 320 — около $\frac{3}{4}$, 1100 — около $\frac{9}{10}$. Эти цифры могут оказаться верными для различных языков, например для немецкого, однако они должны быть полностью пересмотрены в отношении чешского языка (а также, возможно, и в отношении других славянских языков). В чешском языке необходимо знать 21 единицу словаря для понимания $\frac{1}{4}$ части всех слов, содержащихся в тексте, 240 — для понимания половины, более 2 тыс. — для понимания $\frac{3}{4}$, 6 тыс. — для 87%, 8 тыс. — для $\frac{9}{10}$.

Перевели с французского О. А. Лантева и М. М. Маковский

А. М. МУХИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕРУНДИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о происхождении герундия в английском языке привлекал внимание многих исследователей: он явился объектом оживленной дискуссии на страницах зарубежных лингвистических журналов¹. Проблема эта, однако, до сих пор остается спорной.

Большинство исследователей приходит к выводу, что герундий появляется в английском языке в среднеанглийский период, когда он начинает употребляться с прямым дополнением. Относительно появления герундия существуют самые противоречивые мнения. В качестве источника герундия, сочетающегося с прямым дополнением, одни исследователи считают инфинитив², другие — древнеанглийское отглагольное существительное на *-ung*, *-ing*, которое якобы могло употребляться в роли инфинитива³, третьи — причастие настоящего времени⁴, четвертые усматривают такой источник во французском языке⁵.

Сочетание герундия с прямым дополнением некоторые исследователи возводят также к древнеанглийским сложным существительным типа *daegweorfung* «ознаменование дня», компоненты которых выражали объектные отношения. Постепенное отделение первой части такого сложного слова от второй в среднеанглийский период и перенесение первого существительного в положение после отглагольного существительного на *-ing*, по мнению этих исследователей, привело к образованию современной конструкции «герундий + дополнение»⁶. При этом совершенно непонятно, почему первая часть сложного слова отделилась от второй.

Не менее противоречивы мнения исследователей относительно происхождения оборотов с герундием типа *I insist upon Miss Sharp appearing*. Так, например, О. Есперсен утверждает, что такие обороты появились в языке около 1700 г. вследствие: а) совпадения некоторых форм общего и родительного падежей, а также объектного падежа местоимения *she* и притяжательного местоимения *her*, б) невозможности образования родительного падежа или притяжательного от некоторых местоимений, в) трудности образования родительного падежа от некоторых словосочетаний⁷. Однако другие англисты показали несостоятельность точки зре-

¹ См. полемику по этому вопросу между Дж. Кёрмом и Е. Эйненкем в журнале «Anglia» (Bd. XXXVII, 1913; Bd. XXXVIII, 1914; Bd. XXXIX, 1916) и между Дж. Кёрмом и В. Гаафом в журнале «English studies» (vol. 12, Amsterdam, 1930).

² См. К. Ф. Кош, *Historische Grammatik der englischen Sprache*, Bd. II, Cassel, 1878, стр. 69.

³ См. В. Н. Ярцева, Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке, Л., 1940, стр. 14—15.

⁴ См. L. Kellner, Introduction on Caxton's syntax, style, etc. «Early English text society» (EETS), Extra series, LVIII, London, 1890, стр. 75.

⁵ См. критику точки зрения Е. Эйненкеля В. Гаафом: W. van der Gaaf, The gerund preceded by the common case. A study in historical syntax, «English studies», vol. 10, 1928, стр. 37.

⁶ См. G. O. Curme, The gerund in old English and German, «Anglia», Bd. 37, 1914, стр. 491—496; В. Н. Ярцева, указ. соч., стр. 15—16.

⁷ О. Есперсен, A modern English grammar, pt. V — Syntax, London, 1940, стр. 122—123.

ния О. Есперсена, указав на то, что обороты рассматриваемого типа появились в языке гораздо раньше 1700 г. и что употребление таких оборотов с самого начала не ограничивалось случаями, указанными О. Есперсеном¹.

Не видя преемственности между древнеанглийским отглагольным существительным на *-ung*, *-ing* и герундием в оборотах рассматриваемого типа, Дж. Кёрм пришел к выводу, что оборот «общий падеж + герундий» развился из древнеанглийского сочетания «винительный падеж + причастие настоящего времени» на базе смешения оборотов с герундием и причастием². В. Гааф же, отвергая эту гипотезу как необоснованную и считая, что в древнеанглийском нет такой конструкции, которая могла бы рассматриваться как зародыш указанного оборота, приходит к заключению, что этот оборот заимствован из французского языка, что он явился результатом подражания французской конструкции типа *le soleil levant*³. Однако попытка В. Гаафа найти источник рассматриваемого английского оборота в другом языке не могла увенчаться успехом и была справедливо отвергнута другими англистами⁴.

Причина, побудившая исследователей прибегать к разного рода гипотезам при объяснении происхождения герундия, коренится в недооценке некоторых моментов в развитии имени существительного в среднеанглийский период, которые, впрочем, не получили надлежащего освещения в исторических грамматиках и в монографиях.

Как было нами отмечено в статье «О категории падежа в современном английском языке»⁵, процесс разрушения падежной системы в среднеанглийский период захватил все четыре падежа имени существительного, включая родительный во всех сферах его употребления. В языке XIII—XIV вв. для выражения всех тех отношений, которые в древнеанглийском языке передавались при помощи флексий родительного падежа, все большее распространение получает употребление существительных в их исходных формах, нейтральных к падежу. Отмирание флексий, в свою очередь, вызвало некоторые другие сдвиги в системе существительного, в частности расщепление большой массы сложных существительных⁶. Эти изменения в системе имени существительного в среднеанглийский период и в первую очередь разрушение родительного падежа необходимо принять во внимание при решении вопроса о происхождении герундия, так как они создали условия для его появления.

В древнеанглийском языке отглагольное существительное на *-ung*, *-ing*, как и всякое другое существительное, управляло родительным падежом; при этом существительное в родительном падеже обычно обозначало или субъект, или объект действия, выраженного отглагольным существительным, и употреблялось как в препозиции, так и в постпозиции («for Fetontis forscarpunge» (Or. 40, 9)⁷ «из-за оплошности Фаэтона»; «toea-

¹ См. W. van der Gaaf, указ. соч., стр. 65—67.

² См. G. O. Curme, Origin of the accusative often used as subject of the gerund, «English studies», vol. 12, 1930, стр. 180—182.

³ W. van der Gaaf, указ. соч., стр. 68—69.

⁴ Критика точки зрения В. Гаафа дана Дж. Кёрмом («English studies», vol. 12, стр. 111, 180—182) и В. Н. Ярцевой (указ. соч., стр. 82).

⁵ См. ВЯ, 1957, № 2.

⁶ См. там же, стр. 23.

⁷ В статье приняты следующие сокращенные обозначения: Or.—«Kings Alfred's Orosius», ed. by H. Sweet, EETS, 79, London, 1883 (указаны страница и строка); Pr. of Consc.—Richard Rolle de Hampole, «The pricke of conscience», ed. by R. Morris, Berlin, 1863 (указана строка); C. M.—«Cursor mundi» («The Cursor of the world»), ed. by R. Morris, EETS, pt. I—VI, 57, 59, 62, 66, 68, 99, London, 1874—1892 (указана строка); Trev.—«Polychronicon Ranulphi Higden, monachi Cestrensis, together with the English translations of John Trevisa and of an unknown writer of the fif-

can þaes landes sceawunge» (Or. 17, 35) «кроме осмотра этой страны» и т. п.

Разрушение родительного падежа в среднеанглийский период привело к появлению словосочетаний с существительным в исходной форме (без *-es*) при отглагольном существительном на *-ing*, выражающих субъектные отношения: «And þat sal last fra þe son ryzung; Til þe tyme of þe son doun-gangung» (Pr. of Cons. 4778) «И это будет продолжаться от восхода солнца до времени захода солнца» и т. п.

Наряду с исходными формами в подобных словосочетаниях в памятниках XIII—XIV вв. употребляются формы тех же самых существительных с остаточной флексией родительного падежа *-es*. Ср., например: «Of Adam ending telle will i» (C. M. MS. G., стр. 79), «Of Adames endyng telle wol I» (там же, MS. Tr.) «о кончине Адама хочу я рассказать»; «after the sunne goyng down», «after the sunnys going down»¹ «после захода солнца».

В древнеанглийском языке субъектные отношения выражались также словосочетаниями с родительным падежом при существительном иного типа; в среднеанглийский период здесь также наблюдается тенденция к употреблению исходных форм существительных вместо форм на *-es*: «Of antecrist com þat...» (C. M. 213) «О приходе антихриста, который...» [ср. *of ancrist* (MS. Harl.—*antecrist*) *commung* (Pr. of Cons. 3995) «о приходе антихриста»]; «Bifor þe time of adam sinne» (там же, стр. 45) «до времени грехопадения Адама» и т. п.

Однако в отличие от подобных случаев употребления исходных форм с существительными иного типа, ограниченных в основном рамками среднеанглийского периода, употребление исходных форм с отглагольными существительными на *-ing* получает дальнейшее развитие и распространение в языке. Это объясняется тем, что в сочетании с исходной формой, выражающей субъектные отношения, как и в сочетании с исходной формой, передающей объектные отношения (см. ниже), происходит вербализация отглагольного существительного, превращение его в герундий, т. е. именную форму глагола, совмещающую в себе свойства и имени, и глагола.

О том, что уже в среднеанглийский период происходит процесс вербализации отглагольного существительного на *-ing* в подобных сочетаниях, говорят появляющиеся во второй половине среднеанглийского периода, по аналогии с сочетаниями с исходной формой существительного, случаи употребления форм так называемого объектного падежа личных местоимений с герундием вместо притяжательных форм: «I merveile thee askung this demande» «Я удивлен тем, что ты предъявляешь это требование»; «Take no displaysir on me so presuming» «Не обижайтесь на то, что я так самонадеянно поступаю»².

Закреплению и распространению герундиальных оборотов с исходной формой существительного способствовало то обстоятельство, что с переосмыслением остаточной флексии родительного падежа *-es* как показателя притяжательности³ в притяжательной форме стало возможным употреб-

teenth century», ed. by Ch. Babington and J. R. Lumby, vol. I—VIII, London, 1865—1882 (указаны том и страница); MS. Harl. 2261 — Harleian manuscript 2261 (там же); Aumon — William Caxton, «The right plesaunt and goodes historie of the four sonnes of Aumon», pt. I—II, EETS, Extra series, 44, 45, London, 1884—1885 (указаны страница и строка); N. Leg. — «Die nordenglische Legendensammlung», hrsg. von C. Horstman, Heilbronn, 1881 (указаны страница и строка); Bl. and Egl. — Caxton's Blanchardyn and Eglantine», ed. by L. Kellner, EETS, Extra series, 58, London, 1890 (указаны страница и строка).

¹ См. Е. Е i n e k e l, Die Entwicklung des englischen Gerundiums, «Anglia», Bd. XXXVIII (Neue Folge, Bd. XXVI), Hf. 1—2, 1914, стр. 67—68.

² Примеры приведены Е. Эйненкелем в указ. соч., стр. 68.

³ См. ВЯ, 1957, № 2, стр. 25 и сл.

лять в основном существительные, обозначающие живые существа. Многие существительные, обозначающие неодушевленные предметы, стали употребляться в сочетании с герундием только в исходной форме (или форме множественного числа).

Наряду с сочетаниями с исходной или притяжательной формой те же субъектные отношения начинают передаваться в среднеанглийский период предложными сочетаниями с *of*. Так, например, в следующих случаях перевода Тревицы «Polychronicon» находим сочетания с исходной формой, в другом же переводе этого произведения (MS. Harl. 2261) — предложные сочетания с *of*: «Inde haþ in þe est side þe sonne risunge» (Trev. I, 79; MS. Harl. 2261: «the rysenge of the sonne») «Индия имеет на восточной стороне восход солнца»; «þe fightinge men woste nougt of þe erþe schakunge þat was while þey fougte» (Trev. IV, 57; M. S. Harl. 2261: «a movenge o the erthe») «Сражающиеся не знали о сотрясении земли, которое произошло, когда они сражались». В одном и том же памятнике среднеанглийского периода могут встретиться все три конструкции: «And what es mare uncertaun þung þan es the tyme of the dede commyng» (Pr. of Consc. 1952) «И что может быть более неопределенным, чем время прихода смерти»; «Weke ay als þou had na knawung of þe tyme of dedys commyng» (там же, 1970) «Всегда будь бодрым, как будто бы ты не знаешь о времени прихода смерти»; «þan folowes þat manna wys rede þat abydes þe commyng of þe dede» (там же, 2014) «Не мудрому совету следует тот человек, который ждет прихода смерти».

Таким образом, в английском языке к концу среднеанглийского периода существуют все три конструкции, выражающие субъектные отношения, которые характерны для современного языка: 1) конструкция с притяжательной формой существительного, развившаяся в языке вследствие переосмысления остаточной флексии родительного падежа *-es* как показателя притяжательности, 2) конструкция с исходной формой (или формой множественного числа) существительного, появившаяся в языке вследствие разрушения родительного падежа и употребления нейтральных к падежу форм существительных, и 3) конструкция с предлогом *of*.

Что касается древнеанглийского родительного объекта при отглагольном существительном на *-ing*, *-ung*, то разрушение падежной системы существительного вызвало здесь в среднеанглийский период еще большие изменения.

Как отмечалось выше, родительный объекта при отглагольном существительном на *-ing*, *-ung* в древнеанглийском употреблялся и в препозиции и в постпозиции. Отмирание падежных окончаний и переосмысление остаточной флексии родительного падежа *-es* как показателя притяжательности в XIII—XIV вв. привели к тому, что в словосочетаниях, выражающих объектные отношения, стали употребляться только исходные формы, а также формы множественного числа, нейтральные к падежу, причем последние могли стоять и в препозиции, и в постпозиции: «Israel wiþ þis vplepp... Wit-uten asking help of sun» (C. M. 5193) «Израиль при этом вскопчил..., не попросив помощи у сына»; «the slewe your fader in his body defenyng» (Aumon 566, 26) «Он убил вашего отца, защищая свое тело» и т. п.

Со временем с формами существительных, лишенных падежных показателей (нейтральных к падежу), начал употребляться предлог *of*. Однако предлог *of* как средство выражения грамматических отношений, передававшихся в древнеанглийском при помощи флексий родительного падежа, утверждается в языке лишь постепенно. В среднеанглийский период он не стал еще четким показателем грамматических отношений, выражавшихся в древнеанглийском языке падежной флексией, и без него могли об-

ходиться как при выражении притяжательных отношений, так и при выражении объектных отношений¹.

Выражавшие объектные отношения беспредложные словосочетания с исходной формой или формой множественного числа при существительных иного типа, чем отглагольное существительное на *-ing*, имели распространение в основном только в языке среднеанглийского периода, в дальнейшем они были полностью вытеснены предложными словосочетаниями с *of*. Что же касается беспредложных словосочетаний с исходной формой или формой множественного числа при отглагольном существительном на *-ing*, то они получили дальнейшее развитие и распространение в языке. Это объясняется тем, что в сочетании «существительное в исходной форме или форме множественного числа (в препозиции или в постпозиции) плюс отглагольное существительное на *-ing*» происходит вербализация последнего; действие, обозначаемое им, теряет свой предметный характер и воспринимается как совершаемое субъектом и направленное непосредственно на объект, названный существительным в исходной форме или форме множественного числа, которое является прямым дополнением к форме на *-ing*.

Аналогичные изменения произошли также в словосочетаниях с местоимением при отглагольном существительном на *-ing*, выражающих объектные отношения. В древнеанглийском языке в таких словосочетаниях употреблялись только формы родительного падежа местоимений (личных, указательных, неопределенных). Разрушение родительного падежа в системе местоимений, проходившее параллельно разрушению родительного падежа в системе существительных (с которыми местоимение соотносилось), и переосмысление форм родительного падежа личных местоимений как притяжательных форм² привели к тому, что в словосочетаниях, выражающих объектные отношения, стали употребляться только формы так называемого объектного падежа личных местоимений и неизменяемые, беспадежные формы указательных и некоторых неопределенных местоимений: «*In him preising he made sarmoun*» (С. М. 13245, MS. Tr.) «Он прочел проповедь, восхваляя его (во хвалу его)»; «*all hal-ding wit trecheri...*» (С. М. 27844) «обладание всем при помощи вероломства...» и т. д.

В подобных словосочетаниях, как и в рассмотренных выше, происходит вербализация отглагольного существительного на *-ing*, т. е. превращение его в герундий. В приведенных примерах из памятников XIV—XV вв. форма на *-ing*, сочетающаяся с прямым дополнением, представляет собой уже не что иное, как герундий.

Положение дополнения перед герундием было столь же обычным в среднеанглийский период, как и положение его после герундия, поскольку в языке среднеанглийского периода дополнение могло стоять и перед глаголом и после него. В дальнейшем же, в связи с фиксацией порядка слов в английском языке, когда дополнение занимает определенное место в предложении — после глагола, дополнение к герундию ставится только в постпозиции.

Разрушение родительного падежа и употребление существительных в формах, лишенных падежных окончаний (нейтральных к падежу), в среднеанглийский период имели еще другое последствие. В древнеанглийском языке наряду с сочетанием родительного объекта с отглагольным существительным на *-ing*, *-ung* те же отношения передавались компонентами сложного существительного типа: *cyrichalgun* «освящение церк-

¹ См. ВЯ, 1957, № 2, стр. 22.

² См. там же, стр. 28.

ви», *daegweorþung* «ознаменование дня». Различие между сложными существительными рассматриваемого типа и словосочетаниями с родительным объекта перед отглагольным существительным, выражавшими одни и те же объектные отношения, поддерживалось в древнеанглийском языке благодаря наличию падежной флексии в первом компоненте словосочетания. С отпадением же падежных окончаний в среднеанглийский период исчезло это формальное различие между рассматриваемыми сложными словами и словосочетаниями; первый компонент сложного слова ничем уже не отличался от первого компонента словосочетания «форма существительного без падежного окончания (нейтральная к падежу) + форма на *-ing*». Результатом этого явилось распадение многих сложных слов указанного типа, первый компонент которых обособился от второго и стал восприниматься как самостоятельное существительное, обозначающее объект действия, выраженного формой на *-ing*. Обособление первого компонента от второго в таких сложных словах и переосмысление их как самостоятельных слов получило свое непосредственное отражение в раздельном их написании в среднеанглийский период. Например: «*Bot to þe first es forto tell of þe kyrk halowyng how it befell*» (N. Leg. 143, 29) «Но сначала нужно рассказать об освящении церкви, как оно происходило».

Таким образом, в среднеанглийской конструкции «существительное в исходной форме + форма на *-ing*», выражающей объектные отношения, слились две конструкции, имеющие разное происхождение: 1) конструкция, пришедшая на смену древнеанглийскому словосочетанию с родительным падежом при отглагольном существительном на *-ing*, *-ung* вследствие отпадения падежных окончаний, и 2) конструкция, появившаяся в языке вследствие расщепления сложных существительных указанного выше типа, что было обусловлено существованием в языке сочетаний «форма существительного без падежного окончания (нейтральная к падежу) + форма на *-ing*».

Из сказанного следует, что древнеанглийские сложные слова типа *cyrichalung* не могут рассматриваться как непосредственный и основной источник появления в среднеанглийском конструкций «исходная форма существительного + форма на *-ing* (герундий)», выражающих объектные отношения, поскольку само расщепление таких сложных слов явилось результатом развития в языке сочетаний «форма без падежного окончания (нейтральная к падежу) + форма на *-ing*»¹.

В заключение необходимо остановиться еще на одном моменте, связанном с развитием герундия в английском языке в среднеанглийский период. Во второй половине среднеанглийского периода, точнее в XIV в., происходит изменение формы причастия I (в северном диалекте этот процесс продолжается до начала новоанглийского периода). В древнеанглийском причастие I имело суффикс *-ende*. В XIV же веке суффикс *-end(e)* [*-ind(e)*, *-and(e)*] начинает вытесняться суффиксом *-ing(e)*, при этом на протяжении XIV в. формы причастия I на *-end(e)* употребляются в памятниках наряду с формами причастия I на *-ing(e)*.

Появление суффикса *-ing(e)* у причастия I связано с развитием герундия в среднеанглийский период. По мере распространения герундиальных оборотов в языке XIV в. происходит процесс смещения герундия и причастия I и последнее все чаще принимает суффикс *-ing(e)*, пока он

¹ Здесь необходимо еще учитывать и различие в выражительных возможностях словосочетания и словосложения в древнеанглийском языке: в отличие от первого компонента (основы) сложного слова существительное в родительном падеже в составе словосочетания могло иметь не только обобщенное, но и конкретное, индивидуализированное значение (см. ВЯ, 1957, № 2, стр. 22—23).

к концу XIV в. (на севере позже) не становится единственным суффиксом причастия I.

Смешение причастия I и герундия стало возможным благодаря тому, что эти неличные формы употребляются в сходных конструкциях: субъект действия причастия I и герундия может быть выражен существительным в исходной форме или форме множественного числа или личным местоимением в объектном падеже, обе неличные формы могут сочетаться с прямым дополнением. Ср., например: «the whiche sawe him fighting and destroeng and sleynge his enmyes» (Bl. and Egl. 166, 1) «...которые видели, как он сражается, и разрушает, и убивает своих врагов», «I merveile thee askyn this demande» «Я удивлен тем, что ты предъявляешь это требование».

С развитием герундия в XIV—XV вв. появляются случаи замены инфинитива герундием и, наоборот, — герундия инфинитивом. Например «All the foure brethern... yssued oute of the castell atte the fawcebraye wythout to make ohy noyse» (Aymon, 78, 24) «Все четыре брата... вышли из замка через тайный проход, не произведя никакого шума»; «God genius is to menyunge a spirit þat foloweþ a man» (Trev. III, 297) «Добрый гений значит дух, который следует за человеком» (ср. «Hit is to mene þat þeу beсþ ware» (там же, II, 171) «Это значит, что они осторожны».

Подобные случаи замены инфинитива герундием и герундия инфинитивом стали возможными благодаря близости свойств герундия и инфинитива, благодаря тому, что они употребляются в аналогичных конструкциях (субъект действия герундия и инфинитива может быть выражен существительным в исходной форме или форме множественного числа, или местоимением в объектном падеже, оба они сочетаются с прямым дополнением).

Смешение герундия с причастием I, а также взаимозаменяемость герундия и инфинитива могли благоприятствовать развитию глагольных свойств герундия. Однако ни причастие I, ни инфинитив не могли быть источниками появления герундия в английском языке. Для того чтобы стали возможными случаи смешения и взаимозаменяемости форм на *-ing(e)*, с одной стороны, и причастия I и инфинитива, с другой стороны, необходимо было, чтобы в языке уже существовала форма, которая могла смешиваться с причастием I и заменяться инфинитивом вследствие близости ее свойств и свойств указанных неличных форм. Такой формой была форма на *-ing(e)* — герундий, развившийся из отглагольного существительного на *-ing(e)*, когда последнее получило возможность сочетаться с прямым дополнением и следовать за формой без падежного окончания (нейтральной к падежу), обозначающей субъект действия, выраженного формой на *-ing(e)*. Эту же возможность отглагольное существительное на *-ing(e)* приобрело благодаря разрушению родительного падежа и употреблению нейтральных к падежу форм существительных вместо форм родительного падежа.

П. А. СОБОЛЕВА

ОБ ОСНОВНОМ И ПРОИЗВОДНОМ СЛОВЕ ПРИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО КОНВЕРСИИ

Большое значение для правильного освещения сущности конверсии имеют работы проф. А. И. Смирницкого¹. Одна из заслуг А. И. Смирницкого в том, что он провел четкую границу между конверсией как способом словообразования и конверсией как типом словообразовательных отношений на определенном этапе развития языка, иными словами — между конверсией в диахронном и в синхронном плане.

Чрезвычайно важным для синхронного аспекта конверсии является поставленный А. И. Смирницким вопрос о внутренней или семантической производности слов, связанных отношениями конверсии. А. И. Смирницкий предлагает два критерия внутренней производности — критерий аналогичных семантических образований и критерий противоречия лексического и грамматического значения слова². Однако применение этих критериев на практике показало, что далеко не во всех случаях с их помощью можно определить основное и внутреннее производное из двух слов, соотносящихся по конверсии.

Так, критерий аналогичных семантических образований не может иметь достаточно широкого применения из-за трудности определения принадлежности слов к тому или иному семантическому классу³. Этот критерий может быть более успешно применен, если оперировать одним из конкретных типов семантически аналогичных образований, а именно — синонимическими рядами. По крайней мере определение принадлежности исследуемого слова к тому или иному синонимическому ряду является менее трудным, чем определение принадлежности слова к семантическим классам иного порядка. Если рассмотреть синонимический ряд, в который входит данное слово, то по структурной простоте или производности синонимов можно судить о внутренней простоте или производности интересующего нас слова. Так, например, о внутренней производности существительного *rebuke* «упрек» можно заключить по структурной производности его синонимов *admonition* «увещание», *reproval* «порицание», *chiding* «укор»; о внутренней производности существительного *work* «работа» — по структурной производности его синонимов *occupation* «занятие», *employment* «служба» и т. д. В данном случае все слова с более сложной структурой подтверждают внутреннюю производность корневых слов, так как, например, отношения *rebuke* «упрекать» и *rebuke* «упрек» аналогичны отношениям *admonish* «увещивать» — *admonition* «увещивание», *reprove* «порицать» — *reproval* «порицание» и т. д.

¹ См. в связи с этим Ю. А. Ж л у к т е н к о, Конверсия в современном английском языке как морфолого-синтаксический способ словообразования, ВЯ, 1958, № 5.

² А. И. С м и р н и ц к и й, Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке, «Ин. яз. в шк.», 1953, № 5.

³ Вопрос о семантических классах слов или, как их часто называют, «семантических полях» еще мало разработан. См., например: S. Ö h m a n, Theories of the «linguistic field», «Word», vol. 9, № 2, 1953; S. U l l m a n n, The principles of semantics, Glasgow, 1951.

Можно было бы, пожалуй, выделить самостоятельный синонимический критерий внутренней производности. Однако применение синонимического критерия, так же как и критерия аналогичных семантических образований, в значительной степени ограничено. Синонимический критерий может быть относительно надежным только в области абстрактных слов, синоними которых обладают сложной морфологической структурой.

Второй выделенный А. И. Смирницким критерий (противоречие между значением корня и категориальным значением слова) применим только для тех случаев, где предметное или, наоборот, процессуальное значение корня не вызывает сомнений, т. е. для случаев типа *(to) father*, *(to) pen*, *(a) fall*, *(a) run* и т. д. Но существует огромное число слов, соотносящихся по конверсии, где характер корня не выражен достаточно ясно. Ср., например, *answer* «отвечать» и *answer* «ответ», *accord* «согласовывать(ся)» и *accord* «согласие», *match* «подбирать под пару» и *match* «пара, ровня» и т. д. К таким словам данный критерий не применим.

В настоящей статье предлагается еще несколько критериев внутренней или семантической производности, при помощи которых можно определить основное и производное слово почти в любом соотношении по конверсии в современном английском языке. Определение основного и производного слова является необходимой предпосылкой всякого синхронного исследования в области конверсии, ибо без четких критериев внутренней производности невозможно даже правильно отобрать материал для исследования.

Словообразовательный критерий внутренней производности

Слова, соотносящиеся по конверсии, существуют в языке не изолированно, а в системе других словообразовательных отношений, связывающих слова общего корня в определенные структурно-семантические единства, называемые словообразовательными гнездами. Характер структурно-семантических отношений между членами словообразовательного гнезда может быть использован в качестве критерия, позволяющего решить вопрос об основном и внутренне производном из двух слов, связанных отношениями конверсии.

Рассмотрим типовое строение словообразовательного гнезда.

Структурно-семантическим центром словообразовательного гнезда является его вершина — основное корневое слово (например, *atom* «атом», *devote* «посвящать»). К нему тяготеют производные слова, связанные с ним непосредственно (соответственно *atomise*, *atomic*, *atomism*, *atomist*; *devotion*, *devoted*, *devotee*, *devotement*) и опосредованно (соответственно *atomiser*, *atomisation*, *atomical*, *atomicity*; *devotionist*, *devotional*, *devotionalism*, *devotedly*, *devoteeism*). Производные слова, связанные с корневым словом опосредованно, как структурно, так и семантически сложнее производных слов, связанных с корневым словом непосредственно.

Обратим внимание на тот факт, что по характеру производных слов, непосредственно связанных с вершиной гнезда, всегда можно судить о части речи корневого слова. Так, суффиксы *-ise*, *-ic*, *-ist*, *-ism* и т. д. присоединяются, как правило, к основе существительного, а суффиксы *-ee*, *-ment*, *-tion*, *-ance* и т. д. — к основе глагола.

Это положение сохраняет силу и для гнезд, в которых имеются слова, связанные отношениями конверсии. Рассмотрим строение некоторых из них. См., например, гнезда: *hand*(n), *handful*(a), *handless*(a), *handy*(a), *handed*(a), *hand*(v); *awe*(n), *awesome*(a), *awesomeness*(n), *awful*(a), *awfulness*(n), *awfully*(adv), *aweless*(a), *awe*(v); *float*(v), *floatable*(a), *floatage*(n), *floatation*(n), *float*(n); *work*(v), *workable*(a), *workabi-*

lity(n), *worker(n)*, *working(a)*, *work(n)*. В каждом из этих гнезд имеется по два корневых слова. Какое же из них является вершиной гнезда?

Характер производных первой степени (*handful*, *handless*, *handy* и *awful*, *aweless*, *awesome*) говорит о том, что вершинами первых двух гнезд являются существительные *hand* «рука» и *awe* «страх». Характер производных *floatable*, *floatage*, *floatation*, *floaters*, *floating* и *workable*, *worker*, *working* говорит о том, что вершиной соответствующих гнезд являются глаголы *float* «держаться на поверхности, плыть» и *work* «работать». Глаголы же *hand* «вручать» и *awe* «устрашать», так же как и существительные *float* «поплавок, плот» и *work* «работа, производство» в системе остальных производных первой степени, непосредственно связанных с вершиной гнезда, выступают как внутренние производные от нее.

Таким образом, словообразовательный критерий внутренней производности заключается в следующем: если все или большинство производных слов в данном гнезде носят непосредственно или опосредованно отглагольный (отыменский) характер, то современное направление конверсии в данном гнезде — глагол→существительное (существительное→глагол)¹.

Как показывают наблюдения, современные отношения чаще всего совпадают с историческими (в тех случаях, где их можно установить). Однако имеются случаи, где современные отношения противоречат историческим. Так, например, глагол *mould* «отливать, формовать» возник способом конверсии от существительного *mould* «отливка, изложница», а современное соотношение слов в словообразовательном гнезде показывает на обратное направление конверсии, т. е. глагол является основным, а существительное — внутренне производным (все производные первой степени: *mouldable*, *moulding*, *moulder* — носят отглагольный характер).

Словообразовательный критерий внутренней производности применим к значительному числу соотношений по конверсии в современном английском языке. Условием применимости этого критерия является наличие в словообразовательном гнезде по крайней мере нескольких производных, помимо слов, соотносящихся по конверсии.

Характер связи значений внутри слова как критерий внутренней производности

Исследование семантической структуры производных отглагольных существительных, связанных с глаголами отношениями конверсии, показывает, что производные существительные часто лишены собственного смыслового центра (им является основное значение исходного глагола). Значения таких существительных связаны между собой не непосредственно, а через одно или несколько значений исходного глагола. Например, значения существительного *lift* «подъемная машина, лифт», «слой кожи на каблуке», «возвышенность», «вертикальная составляющая давления воздуха на самолет» и т. д. связаны между собой через основное значение глагола *lift* «поднимать». Аналогичное явление было обнаружено и С. М. Костенко² при исследовании семантической структуры отыменных глаголов, образованных от существительных способом конверсии. Значения таких глаголов часто связываются между собой через основное значение исходного существительного. Например, значения глагола *nest* «вить гнездо», «жить в гнезде», «разрушать гнезда» связываются ме-

¹ Другие части речи нами не рассматриваются.

² С. М. Костенко, Конверсия как способ образования глаголов от имен существительных в английском языке. Канд. диссерт., Л., 1955.

жду собой не непосредственно, а через основное значение существительного *nest* «гнездо».

Наблюдения над характером связи значений внутри производного слова позволяют выделить еще один критерий внутренней или семантической производности, который можно сформулировать следующим образом: опосредованный характер связи значений данного слова через одно или несколько значений другого слова, соотносящегося с ним по конверсии, говорит о внутренней производности данного слова.

При помощи этого критерия может быть установлена внутренняя производность в тех случаях, к которым не применим ни словообразовательный критерий (из-за отсутствия или малого количества производных), ни остальные критерии (по семантическим причинам). Так, например, применение этого критерия к соотношению *tramp(v)* и *tramp(n)* выявляет внутреннюю производность существительного по отношению к глаголу, так как значения существительного *tramp* «звук тяжелых шагов», «металлическая подковка на ботинке», «путешествие пешком», «бродяга» и т. д. связываются между собой не непосредственно, а через значение глагола *tramp* «тяжело ступать, тащиться с трудом, бродяжничать».

Определенная при помощи данного критерия внутренняя производность, как правило, совпадает с исторической.

Семантический критерий внутренней производности

О производности и простоте слов, соотносящихся по конверсии, можно также судить по характеру семантических связей между ними. Для определения внутренней производности глагола по отношению к существительному можно пользоваться классификацией семантических связей, предложенной Е. Г. Сошальской¹. По классификации Е. Г. Сошальской, эти связи сводятся к следующим:

1. Предмет — его название, функция. Например: *pen* «перо» — *to pen* «писать пером», *doctor* «врач» — *to doctor* «лечить».

2. Предмет — характерное для него действие. Например: *fox* «лиса» — *to fox* «хитрить», *crowd* «толпа» — *to crowd* «толпиться».

3. Предмет — уподобление ему. Например: *arch* «арка, дуга» — *to arch* «изгибаться дугой», *edge* «острый край» — *to edge* «заострять».

Естественно заключить, что наличие одного или нескольких из перечисленных типов семантической связи в паре слов, соотносящихся по конверсии, служит доказательством первичности существительного и вторичности (производности) глагола.

Для определения внутренней производности существительного по отношению к глаголу может быть использована предлагаемая ниже классификация семантических связей между глаголом и отглагольным существительным, соотносящимися по конверсии в современном английском языке:

1. Действие — определенное количество, акт или процесс действия. Например: *to stroll* «прогуливаться» — *stroll* «прогулка» (*go for a stroll*); *to start* «вздрагивать» — *start* «вздрагивание» (*give a start*); *to move* «двигаться» — *move* «движение» (*be on the move*).

2. Действие — действующее лицо или предмет. Например: *to graduate* «окончить учебное заведение» — *graduate* «окончивший учебное заведение»; *to flex* «сгибаться» — *flex* «гибкий шнур для электропроводки».

3. Действие — место действия. Например: *to slide* «скользить» — *slide* «ледяная гора или дорожка»; *to forge* «ковать» — *forge* «кузница».

4. Действие — объект действия. Например: *to chase* «гнаться, пресле-

¹ Е. Г. Сошальская, Стилистическое использование отыменных глаголов в современном английском языке. Канд. диссерт., М., 1952.

довать» — *chase* «животное, преследуемое охотником»; *to forfeit* «утратить, заплатить чем-либо» — *forfeit* «конфискованная вещь».

5. Действие — результат действия. Например: *to tear* «рвать» — *tear* «дыра»; *to work* «работать» — *work* «произведение».

Если у пары слов, соотносящихся по конверсии, обнаруживаются перечисленные отношения, то естественно заключить о простоте глагола и производности существительного. Определенная при помощи семантического критерия внутренняя производность в большинстве случаев совпадает с исторической, но иногда может противоречить ей. Так, например, в паре *dress*(n) и *dress*(v) глагол исторически является основным, а существительное — производным¹. Современные же отношения между ними противоречат историческим, т. е. существительное выступает как основное слово, а глагол как производное, так как основное значение существительного *dress* «платье, одежда» соотносится со значением глагола *dress* «одевать (ся)», как «предмет» и «его назначение».

Семантический и словообразовательный критерии внутренней производности являются наиболее надежными для определения основного и производного слова при соотношении по конверсии, так как применение их почти ничем не ограничено.

Предлагаемые критерии внутренней производности применимы ко всем случаям соотношения по конверсии, независимо от их происхождения, т. е. и к словам, возникшим путем конверсии от исконных и заимствованных слов на протяжении истории английского языка [*awe* (n) и *awe* (v), *hand* (n) и *hand* (v), *mock* (v) и *mock* (n), *aim* (v) и *aim*(n) и т. д.], и к словам, соотносящимся по конверсии с древнеанглийского периода или восходящим к более древним отношениям аффиксации, относительно которых мы не располагаем достоверными данными: существительное ли возникло от глагола или глагол от существительного [*work* (v) и *work* (n), *answer* (v) и *answer* (n), *float* (v) и *float*(n), *mark* (v) и *mark*(n) и т. д.], и к словам, заимствованным из других языков и ставшим в отношения конверсии на английской почве [*forge* (v) и *forge* (n), *accord* (v) и *accord* (n), *march* (v) и *march* (n), *graduate*(v) и *graduate*(n) и т. д.].

Особенно полезными данные критерии являются в тех случаях, где невозможно установить историческую производность без этимологических исследований, выходящих за пределы английского языка (в случае заимствования пары или же из-за древности соотношений по конверсии). Если учесть, что таких соотношений в современном английском языке весьма значительное количество (около 40% среди пар «глагол — существительное»), то станет ясно, что никакое исследование конверсии в синхронном плане не будет полным без учета этой большой группы слов, для которой особенно важным является решение вопроса о внутренней или семантической производности.

¹ См. «The concise Oxford dictionary», London, 1954.

Н. М. ТЕРЕЩЕНКО

К ВОПРОСУ О НЕНЕЦКО-ХАНТЫЙСКИХ ЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЯХ¹

Лексический состав диалектов² ненецкого языка в основной своей части весьма единообразен. Словарные расхождения по диалектам сводятся в конечном счете к различиям между лексическими формами отдельных слов; значительную часть таких различий легко объяснить, исходя из фонетических соответствий.

Вместе с тем по диалектам имеются лексические отличия, которые не сводятся к фонетическим. Например, для некоторых восточных говоров характерен ряд слов, не объясняемых на материале ненецкого языка (а также других самодийских языков) и не встречающихся в диалектах ненецкого языка, расположенных западнее Уральского хребта.

Так, для ямальского говора характерны такие слова, как: *ләнс'ак* «мыло» и соответственно: *ләнс'када (с')* «намылить»; *һөр* «печь» — *һөрм' п'ата(с')* «топить печь»; *пардон* «лекарство» — *пардонраоја* «как лекарство», *пардонм' пэриц'*, *пардон пэрч* «принимать лекарство», *пардонориц'*, *пардонорч* «пользоваться лекарством», *пардонорма* «пользование лекарством», *пардон тэмдолава* «аптека», *пардонја(с')* «пахнуть лекарством»; *васкуј* «купец» и соответственно: *васкујда(с')* «держаться купцом», *ас³* «овца» — *ас' пыја (асмыја)* «морда овцы»; *һосар*» (*һосарад*) «игральная карта» и соответственно: *һосариц'*, *һосарч* «играть в карты», *һосарма* «картежная игра», *һосарта* «картежный игрок», *һосарјебте(с')* «поиграть в карты»; *һокас''* «платок», *пәр'* «плот» и др.

Характерно при этом, что не все приведенные слова ямальского говора имеются в крайневосточных говорах Ямальского полуострова (в надымском и тазовском) и большинство из них не встречается у таймырских ненцев. В говорах ненецкого языка, расположенных западнее Уральского хребта, в этих случаях употребляются русские лексические заимствования. Например, у ненцев Большеземельской тундры: *мыла* «мыло» и соответственно: *мылата(с')* «намылить»; *печка*, *печь* «печь»; *лекарц'о* [наряду с *савумдаңгос''(н)*] «лекарство»; *һупец'* «купец»; *һовиц'а* «овца»; *һарта* (наряду с *ненэј Һарта* «имеющий серебряные края») «карта» и соответственно: *һарториц'* «играть в карты», *һарторма* «картежная игра», *һарторта* «картежный игрок», *һарторјебте(с')* «поиграть в карты»; *плат* «платок»; *плот* «плот» и др.

Представляется вполне вероятным, что перечисленные выше слова ямальского говора также являются заимствованными (как и слова, обозначающие аналогичные понятия в западных говорах). И действительно, близкие фонетические соответствия словам, приведенным нами в качестве

¹ Связи ненецкого и хантыйского языков сказываются наиболее отчетливо в области лексики и отчасти фонетики. Именно эти вопросы и составляют предмет рассмотрения предлагаемой статьи.

² Под термином «диалект» мы понимаем (как это принято в русской лингвистической науке) любое территориальное ответвление общенародного языка. Общие сведения о ненецких диалектах и их классификация даны в кн.: Н. М. Терещенко, Материалы и исследования по языку ненцев, М.—Л., 1956, стр. 182—200.

³ Слово *ас* наиболее распространено в приуральском говоре.

одной из характерных особенностей лексического состава ямальского говора, имеются в северных диалектах хантыйского языка (обдорском и казымском). Например:

ямальский говор ненецкого языка	северные диалекты хантыйского языка ¹	
<i>лӓнс'ак</i>	<i>лӓн'с'ак</i>	«мыло»
<i>ӓӓр</i>	<i>кӓр, кӓр²</i>	«печь»
<i>пардон</i>	<i>портун</i>	«лекарство»
<i>wasкуj³</i>	<i>wocho</i> (в фольклоре)	«купец»
<i>ас</i>	<i>ас</i>	«овца»
<i>ӓосар''</i>	<i>кисыр</i>	«игральная карта»
<i>цокас''</i> (<i>цокас'ан</i>)	<i>оӓиам</i>	«платок (головной)»
<i>пӓр'</i>	<i>кӓр</i>	«плот»
<i>н'алк</i> «стройный» (о деревьях) ⁴	<i>н'оӓи</i>	«пихта»

В этой связи представляет известный интерес тот факт, что некоторые русские лексические заимствования в ямальском говоре ненецкого языка имеют звуковой облик, близкий к их звучанию в северных диалектах хантыйского языка в отличие от тех же заимствований у ненцев, проживающих в более западных районах. Например:

большеземельский говор ненецкого языка	ямальский говор ненецкого языка	северные диалекты хантыйского языка	
<i>торбовка⁵</i>	<i>поска</i>	<i>пушкан</i>	«ружье», «дробовик»
<i>пис'ка</i>	<i>сера, сер'а</i>	<i>серанка</i>	«спичка»
<i>һарта</i>	<i>ӓосар''</i>	<i>кисыр</i>	«игральная карта» и др.

Наличие в ямальском говоре слов, общих со словами хантыйского языка, и известное сходство указанных выше фонетических явлений в этом говоре ненецкого языка и в хантыйском языке не случайны. Из народностей, проживающих восточнее Уральского хребта, приуральские и ямальские ненцы находятся в наиболее тесных отношениях с ханты. Частое взаимное общение этих народностей в некоторых случаях оказывает весьма существенное влияние на их хозяйство, быт, а следовательно, и на их язык.

Именно близостью ненцев, расселенных на территории Ямало-Ненецкого национального округа (преимущественно в более южных его частях), с хантами может быть объяснена известная неоднородность в составе ненецкого населения Ямальского полуострова.

Помимо коренного населения Ямальского района — носителей ненецких фамилий, — имеются ненцы, переселившиеся из других районов [например, *Вылка* (*W''ылка*), *Лабтандер* (*Лабтандер*), *Пырерка*, перекочевавшие из Большеземельской тундры]. Каждую из фамилий носит ряд семейств, признающих между собой кровные родственные связи; поэтому можно предполагать, что фамилии эти образовались из родовых названий вследствие распада прежних родовых групп⁶. Большинство

¹ Хантыйский материал сообщен нам научным сотрудником Института языковедения АН СССР Н. И. Терешкиным.

² Ср. коми-зыр. *гор*. В надымском говоре ненецкого языка *кӓр*.

³ Возможно, что слово *wasкуj* связано со словом *ушкуй* — так называли русские старожилы на Ямале большие лодки, на которых приезжали на Север торговые люди; последних по названию этих лодок именовали *ушкуйниками*.

⁴ См., например, в предложении: *Н'алк пӓдари'' помна миӓа* «Идет по лесу между стройными деревьями».

⁵ Или *тороб'һана мӓта* — дословно «употребляемый с дробью».

⁶ Об этом свидетельствуют ненецкие предания и факты дробления родов, относящиеся к сравнительно недавнему прошлому. Так, например, по словам ненцев, родовое подразделение *Ладукаӓ* сравнительно недавно выделилось из рода *ӓокадӓта*. Из этого

фамилий, распространенных в Ямальском районе, имеется также и в других ненецких районах Ямало-Ненецкого национального округа (в особенности в Приуральском, Надымском, в меньшей степени в Тазовском).

Среди семей Ямальского полуострова особо выделяются семьи, носящие фамилии *НеркыҮы*, *Пандо*, *Порҕуҕи*, *Сал'андер*, *Тибича*. Фамилии эти расшифровываются на материале ненецкого языка¹. Их носители издавна живут на занимаемой ими сейчас территории; их родным языком является ненецкий язык; по роду своей хозяйственной деятельности, основным чертам материальной культуры, типу жилища, одежды они не отличаются сколько-нибудь существенно от остальной части ненецкого населения. Тем не менее и по их собственному утверждению и по имеющимся представлениям у остального коренного населения Ямальского полуострова члены указанных выше семей имеют не ненецкое, а хантыйское происхождение. У представителей этих фамилий сохраняются некоторые бытовые черты, не характерные для ненцев, но свойственные ханты. В частности, по отношению к женщине у этой группы населения частично сохраняются еще такие пережитки родового строя, которые не отмечены у ненцев. Так, например, на женщину (кроме старух после их «очищения») распространяется запрет в отношении употребления в пищу осетра в каком бы то ни было виде, тогда как ненкам запрещается есть осетра только в определенные периоды времени (разделянием осетра у ненцев занимаются только мужчины); женщины не могут ходить с непокрытой головой и повязывают платок так же, как хантыйки; в особенно тяжелые условия поставлены женщины из этих семей во время родов. Подобные запреты, частично сохраняющиеся до настоящего времени, носят у ненцев название «законов хаби»². В некоторых семьях этой группы пережиточно сохраняется несвойственный ненцам обряд похорон. Например, после смерти какого-либо члена семьи делают специальную куклу (*сидр'аңс*) и обращаются с ней, как с живым человеком; по истечении известного срока эту куклу хоронят, и только тогда производится оплакивание умершего.

В более южных районах расселения ненцев (например, в Приуральском) представители перечисленных выше фамилий еще тесно связаны с нижнеобскими хантами, некоторые лица из этих фамилий (преимущественно старики и отчасти лица среднего возраста) владеют хантыйским языком, наряду с ненецкими носят и хантыйские фамилии. В других не-

же рода выделилась, по-видимому, группа *Jamal*. Такое дробление родов связано, вероятно, с разложением родового строя, интенсивно начавшимся, судя по историческим данным, с середины XIX в. Получившиеся в результате дробления родов более мелкие групповые объединения мы условно именуем семьями, хотя учитываем пережиточно сохранившиеся отличия «семей» этого типа от семей в обычном смысле слова.

¹ Например, *НеркыҮы* обозначает «ивняковый» от слова *нерка* «ивняк», *Сал'андер* «мысовой» (слово сочетание слов *сал'а* «мыс» в форме род. падежа ед. числа и *тер* «содержимое», «житель»). Название *Тибича* образовано, очевидно, от слова *тибеј* «гнилой» и указывает на бедность в прошлом данной группы населения (ср.: *тибеј мал'ч'а* «гнилая, т. е. сильно изношенная и пропотевшая малица», *тибеј'и пиwa* «сильно изношенные пимы» и пр.); надо отметить, что женщина из рода *Тибича* именуется *Тибей'*.

² Слово *хаби*, помимо того, что им обозначают представителей известной части ненецких родов в отличие от другой части ненецких же родов, представители которых именуются *насава*'' (или *ненэј'' ненэц'а''*), имеет в ненецком языке следующие значения: 1) «иноплеменник»; 2) «раб», «работник». В первом значении слово *хаби* служит нарицательным названием для ханты (*хаби*), манси (*сыя' хабисыяңгаби*), селькупов (*тасу' хаби — тасуңгаби*) и кетов (*јенэ'а' хаби — јенэ'аңгаби*). Женщину, взятую ненцем в жены не из своего племени, называют *хабене*. Наличие у слова *хаби* значения «раб», «работник» подтверждается существованием однокоренного глагола *хабиц'* «иметь рабом», «иметь работником». Т. Лехтисало переводит слово *хаби* как «слуга», «остяк» (Т. L e h t i s a l o, Juraksamojedisches Wörterbuch, Helsinki, 1956, стр. 159).

нецких районах Ямало-Ненецкого национального округа среди населения имеются еще некоторые хантыйские по своему происхождению группы, также усвоившие ненецкий язык и основные черты ненецкой материальной культуры¹.

Представители родов *habu* заключают браки с представителями родов *hasawa*². При этом в более северных районах расселения, где прежние ханты были почти полностью ассимилированы, они, по словам ямальских ненцев, прочно вошли в состав определенной ненецкой экзогамной группы, в силу чего могут вступать в брачные отношения с представителями лишь определенной ненецких родов. В низовьях Оби и на южном Ямале, где связь этих групп с хантами выступают более отчетливо, таких ограниченный не существует³.

Вопрос об исторических связях ненцев и ханты не получил достаточного освещения в литературе. Имеются, однако, данные, позволяющие судить о том, что взаимоотношения этих народностей начались в отдаленном прошлом. Упоминания о существовании в северной части Западной Сибири самоедов (ненцев) и остяков (ханты) можно найти уже в русских источниках XVI—XVII вв. В ненецком фольклоре содержится указания на многочисленные военные столкновения ненцев с *habu*, а также и на то, что взятые в плен становились рабами. Наиболее часты упоминания о победителях *hasawa*'' (или *ненэж*'' *ненэц'а*''), сохраняющих жизнь детей побежденных ими *habu* — при этом мальчики становились работниками, пастухами оленеводческих стад, девочки использовались для работы в чуме, а по достижении определенного возраста их можно было брать в жены. В фольклоре имеются также свидетельства того, что *hasawa*'', убив мужчин-*habu*, брали в жены женщин-*habu*.

Из исторических источников XVII и первой четверти XVIII в. известно о вооруженных нападениях ненцев на ханты. Однако социальная сущность этих вооруженных столкновений была уже качественно иной. Как можно судить на основании приведенных в источниках данных, это были в основной своей части налеты ненецких кочевников на хантыйских князьков, которые вместе со своими приверженцами угнетали тундру.

В более позднее время ученые и путешественники, побывавшие в районах расселения ненцев и ханты, отмечали тесные экономические связи между этими народностями, развившиеся на основе различных систем их хозяйства, — широкий обмен продуктами оленеводства, шкурами морских животных, с одной стороны, и продуктами рыболовецкого промысла, изделиями из дерева — с другой. В этом отношении особенно интересны наблюдения акад. В. Ф. Зуева, являвшегося участником знаменитой экспедиции П. С. Палласа в Оренбургский край и Сибирь (1768—1774 гг.)⁴. Характерно, что уже В. Ф. Зуев говорит об определенных группах местного коренного населения, которые «суть как междуумки сих двух народов (т. е. ненцев и ханты. — Н. Т.)... они, замешавшись между сих двух народов, обоих приняли обыкновения и поступки, ибо совсем сходны с самоедскими, сходны и с остяцкими; ...и хотя они жен берут от остяков и самоедцов, но в том нет нисколько затруднения...»⁵. Нам представляется

¹ По свидетельствам ненцев, к роду *НеркыОуы* первоначально относился вышедший из него впоследствии род *Ламдо*, но у представителей этого рода не отмечено обычая *habu*.

² Слово *hasawa*, наряду со словосочетанием *ненэж*'' *ненэц'а*'', является самоназванием ненцев, расселенных восточнее Уральского хребта.

³ На это обстоятельство указывает также Г. Д. Вербов в статье «Пережитки родового строя у ненцев» (сб. «Советская этнография», II, М.—Л., 1939, стр. 61).

⁴ См. В. Ф. Зуев, Материалы по этнографии Сибири XVIII века (1771—1772), М.—Л., 1947, стр. 52.

⁵ Там же, стр. 21—22

вполне вероятным, что В. Ф. Зуев имеет здесь в виду хантыйские по своему происхождению роды, подвергшиеся сильному влиянию со стороны ненцев.

Сходное наблюдение было сделано и финским ученым Т. Лехтисало, который в 1911—1914 гг. собирал материалы по языку и этнографии ненцев: «Если остяк приходит в тундру в качестве пастуха оленеводческого стада, он осамоедывается и получает самоедскую фамилию Сальянтер (житель Обдорска)»¹. Явление это распространено значительно шире, чем можно заключить из приведенного высказывания. Речь может идти об ассимиляции не отдельных пастухов-ханты, а о целой группе хантыйских по своему происхождению родов, однако самый факт, с нашей точки зрения, отмечен правильно.

Все приведенные выше материалы, как нам кажется, свидетельствуют о том, что ханты, расселившиеся в прошлом в собственно тундровых районах с преимущественным ненецким населением, были ассимилированы последним. При этом хантыйский язык оказал заметное влияние на язык ненцев, в первую очередь на его лексический состав и отчасти на фонетику.

*

Несколько иное положение наблюдается по отношению к группе лесных ненцев. По мнению М. А. Кастрена, лесные ненцы представляют собой переходное звено, связующее «...северных самоедов, кочующих у Ледовитого океана, с южными — алтайскими»²; Г. Д. Вербов, специально занимавшийся изучением языка лесных ненцев, считал, что они составляют самостоятельную племенную группу, говорящую на диалекте ненецкого языка, являющемся по отношению к языку тундровых ненцев «архаичным»³.

По данным исследователей⁴, в хозяйственной деятельности лесных ненцев много общего с ханты (олений по окончании «комариного времени»⁵ отпускают в тайгу без специального присмотра, одинаково устроены амбары, употребляются того же образца лодки, летняя обувь⁶). Виды нарт, олени упряжь, способы поимки оленей, тип жилища, одежда, утварь и пр. у лесных ненцев почти не отличаются от того, что характерно для тундровых ненцев.

Лесные ненцы находятся в тесном контакте с хантами главным образом в бассейне рек Агана и Казыма, в районе озера Нум то и на некоторых притоках Ваха. В летнее время ненцы и ханты нередко вместе рыбачат на северных притоках Агана. Большинство аганских ненцев владеет хантыйским языком. Лесные ненцы, кочующие в бассейне реки Пура, хантыйским языком владеют в меньшей степени. Г. Д. Вербов указывает на издавна существующие брачные связи между лесными ненцами и хантами, носящие характер определенной системы⁷.

Контакт между лесными и тундровыми ненцами до последних лет был довольно слабый. Взаимное языковое общение этих двух групп ненцев

¹ Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. XXXIV.

² М. А. Castrén, Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1849, St.-Petersburg, 1856, стр. 67.

³ Г. Д. Вербов, Диалект лесных ненцев (рукопись хранится в архиве Института этнографии Академии наук СССР в Ленинграде).

⁴ Эти данные берутся нами преимущественно из материалов Г. Д. Вербова и Г. Н. Прокофьева.

⁵ «Комариным временем» ненцы называют ту часть лета, когда бывает особенно много комаров (приблизительно июль месяц).

⁶ Летняя обувь из оленьей замши по хантыйскому образцу (*таңад*) распространена также у ямальских и приуральских ненцев.

⁷ Г. Д. Вербов, Пережитки родового строя у ненцев, стр. 59.

значительно затруднено, хотя основные отличия между их наречиями относятся преимущественно к области фонетики и сводятся в основном к следующему: 1) наличие в пуровском и ляминском говорах лесного наречия звуков *t*, *t'*, которые отсутствуют во всех говорах тундрового наречия, но имеются в ряде диалектов хантыйского языка (казымском, сургутском); 2) наличие во всех говорах лесного наречия переднеязычного глухого спиранта, всегда слегка палатализованного и производимого шепеляво — *ш* (в транскрипции Г. Д. Вербова — *ς*); 3) отсутствие в лесном наречии звонких смычных, вместо которых выступают соответствующие глухие¹.

Отличия в области грамматики невелики — оба эти наречия ненецкого языка в полной мере сохранили общие основы грамматического строя.

Большая часть лексических различий объясняется имеющимися между наречиями расхождениями в области фонетики. Звуковая форма значительного числа слов лесного наречия настолько отличается от звуковой формы аналогичных слов тундрового наречия, что для установления общего источника их происхождения требуется специальный фонетический анализ. Ср., например:

большеземель- ский говор тундрового наречия	пуровский говор лесного наречия	
<i>har'o</i>	<i>ka'y</i>	«журавль»
<i>hal'mer</i>	<i>ke'mel</i>	«покойник»
<i>s'ojar'¹</i>	<i>sewał</i>	«дуга (узыбки)»
<i>padara</i>	<i>metala</i>	«лес»
<i>jiiri</i>	<i>niti</i>	«дед»
<i>jab</i>	<i>w'an</i>	«счастье»
<i>jin'a</i>	<i>wiya</i>	«ремень»
<i>tydä'(n)</i>	<i>tytyñ</i>	«кедр»

Говорящими на обоих наречиях слова этого типа воспринимаются обычно как различные.

В силу отличий в звуковом составе рассматриваемых наречий заимствованные из одного и того же языка слова имеют в обоих наречиях разный звуковой облик в зависимости от фонетических норм каждого из них. Так, например, русск. *короса* в тундровом наречии превратилось в *haroša*, а в лесном наречии — в *kolamə²*, слово *русский* в большинстве говоров тундрового наречия звучит, как *луца*, а в лесном наречии, как *туца*, и др.

Во всех этих и подобных им случаях мы имеем дело с регулярными звуковыми соответствиями: начальному звуку *h* большеземельского говора тундрового наречия в пуровском говоре лесного наречия соответствует *к*, звуку *w* — *м*, звуку *j* — *w'* (иногда *h'*), гортанному смычному, чередующемуся с *h*, — звуку *ñ*, звукам *л*, *л'* во всех позициях и звукам *p*, *p'* в первом слове — звуки *t*, *t'*, звуку *h'* — *j*; звонкие смычные заменяются соответствующими глухими; гласный *o* в первом слове заменяется звуком *y*, а гласный *ə* в значительном числе случаев — гласным *ы*.

Вместе с тем различия ряда слов в этих наречиях не могут быть объяснены фонетическими расхождениями. Некоторые из слов лесного наречия, отличающиеся от соответствующих слов тундрового наречия, сближаются с аналогичными словами других самодийских языков. Например:

¹ Ср. тенденцию к оглушению звонких взрывных согласных в восточных говорах тундрового наречия.

² До последнего времени слов, заимствованных из русского языка, в лесном наречии ненецкого языка было относительно немного.

пуровский говор лесного наречия	нганасанский язык	энецкий язык	селькупский язык	камасинский язык	
<i>шē</i>	<i>сиеја</i>	<i>сиоро</i> (<i>вай</i>)	<i>се</i>	<i>сикӓ</i> (<i>џекӓ</i>)	«язык» (анатомический)
<i>ше¹</i>	<i>суа</i>	<i>сӓју</i> (<i>маду</i>)	<i>соа</i>	<i>сӓ</i>	«смола»

«Медведь» у лесных ненцев обозначается словом *апэј*. Слово *апэј*, как и тундровое *н.бид'а*, является подставным названием медведя. Прямым служит редко употребляющееся слово *walk* (ср. тундр. *wark*). Судя по материалам Г. Д. Вербова, слово *апэј* встречается у лесных ненцев в составе названий некоторых других животных, например *јамп апэј* «змея» (*јамп* «длинный», большеземельск. *јамб*), и даже некоторых метеорологических явлений, например: *апэј һа'у* «ливень» (букв.: «сильный дождь»).

Т. Лехтисало сопоставляет слово *апэј* со сходными словами некоторых тюркских и тунгусского языков, в которых слово *абаі* означает «медведь»². В позднейшей по времени работе Т. Лехтисало приводит интересный материал по употреблению слова *апӓ* (*апэј*) у лесных ненцев³.

Ряд слов лесного наречия, не сопоставляемых ни со словами тундрового наречия, ни со словами других самодийских языков, могут быть объяснены из хантыйского языка. Например:

большеземельский говор тундрового наречия	пуровский говор лесного наречия	северные диалекты хантыйского языка	
<i>јуно</i>	<i>лаw</i>	<i>лаw</i> (обдорск.) ⁴ <i>low</i> (казымск.)	«лошадь»
<i>һабарта⁵</i>	<i>күтwaј</i> (<i>күтwaј</i>)	<i>күр(әң) woј</i> ⁶	«лось»
<i>ңум'</i>	<i>тӓнӓ</i>	<i>тӓрн</i> (казымск.) ⁷	«трава»
<i>тӓн</i>	<i>кӓм</i>	<i>кум</i>	«амбар», «сарай»
<i>јӓмбыт⁷ (д)</i>	<i>јетӓс</i>	<i>јернас</i>	«рубашка»
<i>тол</i>	<i>пӓсан</i>	<i>пӓсан</i> (казымск.) <i>пӓсӓн</i> (ваховск.) ⁸	«стол»
<i>туни</i>	<i>пӓска</i>	<i>пушкан</i>	«ружье»
<i>пис'а</i>	<i>јаңкај</i>	<i>јаңкәр</i> (сургутск.) <i>леңкәр</i> (казымск.) <i>леңкәр</i> (ср.-обск.)	«дробовик» «мышь»
<i>јарако</i>	<i>ңомп, ңомпы</i>	<i>эмпи</i> (казымск.) <i>умпә</i> (ср.-обск.)	«ковш», «черпак»
<i>падар⁹</i>	<i>непак, непәк</i>	<i>нәпек</i> (казымск.) <i>һипак</i> (ваховск.)	«бумага»
<i>ңоwц'а</i>	<i>н'аӓк</i>	<i>н'ӓтӓһ, н'отӓи</i> (казымск.)	«пихта»
	<i>ңасне (ңас не)</i>	<i>не ас⁹</i> (обдорск.)	«овца»

¹ У ненцев Таймырского полуострова «смола» обозначается словом *се*('), отсюда глагол *сета(с')* «осмолить», «засмолить», *се*(') *ја(с')* «пахнуть смолой» и др. В приуральском говоре также имеется слово *се*(') (*д*), но в значении «сера» — *һа' се*(') (*һанге*(')) «сера в ушах».

² Т. Lehtisalo, Zur Jagd bei den Juraksamojeden, Helsinki, «Journal de la Société Finno-Ougrienne», t. 30, 1913, стр. 18. В восточных говорах эвенкийского языка медведь называется словом *абэј* [см. «Эвенкийско-русский (тунгусско-русский) словарь», сост. Г. М. Василевич, М., 1940, стр. 181]. В приуральском и ямальском говорах тундрового наречия ненецкого языка также имеется слово *абэј*, обозначающее сильною и часто злого духа.

³ Т. Lehtisalo, Juraksamojedisches Wörterbuch, стр. 10—11.

⁴ Ср. венгерск. *l'o, l'i* «лошадь».

⁵ В дословном переводе означает «очень быстро бегущий», так как глагол *һабарц'* «снять, ободрать шкуру (с крупного животного)» имеет переносное значение «побежать так быстро, словно выскакивая из собственной шкуры». В ямальском говоре «лось» называется *һаборта* (дословно «величавый», от глагола *һаборц'*, *һаборч* «быть величавым»).

⁶ Дословно «ногастый» зверь» (*күр* «нога», *-әң* — суффикс обладания, *woј* «зверь»).

⁷ Ср. коми *турын* «трава».

⁸ Ср. коми *пызан* «стол».

⁹ *Ас* в обдорском диалекте хантыйского языка обозначает «овца», слово *не* — «женщина».

Наблюдающиеся при этом звуковые соответствия сводятся в основном к следующему: звуку *p* хантыйского языка в пуровском говоре лесного наречия соответствует *t*, звуку *n'* — *j*. Имеются и другие звуковые изменения в соответствии со свойственными лесному наречию ненецкого языка фонетическими особенностями: если в хантыйском языке слово начинается с гласного звука, в лесном наречии к нему добавляется начальный заднеязычный *n* (*н*); возможна перестановка звуков и др. Характерно, что в случаях, когда в хантыйском языке основа слова осложнена тем или иным суффиксом, в лесном наречии воспринимается только основа слова.

Даже немногочисленные приведенные примеры могут, с нашей точки зрения, свидетельствовать о том, что тесное общение лесных ненцев в ряде районов их обитания с ханты наложило определенный отпечаток на их язык.

Таким образом, можно говорить о том, что в результате древнего контакта между ненцами и ханты на территории нынешнего Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области имело место как взаимодействие между этими языками, с одной стороны, так и некоторые явления субстратного порядка — с другой.

И. М. БЕРМАН

О «ВСТАВОЧНОМ» ТИПЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Вставочное словообразование, получившее в последние десятилетия значительное распространение в английском языке и особенно в его американском варианте, является сравнительно новым и еще мало изученным способом словообразования. Образованные посредством телескопии («вкладывания») слова (*blends*)¹, или, как мы будем именовать их далее, «вставки»², давно уже перестали быть единичными, случайными образованиями, возникающими в результате произвольного или небрежного обращения со словами³; количество таких слов в современном английском языке исчисляется уже многими десятками.

При вставочном способе словообразования исходные слова (например, *to gallop* «скакать галопом» и *to triumph* «праздновать триумф») как бы «вкладываются» одно в другое, «сплющиваясь» на стыке ($gal + \overset{=lop}{tri} + umph$), а из их «осколков» ($gal + umph$) образуется новое слово-вставка (*to gallumph* «радостно прыгать, скакать»).

Неразработанность теоретических вопросов телескопии и прежде всего отсутствие точного определения самого понятия *blends* являются причиной того, что в существующих работах, связанных с вопросами словообразования, мы часто встречаемся с совершенно противоположной оценкой и различными, не всегда обоснованными толкованиями этого явления. Так, в недавно вышедшем учебнике лексикологии Н. Раевская, не давая определения *blends*, относит к ним такие различные по своей словообразовательной структуре слова, как *brunch* — подлинную вставку (*breakfast + lunch*) и *Eurasia* (*Europa + Asia*) — сложносокращенное слово⁴. Как вставку рассматривает сложное слово *cablegram* К. Т. Баранцев⁵. Аналогичное смешение сложных слов и *blends* мы наблюдаем и в зарубежной литературе: к вставкам относят сложносокращенные слова *Turkhen* (*turkey-hen*)⁶, *Aframerican* (*African + American*)⁷, как телескопические образования рассматривают слова *psycdrama* (*psychological-drama*), *telecast* (*television-[broad]cast*), *cinemascope* (*cinema-scope*), *Dexiecrat* (*Dexie-crat*), *sportcast* (*sport-[broad]cast*)⁸ и т. д.

¹ Л. Кэрролл использовал подобные образования в «Алисе в стране чудес» и других своих книгах; он называл их «portmanteau words».

² Термин «вставка» мы используем здесь в качестве рабочего термина, поскольку он этимологически ближе к английскому термину «telescoping», чем термины «спайка», «слияние», «стяжение», которыми пользуются некоторые авторы.

³ Нельзя согласиться с утверждением Н. Раевской: «...usually blends are the results of a playful attitude towards words...» (N. R a e v s k a y a, English lexicology, [Kiev], 1957, стр. 137).

⁴ Там же, стр. 136—137.

⁵ К. Т. Баранцев, Курс лексикології сучасної англійської мови, Київ, 1955, стр. 92.

⁶ A. G. K e n n e d y, Current English, Boston, 1935, стр. 131.

⁷ H. L. M e n s k e n, The American language, New York, 1946, стр. 171.

⁸ M. M. B r y a n t, Research in the English language, «The bull. of the National association of secondary-school principals», Washington, Sept. 1956, стр. 16.

Безусловно, назрела необходимость на основе исследования словообразовательной структуры вставок и их коренных свойств дать определение понятия *blends*¹.

Анализируя слова *radiotrician*, *airmada*, *motorcade*, *walkathon*, мы убеждаемся в том, что от н е п р о и з в о д н ы х слов они отличаются своим двухэлементным составом. В этих словах легко выделяется полнозначная основа (*radio-*, *air-*, *motor-*, *walk-*) и остаточно выделенный элемент (*-trician*, *-mada*, *-cade*, *-athon*). От производных суффиксальных слов (*academician* — *academ-ician*), при одинаковом количестве составляющих элементов, указанные слова отличаются тем, что остаточно выделенный элемент (*-trician*, *-cade* и т. д.) не является суффиксом. Отличаются приведенные слова и от с л о ж н ы х, так как второй их элемент не является самостоятельной основой. Подобные приведенным выше слова *travolator*, *motel*, *Gyrene* и т. д. нельзя отнести и к какому-либо типу а б б р е в и а т у р, поскольку вторая часть этих слов (*-lator*, *-tel*, *-rene*), выделяемая остаточной, ни усеченной основой, ни суффиксом не является.

Таким образом, ни к одному из имеющихся в словообразовании структурных типов телескопические слова отнести нельзя.

Сравнивая слова *radiotrician* (*radio—electrician*) «радиотехник», *airmada* (*air—armada*) «крупные воздушные силы», *motorcade* (*motor/car—cavalcade*) «автоколонна», *walkathon* (*walking—Marathon/race*) «соревнования в ходьбе на большие дистанции», *travolator* (*travel—escalator*) «ленточный транспортер для подъема на горы», *motel* (*motorist—hotel*) «придорожная гостиница для автомобилистов», *dunch* (*dine—lunch*) «рано обедать», *smog* (*smoke—fog*) «туман с дымом», *scurry* (*scatter—hurry*) «сношать, суетиться», *Gyrene* (*GI—marine*) «солдат морской пехоты», мы отмечаем, что в каком бы варианте ни входил первый компонент в состав этих слов (в виде полной основы *motor-*, в виде ее заместителя — слогового *mo-* либо буквенного сокращения *sm-*, *Gy-*), второй их элемент никогда не представлен корневой морфемой.

Приведенный анализ позволяет прийти к следующему определению слов этого типа: вставками («*blends*») н а з ы в а ю т с я с л о в а, о б р а з о в а н н ы е п у т е м с о ч е т а н и я п е р в о й и с х о д н о й о с н о в ы (л и б о е е з а м е с т и т е л я в в и д е с о к р а щ е н и я) с «о с к о л к о м» в т о р о й и с х о д н о й о с н о в ы. Под «осколком» при этом мы понимаем вторую часть вставки, представленную обязательно конечной несуффиксальной частью второй исходной основы, в некоторых случаях с сохранением в своем составе суффикса (*-trician*). Образуется «осколок» путем усечения н а ч а л а корневой морфемы. От вставка (*blends*) следует отмежевать подлинные контаминации, т. е. случаи неупорядоченного объединения двух слов в одно (например, *chartle* от *chackle—snort*).

По характеру сочетающихся частей вставки можно подразделить на «полные», «частичные» и «накладки». К «полным» вставкам относятся слова, первая часть которых представлена усеченной основой (*scurry*, *gallumph*). Среди полных вставок можно выделить слова, первый элемент которых представлен неслоговым (*dunch*, *smog*) и слоговым сокращением (*motel*). Во вставках этой группы отмечается наличие соединительного гласного (*trav-o-lator*, *clean-e-teria*, *hat-a-teria*). К «частичным» вставкам относятся телескопические слова, первый элемент которых представлен

¹ Телескопия свойственна не только английскому языку. Примеры телескопических слов мы встречаем в немецком, например *Krad* (*Kraft-Rad*) «мотоцикл», *Moped* (*Motor-Voloziped*) «легкий мотоцикл», и французском (*cafetier—café+cabaretier*), и в русском языках, например *пирамейн* (*пирамидон+кофеин*)

неусеченной основой (*motorcade, airmada*). К «накладкам» относятся телескопические слова, у которых на стыке элементов встречаются одинаковые звуки, так что бывает трудно определить, к какой из частей вставки данный звук относится (*steel + millionair = steelionair* «владелец крупных металлургических предприятий»; *river + panorama = riverama* «водноспортивное выступление на реке»).

Вопреки отношению некоторых лингвистов к телескопическим словам как к словам сленга, следует указать на то, что широкое распространение вставок как в технической терминологии, так и в общезыковой лексике полностью опровергает это необоснованное мнение.

В последнее время в связи с развитием атомистики получили широкое распространение термины-вставки, например, *positron* (*positive — electron*) «позитрон», *mesotron* (*meso — electron*) «мезотрон», *cyclotron* (*cycle — electron*) «циклотрон»; очень употребительны технические термины *travolator* (см. выше), *towveyor* (*tow — conveyor*) «конвейерное устройство для буксировки тележек», *carbology* (*carbide-o-alloy*) «специальный сплав», *electrolier* (*electricity-o-chandelier*) «люстра» и др.; как в разговорном языке, так и в прессе широко используются вставки *electrocute* (*electricity o-execute*) «казнить на электрическом стуле», *cinerama* (*cinema — panorama*) «кинотеатр с круговым экраном», *gaseteria* (*gas-cafeteria*) «заправочная бензоколонка»; наконец, *nylon*, *rayon*, *silon* «виды искусственных тканей»¹.

Таким образом, наблюдения показывают, что многие вставки заняли прочное место в словарном составе английского языка. Постоянное увеличение количества вставок при стабилизации осколочного элемента (*electron: positron, cyclotron, mesotron, phasitron, kenotron* и т. д.; ср. *sandelier: electrolier, gasolier; alloy: carbology, pardology; cotton: nylon, silon, rayon; panorama: cinerama, powerama, cosmorama, riverama, sale-orama, speedorama; hotel: motel, autel; lunch: dunch, brunch; hurry: flurry, scurry* и т. д.) требует внимательного изучения этого нового словообразовательного процесса.

Несмотря на существенное отличие вставок от непроизводных, производных, сложных и сложнопроизводных слов, выделение телескопии в специальный тип словообразования все же не представляется целесообразным, поскольку вставки по своему характеру в той или иной степени тяготеют к одному из установленных в словообразовании типов, проявляя тенденцию к полному переходу в какой-либо из них.

Действительно, вставка *walkathon* обнаруживает двухэлементный состав и, таким образом, противостоит непроизводным словам, но в то же время *walkathon* приближается к ним, поскольку в языке отсутствуют суффикс или основа *-athon*. По приведенным соображениям вставка *electrolier* также в какой-то степени близка к непроизводным словам, однако наличие ряда *chandelier, gasolier, electrolier* указывает на начинающийся процесс суффигования осколка *-lier* и приближает вставки к производным словам. А ведь надо признать, что потенциальная возможность суффигования осколков обнаруживается в любом ряду «исходное слово — вставка», даже если данный осколок не используется для образования других вставок (*execute — electrocute*). Не приходится сомневаться, что осколок *-tron* (*positron* и т. п.), выделенный на основе переразложения из *electron*, а также *-on* (*nylon* и т. п.), *-teria* (*gaseteria* и т. д.), *-rama* (*cinerama* и т. д.) прошли уже значительный путь в сторону их суффигования.

¹ В немецкой литературе в последнее время широко используются слова *Lanon, Crylon, Wolcrylon, Trelon* и др. под., обозначающие виды искусственных тканей.

рования. Близость вставок к сложным словам ясно обнаруживается на примере перехода первоначального осколка *-bus* (*omnibus*, *autobus*) в компонент сложных слов (*autobus*, *motorbus*, *trolleybus*, недавно возникшие *airbus* «многоместный пассажирский самолет», *railbus* «тип железнодорожного вагона», *gyrobus* «железнодорожный вагон с гироскопическим устройством»).

Проведенный анализ явно обнаруживает пограничный характер телекопии по отношению к другим способам образования слов, что снимает вопрос о целесообразности выделения ее в отдельный вид словообразования. Наблюдения над вставками дают прекрасный материал для иллюстрации диалектических взаимосвязей языковых явлений. Вставки являются наглядным свидетельством развития словообразовательной структуры и словарного состава языка.

Н. Д. АРТЕМЮК

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
СЛОВАРНОГО СОСТАВА РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

Когда говорят о сравнительном исследовании словарного состава родственных языков, в первую очередь имеют в виду сравнительное исследование исконно общих элементов словарного состава, исследование изменений значения и употребления этих элементов в ходе исторического развития этих языков. В настоящем сообщении мы попытаемся кратко изложить результаты проведенного нами сравнительного изучения группы родственных по происхождению глаголов — *do* и *make* в английском языке и глаголов *tun* и *machen* в немецком языке, основным значением которых во все периоды развития этих языков было значение «делать». Порядок исследования определялся тем, что глаголы *do* и *make*, *tun* и *machen* употреблялись в целом ряде свободных синтаксических сочетаний, причем употребительность этих глаголов в каждом отдельном сочетании в ходе исторического развития языка изменялась по-разному. Исследование произведено на основе анализа материала значительного количества памятников древнего и среднего периодов развития английского и немецкого языков и ряда произведений писателей нового периода. Сопоставительное исследование показало, что в развитии глаголов *do* и *make* в английском языке и глаголов *tun* и *machen* в немецком языке наблюдаются некоторые общие тенденции, обусловленные родством английского и немецкого языков. Эти общие тенденции проявляются в том, что глаголы *do* и *tun* в ряде свободных синтаксических сочетаний постепенно выходят из употребления, тогда как употребительность глаголов *make* и *machen* все расширяется. Так, в древний период глаголы *do* и *tun* широко употреблялись в сочетании с прилагательным в функции дополнительного предикативного члена [значение «сделать кого-либо (что-либо) каким-либо»]: англ. «...and gedð us stren gran» (Aelfric, De veteri et de novo testamento) «сделай нас сильнее»; нем. «...Si sía immortalem getūon uuól ti» (Notker, L. Marcius Capella, De Nuptiis Philologiae et Mercurii) «...она хотела сделать себя бессмертной». В памятниках же среднего периода глаголы *do* и *tun* встречаются в этом сочетании лишь в немногих случаях, а глаголы *make* и *machen* употребляются очень широко.

К началу среднего периода глаголы *do* и *tun* оказываются практически вытесненными глаголами *make* и *machen* и из сочетания с существительным в функции дополнительного предикативного члена. Одной из причин вытеснения глаголов *do* и *tun* из сочетаний с прилагательным и с существительным в функции дополнительного предикативного члена было, по-видимому, то, что глаголы *do* и *make* в английском языке и глаголы *tun* и *machen* в немецком языке были в указанных сочетаниях абсолютными синонимами.

Постепенное вытеснение глаголов *do* и *tun* глаголами *make* и *machen* происходило и в сочетании с инфинитивом в функции дополнительного предикативного члена. Однако в развитии глаголов *do* и *make* в этом со-

четании в английском языке и глаголов *tun* и *machen* в немецком языке наблюдаются большие различия, что оказало значительное влияние на употребление этих глаголов и в других сочетаниях. В сочетании с инфинитивом исследуемые глаголы выражают действие, являющееся причиной другого действия. В древнеанглийских памятниках глагол *do* употребляется в этом сочетании в единичных случаях, глагол *make* не встречается: «Ond heo swa swiðe leornunge... hire underþeodde dyde to bigongenne þætte...» (The old English version of Bede's ecclesiastical history) «И она так быстро заставила своих подчиненных начать изучение, что...». В противоположность этому в древневерхненемецких памятниках встречается свыше 50 случаев употребления глагола *tun* и 4 случая употребления глагола *machen* в этом сочетании. Таким образом, употребительность глагола *tun* в немецких памятниках в разбираемом сочетании несколько выше, чем употребительность глагола *do* в английских памятниках. Однако в дальнейшем развитии немецкого языка ни сочетания с глаголом *tun*, ни сочетания с глаголом *machen* почти не используются в качестве средства выражения каузативности в наиболее общем виде. Глагол *tun* выходит из употребления в этом сочетании уже в средневерхненемецкий период¹. Несколько примеров употребления глагола *machen* в этом сочетании встречается и в произведениях современных немецких писателей, ср. «...Herkules, den Omphale spinnen macht» (L. Feuchtwanger, Goya) — «Геркулес, которого Омфала заставляет прясть»; однако эти примеры, как и немногочисленные примеры употребления глаголов *tun* и *machen* в этом сочетании в памятниках древнего и среднего периодов, являются отдельными образованиями по имеющимся синтаксическим моделям, обусловленными основным значением этих глаголов.

В английском языке развитие изучаемых глаголов шло иными путями. В памятниках среднеанглийского периода сочетания глаголов *do* и *make* с инфинитивом в функции дополнительного предикативного члена широко употребляются как средство выражения каузативности. Судя по материалу памятников, значения этих сочетаний не различались: «þe blonderes... doþ ham slepe ine hare zenne be hare uayre zang» (Dan Michels Aeyenbite of Inwyt) «...льстецы... своим сладким пением заставляют их засыпать в своем грехе»; ср. «...þe blonderes. þet be hare uayre zang makeþ slepe þet uolk...» (там же) «...льстецы, которые своим сладким пением заставляют народ спать...». В ходе дальнейшего развития английского языка произошло вытеснение глагола *do* глаголом *make* из свободного сочетания с инфинитивом в функции дополнительного предикативного члена². Это вытеснение было ускорено тем, что в среднеанглийский период в языке возникла необходимость во вспомогательном глаголе для образования вопросительной и отрицательной форм. Сочетание глагола *make* с инфинитивом в функции прямого дополнения широко употребляется в качестве средства выражения каузативности и в современном английском языке: «She made me suffer» (Galsworthy, To let) «Она заставила меня страдать».

Таким образом, в английском языке произошла дифференциация в употреблении глаголов *do* и *make* в сочетании с инфинитивом. Исходным в этом процессе явилась не большая или меньшая выразительность сочетаний с глаголом *do* или *make*, а совпадение по значению сочетаний глаго-

¹ По наблюдениям Е. Вайс (см. E. Weiss, *Tun: machen*, Bezeichnungen für die kausative und die periphrastische Funktion im Deutschen bis um 1400, Uppsala, 1956) глагол *tun* в каузативной функции был вытеснен глаголом *machen* к 1400 г. и с этого времени употребляется в сочетании с инфинитивом только для образования описательной формы глагола.

² См. V. Engblom, *On the origin and early development of the auxiliary do*, Lund, 1938.

лов *do* и *make* с неопределенной формой глагола в функции дополнительного предикативного члена при более отвлеченном характере основного значения глагола *do*.

Различия в развитии английских глаголов *do* и *make* и немецких глаголов *tun* и *machen* в сочетании с существительным в функции дополнительного предикативного члена оказали влияние на развитие сочетания этих глаголов с существительными в функции прямого дополнения. Глаголы *do* и *make*, *tun* и *machen* выступают в этом сочетании, в зависимости от вида объектной связи, в значении «делать, создавать, иметь результатом» или в значении «делать, совершать»¹. В ходе развития английского и немецкого языков происходило вытеснение глагола *do* глаголом *make* и глагола *tun* глаголом *machen* из указанного сочетания; в этом вытеснении проявилось постепенное абстрагирование основного значения глаголов *do* и *tun*. О более конкретном характере значения глаголов *do* и *tun* в древний период свидетельствует возможность их употребления в сочетании с существительными, обозначающими предметы и живых существ: англ. «...melke hig tweowa on dæg... >cyse> buteran ich do...» (Aelfric, Colloquy) «...дою их дважды в день... и сыр, и масло я делаю...»; нем. «In dhemu eristin chiteda got himil endi aertha» (Der althochdeutsche Isidor) «Вначале бог сделал небо и землю...». В средний период глаголы *do* и *tun* широко употребляются в этом сочетании лишь в значении «делать, совершать». В новый период употребление *do* и *tun* в этом значении остается продуктивным в сочетании с существительными, образованными от основы прилагательного. Наряду с этим сохраняется употребление глаголов *do* и *tun* в указанном значении с рядом существительных, в сочетании с которыми данные глаголы употреблялись в средний период. В немецком языке глагол *tun* продолжает вытесняться и из рассмотренных сочетаний, о чем свидетельствует возможность употребления с одним и тем же существительным в том же значении как глагола *tun*, так и глагола *machen*: «...mechanisch tat er die notwendigen Handgriffe» (W. Bredel, Söhne) «механически он делал необходимые движения»; ср. «Die paar Handgriffe waren bald gemacht» (там же) «эти немногие движения вскоре были сделаны».

В английском языке, где глагол *do* употребляется и как служебный глагол, появилась возможность употребления глагола *do* в сочетании с существительным в функции прямого дополнения в отвлеченном значении «делать» для обозначения действия в наиболее общем виде. Это проявляется при употреблении глагола *do* в предложениях типа *to do one's hair* «приводить в порядок волосы», *to do fowls* «приготавливать птицу», *to do a cross-word puzzle* «разгадывать кроссворд» и др.².

Различия в развитии глаголов *do* и *make* в английском языке и глаголов *tun* и *machen* в немецком, обусловленные особенностями развития английского и немецкого языков как систем, проявляются и в сочетании «глагол + местоимение в функции прямого дополнения». Мы имеем в виду сочетание с местоимениями, указывающими на существительные (типа *Что он делает? Он делает стол*). В этих сочетаниях употребление глаголов *do* и *make*, *tun* и *machen* в значении «делать, создавать» во все периоды развития английского и немецкого языков совпадает с их употреблением с соответствующими существительными. В современных английском и немецком языках в указанных сочетаниях употребляются глаголы *make*

¹ О видах объектной связи см.: В. Н. Ярцева, О двух приглагольных дополнениях, «Ин. яз. в шк.», 1948, № 3.

² G. Kirchner, Die zehn Hauptverben des Englischen im Britischen und Amerikanischen, Halle, 1952.

и *machen*. В значении «делать, совершать» в этих сочетаниях в английском языке употребляется глагол *do*, в немецком, за небольшим исключением, — глагол *tun*. Различия отчетливо проявляются в сочетании с местоимениями, указывающими на действие, выраженное в предыдущем или последующем предложении или части предложения (типа *Что ты делаешь сегодня вечером? Я иду в театр*). Здесь мы можем говорить о безобъектном употреблении переходного глагола. В этой функции в английском языке во все периоды его развития употребляется глагол *do*: «„Go in, and win“ — an admirable thing to recomend, if you only know, how to do it» (Ch. Dickens, The posthumous papers of the Pickwick club). «„Войди и выиграй“, — такую вещь очень легко рекомендовать, когда знаешь, как это сделать». В новоанглийский период, когда в английском языке приобретает большое значение структурная законченность предложения, из этого полуслужебного употребления глагола *do* развивается его чисто служебное употребление как глагола-заместителя: «...I knew he liked to sing — good singers generally do» (Ch. Bronte, Jane Eyre) «Я знала, что он любит петь — хорошие певцы обычно любят петь». Таким образом, в английском языке произошло разграничение функций *make* и *do*: *make* употребляется только в сочетании с местоимениями, указывающими на существительное, и имеет значение «делать, создавать», глагол *do* употребляется в полуслужебной функции для обозначения в наиболее общем виде любого действия. В общенародном немецком языке не возникло необходимости ни во вспомогательном глаголе для образования вопросительной и отрицательной форм, ни в глаголе-заместителе. Это сказалось на употреблении глаголов *tun* и *machen* в качестве безобъектных переходных глаголов. В этой функции в современном немецком языке употребляются как глагол *tun*, так и глагол *machen*. Различие состоит в том, что глагол *tun* имеет в этом сочетании более отвлеченное значение, тогда как глагол *machen* может передавать различные оттенки значения «делать»: «Dieser verdammte Krieg — was hat er uns gemacht» (H. Fallada, Der Alpdruck) «Эта проклятая война, что она нам причинила»; «O, Hundesdasein, wenn man nichts machen kann» (Th. Mann, Doktor Faustus) «O, проклятое положение, когда ничего нельзя сделать (найти выход)» и др. Все расширяющееся употребление глагола *machen* как безобъектного переходного глагола показывает, что в немецком языке происходит процесс постепенного вытеснения глагола *tun* глаголом *machen* и из сочетания с местоимением в функции прямого дополнения.

В рамках небольшого сообщения нет возможности подробно остановиться на непереходном употреблении глаголов *do* и *make*, *tun* и *machen* и на их употреблении в сочетании с наречиями или существительными с предлогом в функции обстоятельства места. Отметим только, что глаголы *do* и *tun*, нередко встречающиеся в памятниках древнего и среднего периодов как непереходные глаголы в значении «делать, действовать», перестали употребляться в этом значении после того, как в английском и немецком языках появились глаголы, основным значением которых было значение «действовать» (глагол *act* в английском языке и глагол *handeln* — в немецком). В отношении сочетания с наречием или существительным с предлогом в функции обстоятельства места отметим, что в памятниках древнего и среднего периодов развития английского и немецкого языков широко употребляются глаголы *do* и *tun* в общем значении «класть, помещать» и что единичные случаи употребления глаголов *do* и *tun* в этом сочетании встречаются в произведениях английских и немецких писателей XIX—XX вв. В английском языке подобные случаи не являются возрождением старого употребления глагола *do* в значении «класть, помещать». Они объясняются широким употреблением глагола:

do для обозначения в наиболее общем виде любого действия: «Mr Perker's people's gone, and I'm a going to do the office out (Ch. Dickens, The posthumous papers of the Pickwick club) «Служащие мистера Перкера ушли, и я сейчас уберу контору». В немецком языке единичные употребления глагола *tun* в этом сочетании являются пережиточными случаями употребления глагола *tun* в значении «класть, помещать»: «Er öffnete den Beutel, in den er alles getan hatte» (E. Claudius, Menschen an unserer Seite) «Он открыл сумку, в которую все положил».

Таким образом, семантико-синтаксическое исследование глаголов *do* и *make*, *tun* и *machen*, основным значением которых в древний период развития английского и немецкого языков было значение «делать», позволяет проследить, как на основе развития лексического значения глагола развивается (если этого требует система языка) грамматическая абстракция и как, в свою очередь, факт употребления данного глагола в служебной функции влияет на его превращение в знаменательный глагол.

У. Ш. БАЙЧУРА

ХАРАКТЕР УДАРЕНИЯ В МИШАРСКО-ТАТАРСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Исследование мишарско-татарского ударения проводилось путем записи на кимографе изолированных слов в произношении двух представителей молодого поколения — уроженцев Чистопольского и Кызылармейского районов Татарской АССР (так называемых чистопольских мишарей). Скорость хода кимографа — 250 мм/сек., 1 мм равен 0,4δ, или 4 миллисекунды.

При расшифровке записей вычислялась высота тона и интенсивность по отдельным вибрациям ртовой кривой. Затем были вычислены средние величины для 21 двусложного слова. В качестве показателя интенсивности было взято отношение амплитуды к длине, как это обычно принято, ибо для разрешения языковых, довольно простых с физической точки зрения вопросов важными являются не абсолютные величины, а относительные. Поэтому термин «интенсивность» употребляется здесь условно.

Результаты вычислений, приводимые в сводных таблицах, показывают, что, в отличие от казанско-татарского языка, в мишарско-татарском говоре наблюдается сохранение динамического ударения на первом слоге двусложного слова, в то время как во втором слоге отмечено значительное повышение основного тона. Это особенно наглядно видно на примере диктора С., происходящего из Кызылармейского района, и может быть иллюстрировано следующим образом:

Таблица 1

№№	Слова	Перевод	1-й гласный	2-й гласный
1	<i>ата</i>	«отец»	I	t
2	<i>апа</i>	«тетя»	I	t
3	<i>атта</i>	«на лошади»	I	t
4	<i>аптак</i>	«белый-белый»	I	t
5	<i>кашык</i>	«ложка»	I	t
6	<i>кадак</i>	«гвоздь»	I	t
7	<i>кетеп</i>	«ожидая»	—	t

Увеличение относительной интенсивности обозначается условно буквой I, повышение тона — буквой t (берутся средние величины для каждого гласного). Отсутствие динамического ударения на первом слоге слова *кетеп* «ожидая» объясняется сильной редукцией гласного первого слога.

Сложнее обстоит дело с диктором Б., уроженцем Чистопольского района. Здесь имеем картину, приведенную в табл. 2.

Средняя интенсивность и высота основного тона первого гласного в сравнении со вторым гласным выше, если первый слог закрытый, а вто-

рой открытый. В этом случае динамическое и тоническое ударения совпадают (см. №№ 5—8). Если оба слога закрыты, в большинстве случаев имеем ту же картину (см. №№ 9—12, 14). Однако слово *баткак* (№ 10) представляет исключение, что, возможно, связано со стремлением дикто-

Таблица 2

№№	Слова	Перевод	1-й гласный	2-й гласный
1	<i>апа</i>	«тетя»		(I) t
2	»	»		(I) t
3	<i>бака</i>	«лягушка»	I	t
4	»	»	I	t
5	<i>апта</i>	«на лошади»	I, t	
6	»	»	I, t	
7	<i>такта</i>	«доска»	I, t	
8	»	»	I, t	
9	<i>баткак</i>	«грязь, грязно»	I	(t)
10	»	»		I, t
11	<i>аптак</i>	«белый-белый»	I, t	
12	»	»	I, t	
13	<i>кадак</i>	«гвоздь»		I, (t)
14	<i>капчык</i>	«мешок»	I, t	

ра Б. подражать литературному казанско-татарскому произношению. В № 9 (слово *баткак*) динамическое ударение падает на первый слог, а повышение основного тона во втором гласном весьма незначительно и практически не может быть принято во внимание. Если первый слог открытый, а второй — закрытый, динамическое ударение падает на второй слог (№ 13). Однако повышение тона на втором слоге весьма незначительно.

В словах, где оба слога открыты, тоническое ударение падает на второй слог, а интенсивность обоих гласных может быть почти одинаковой. При этом в словах типа *бака*, где первый слог закрыт слева, наблюдается увеличение относительной интенсивности первого гласного и повышение основного тона второго гласного.

Таким образом, по данным диктора Б., ударение в мишарско-татарском диалекте может в известной мере зависеть от фонетического положения гласного в слове.

Общим для обоих дикторов является тенденция произносить двухсложные слова с силовым ударением на первом слоге и с тоническим ударением на втором, причем это подтверждается и слуховыми наблюдениями. В целом ударение в мишарско-татарском диалекте выражено слабее, чем в казанско-татарском, где максимумы интенсивности и высоты основного тона обычно совпадают и приходятся на последний слог.

В тех случаях, когда, по данным диктора Б., тоническое ударение падает на первый слог, оно обычно сильнее, чем тогда, когда повышение тона приходится на второй слог. То же самое относится к интенсивности. По данным диктора С., силовое ударение во всех случаях приходится на первый слог.

Указанные особенности мишарско-татарского произношения могут стоять в связи с наличием финского субстрата или с другого рода взаимодействием с финно-угорскими народами, если только эти особенности не являются отражением древнейшего состояния урало-алтайского языко-

№№	Слова	Средняя высота тона		Интервал		
		гласный 1-го слога	гласный 2-го слога	в герцах	в тонах	в единицах музыкаль- ной шкалы (a ¹ =435 гц)
Диктор С.						
1	<i>ата (ata)</i>	294,1	400,0	105,9	2,5 ⁺	d ¹ —(g ¹ —gis ¹)
2	<i>апа (apa)</i>	286,4	350,6	64,2	1,5 ⁺	(cis ¹ —d ¹)—f ¹
3	<i>атта (atta)</i>	284,2	384,6	100,5	2 ⁺	(cis ¹ —d ¹)—g ¹
4	<i>аппак (аррак)</i>	320,5	384,6	64,1	1,5	e ¹ —g ¹
5	<i>кадак (kadak)</i>	301,2	342,5	41,3	1 ⁺	(d ¹ —dis ¹)—f ¹
6	<i>кашык (kašyik)</i>	280,9	342,5	61,6	1,5 ⁺	(cis ¹ —d ¹)—f ¹
7	<i>кетеп (kiṭip)</i>	287,3	342,5	55,2	1,5	d ¹ —f ¹
8	В среднем	293,5	363,9	70,4	2 ⁻	d ¹ —fis ¹
Диктор Б.						
1	<i>апа (apa)</i>	125,0	133,7	8,7	0,5 ⁺	(H—c)—(c—cis)
2	<i>апа (apa)</i>	108,4	112,9	4,5	0,5 ⁻	A—(A—Ais)
3	<i>бака (baka)</i>	114,2	126,9	12,7	1,0	(A—Ais)—(H—c)
4	<i>бака (baka)</i>	102,9	111,6	8,7	3/4	Gis—(A—Ais)
5	<i>атта (atta)</i>	145,0	89,9	55,1	4,0 ⁺	d—(F—Fis)
6	<i>атта (atta)</i>	146,2	122,0	24,2	1,5	d—H
7	<i>такта (takta)</i>	136,2	127,8	8,4	0,5 ⁻	(c—cis)—c
8	<i>такта (takta)</i>	159,4	129,5	29,9	2 ⁻	(dis—e)—c
9	<i>баткак (batkak)</i>	126,6	128,9	2,3	—	(c—H)—c
10	<i>баткак (batkak)</i>	128,9	133,7	4,8	1/4 ⁻	c—(c—cis)
11	<i>аппак (аррак)</i>	149,0	135,1	13,9	3/4	(d—dis)—(c—cis)
12	<i>аппак (аррак)</i>	145,3	132,3	13,0	3/4	d—(c—cis)
13	<i>кадак (kadak)</i>	128,5	129,9	1,4	—	c—c
14	<i>капчык (карсык)</i>	147,1	139,7	7,4	0,5 ⁻	(d—dis)—(cis—d)

Примечания: 1) знак + обозначает величину несколько большую, знак — обозначает величину несколько меньшую; 2) (d¹—dis¹) обозначает величину, промежуточную между dis¹ и d¹.

Таблица 4

№№	Слова	Дикторы	Интенсивность 1-го гласного	Интенсивность 2-го гласного	Отношение I ₁ к I ₂ в %
1	<i>апа</i>	Б.	0,48	0,52	92,3
2	<i>апа</i>	"	0,63	0,65	96,9
3	<i>бака</i>	"	0,66	0,51	129,4
4	<i>бака</i>	"	0,62	0,55	112,7
5	<i>атта</i>	"	0,84	0,61	137,7
6	<i>атта</i>	"	0,97	0,67	144,8
7	<i>такта</i>	"	1,04	0,58	179,3
8	<i>такта</i>	"	1,59	0,70	227,1
9	<i>баткак</i>	"	0,69	0,52	132,7
10	<i>баткак</i>	"	0,71	0,90	78,8
11	<i>аппак</i>	"	1,12	0,82	136,6
12	<i>аппак</i>	"	1,14	0,96	118,7
13	<i>кадак</i>	"	0,80	1,03	77,7
14	<i>капчык</i>	"	1,08	0,79	136,7
15	<i>апа</i>	С.	2,63	2,22	118,4
16	<i>ата</i>	"	3,33	2,38	140,0
17	<i>атта</i>	"	3,00	2,33	128,7
18	<i>аппак</i>	"	2,21	2,00	110,5
19	<i>кадак</i>	"	3,90	2,93	133,1
20	<i>кетеп</i>	"	1,61	1,65	97,6

Таблица 5

№№	Слова	Гласный 1-го слога			Гласный 2-го слога		
		средняя интенсивность	средняя высота тона	длительность	средняя интенсивность	средняя высота тона	длительность
Диктор С.							
1	<i>ата (ata)</i>	3,33	294,1 Гц	9,48 σ	2,38	400,0 Гц	17,50 σ
2	<i>апа (apa)</i>	2,63	286,4 "	9,08 "	2,22	350,6 "	17,40 "
3	<i>атта (atta)</i>	3,00	284,1 "	10,02 "	2,33	384,6 "	15,80 "
4	<i>аппак (appak)</i>	2,21	320,5 "	10,00 "	2,00	384,6 "	13,48 "
5	<i>кадак (kadak)</i>	3,90	301,2 "	12,02 "	2,93	342,5 "	19,84 "
6	<i>кашык (kaşyk)</i>	1,66	280,9 "	8,54 "	1,44	342,5 "	8,46 "
7	<i>кетеп (kitip)</i>	1,61	287,3 "	3,48 "	1,65	342,5 "	11,66 "
8	В среднем	2,62	293,5 "		2,13	363,9 "	
Диктор Б.							
1	<i>апа (apa)</i>	0,48	125,0 Гц	13,58 σ	0,52	133,7 Гц	17,24 σ
2	"	0,63	108,4 "	12,92 "	0,65	112,9 "	22,14 "
3	<i>бака (baka)</i>	0,66	114,2 "	13,12 "	0,51	126,9 "	24,42 "
4	"	0,62	102,9 "	11,68 "	0,55	111,6 "	26,86 "
5	<i>атта (atta)</i>	0,84	145,0 "	11,06 "	0,61	89,9 "	32,38 "
6	"	0,97	146,2 "	8,88 "	0,67	122,0 "	20,46 "
7	<i>такта (takta)</i>	1,04	136,2 "	7,34 "	0,58	127,8 "	20,34 "
8	"	1,59	159,4 "	8,18 "	0,70	129,5 "	24,68 "
9	<i>баткак (batkak)</i>	0,69	126,6 "	10,26 "	0,52	128,9 "	13,94 "
10	"	0,71	128,9 "	10,08 "	0,90	133,7 "	11,20 "
11	<i>аппак (appak)</i>	1,12	149,0 "	10,72 "	0,82	135,1 "	14,08 "
12	"	1,14	145,3 "	11,72 "	0,96	132,3 "	12,84 "
13	<i>кадак (kadak)</i>	0,80	128,5 "	5,46 "	1,03	129,9 "	9,24 "
14	<i>капчык (karçyk)</i>	1,08	147,1 "	8,14 "	0,79	139,7 "	7,86 "

Примечание: средние цифры в вводились для соизмеримых величин.

Б. А. МАРГАРЯН

О СЛОВЕ *ПОЧТА*

А. В. Исаченко в своей рецензии на книгу П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии» одним из недостатков «Очерка» считает то, что в некоторых главах П. Я. Черных не использовал результаты новейших исследований¹. Однако приводимые им в качестве возражения П. Я. Черных примеры показывают, что сам рецензент в некоторых случаях стоит на устаревших позициях и с трудом соглашается с иной, более новой точкой зрения на историю отдельных слов. П. Я. Черных на конкретном материале памятников XVII — начала XVIII в. убедительно показывает, что слово *почта* попало в русский язык непосредственно из немецкого языка². А. В. Исаченко в своей рецензии категорически утверждает, что «непосредственным источником является, конечно, польская форма *poczta*»³. Это не может не вызвать возражений. В XVI—XVII вв. западноевропейские слова поступали в русский язык не только через польское посредство, но и непосредственно из западноевропейских языков.

По материалам Картотеки древнерусского словаря слово *почта* впервые встречается в памятниках XVI в.: «Списокъ съ оршанскіе росписи. Реистръ почтовъ ихъ панов радъ пословъ напервый. Почту его милости пана Скратошина» [Памят. дипл. М. Г. (П. — Лит.), 1570, т. III, стр. 620—621; СПб., 1892]; «Ото всѣхъ же четырехъ странъ также устроено присылныхъ и храбрыхъ мужей, нѣкоторыхъ и зъ большими почты» (Курбский, Ист., т. I, РИБ, т. 31; XVI в., сп. XVII в.). Широкое распространение слово *почта* получает в XVII в. в связи с установлением правильной почтовой связи при царе Алексее Михайловиче. В 1665 г. был организован почтовый тракт от Москвы до Риги (через Тверь, Новгород и Псков), а в 1669 г. — от Москвы до Вильно, позднее устанавливаются почтовые сообщения и с внутренними городами — Архангельском (1693), Нижним Новгородом и другими. В первый период для организации регулярной почты были привлечены частные предприниматели — немецкие концессионеры, но вскоре почта стала государственной⁴. В Петровское время существовала почта различных назначений: заморская (стр. 902), привычная (стр. 910), иностранная (стр. 1117), московская (стр. 848), нарочная (стр. 1250), недельная (стр. 923), прусская (стр. 200), рижская (стр. 1241)⁵.

В период заимствования слова *почта*, в XVI—XVII вв., в польском языке употреблялось *poczta*, а *poczta*, как отмечает А. Брюкнер, вопло-

¹ А. В. Исаченко, О книге П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии», ВЯ, 1957, № 3, стр. 121.

² П. Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период, М., 1956, стр. 231.

³ А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 126.

⁴ А. А. Вишневский и Ф. Ю. Крупянский, Организация и планирование почтовой связи, М., 1952, стр. 17; ср. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Энциклопедический словарь, т. 48, СПб., 1898, стр. 800—801; П. Я. Черных, Очерк..., стр. 231.

⁵ «Письма и бумаги императора Петра Великого», т. IV (1706), СПб., 1900.

в употребление в XVIII в., и еще в документах 1718 г. встречается *Posztę Królewiecką*¹. Если категорически указывать на польский источник заимствования, то нужно располагать памятниками, зарегистрировавшими более ранний вариант — *пощта* (из *poszta*). Однако, начиная с самых первых памятников русского языка, отмечены лишь формы *почта* и *пост*². В Картотеке древнерусского словаря совершенно отсутствуют примеры с вариантом *пощта*. На наш взгляд, здесь мы имеем дело с самостоятельным усвоением слова, распространенного в западноевропейских языках (итал. *posta*, франц. *poste*, нем. *Post*, первоисточник лат. *posita* «остановка», «станция») и пришедшего в русский язык непосредственно из немецкого. Немецкое *Post* очевидно, послужило источником для старопольского *poszta* и русских вариантов *пост*—*пощта*—*почта*.

Иначе обстояло дело при заимствовании слова *мачта*. В начальный период заимствования, в Петровское время, употребительны были варианты *машма*, *маштъ*, свидетельствующие о влиянии как польского, так и голландского языков (голл. *mast* близко в произношении к польск. *maszt*). Как отмечает Анна Круазе Ван-дер-Коп, в русском *машма* сказывается «бессознательное влияние польского языка, влияние, объяснимое тем, что мачты для кораблей голландцы покупали в Польше»³.

Я. Грот находит, что при усвоении слова *почта* в русском языке произошло изменение *с* в *ч*, так же как в словах *мачта*, *паралич*⁴. В. А. Богородицкий дает другое объяснение. Он считает, что в словах *мачта*, *почта* «сначала произносилось *шт*, т. е. подобно польскому слову *maszt* и русскому народному *пощта*, но затем по аналогии с такими словами, как *что* (в произношении *што*), они стали писаться через *чт*, а это в свою очередь вызвало книжное (согласное с орфографией) произношение этих слов»⁵. Отсюда совершенно правильно В. А. Богородицкий приходит к выводу, что польское *poszta* «заимствовано с русского»⁶. Русское народное *пощта* могло быть заимствовано из немецкого *Post* с соответствующими фонетическими изменениями.

На русский язык в XVI—XVII вв., кроме польского языка, оказывал влияние и ряд западноевропейских языков, в первую очередь немецкий, откуда преимущественно заимствовались административные термины. Из немецкого языка заимствовано не только слово *почта* < *Post*, но и ряд производных слов, обозначающих общий с основным круг понятий. Такими являются слова: *почталлон* (вариант *постмиллон* был известен в начале XVIII в., см. «Лексикон» 1731 г.) — нем. *Postillon*, которое восходит к французскому *postillon*; *почтмейстер* — нем. *Postmeister*, *почтамт* — нем. *Postamt* и др.

При усвоении русским языком интернациональной терминологии польский язык на определенном этапе играл посредствующую роль. С течением времени влияние польского языка-посредника становилось все менее ощутимым, поскольку Россия вступала в непосредственную связь с западноевропейскими странами. На наш взгляд, нет оснований указывать на язык-посредник, когда отсутствуют фонетические, морфологические и семантические признаки посредствующего языка.

¹ А. В р ü с к н е r, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. II, Kraków, 1927, стр. 424; ср. *poszta* с пометой «старинное» («Słownik języka polskiego», t. IV, Warszawa, 1908, стр. 326).

² О варианте *пост* см. П. Я. Черных, указ. соч., стр. 231.

³ А. Круазе Ван-дер-Коп, К вопросу о голландских терминах по морскому делу в русском языке, ИОРЯС, т. XV, кн. 4, 1910, стр. 29.

⁴ Я. Грот, Филологические разыскания, 4-е изд., СПб., 1899, стр. 752.

⁵ В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд., М.—Л., 1935, стр. 342—343.

⁶ Там же, примеч. 3.

КОНСУЛЬТАЦИИ

О ГЛОТТОХРОНОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ ДАТИРОВКИ РАСПАДА ПРАЯЗЫКА

Глоттохронология, или лексико-статистический метод датировки праязыковых дивергенций, возникла из практики исторического исследования бесписьменных языков аборигенов Америки и стоит в одном ряду с другими попытками применения математических (в частности, статистических) методов к лингвистическим проблемам. Как известно, в основу этого метода легла мысль о том, что лингвистика, опираясь на закономерности морфемного распада в языках (*morpheme decay*), способна определять «временную глубину залегания» (*time depth*) праязыков, подобно тому как геология путем анализа содержания продуктов распада определяет возраст пород.

Глоттохронология признает, во-первых, в каждом языке, помимо широкого словаря, изменяемого в зависимости от конкретных культурно-географических условий его функционирования, имеется и узкий, так называемый основной словарь (*basic vocabulary*), отражающий универсальные, не зависящие от уровня культурного развития общества понятия: сюда входят названия некоторых частей тела, наиболее общих космических явлений, элементарных действий и т. п. Во-вторых, принимается, что темп изменения (соответственно процент сохранения) слов этого фонда (*index of retention*) за большие промежутки времени приблизительно одинаков для всех языков и составляет в среднем 86% за тысячелетие. Наконец, допускается, что процент сохранения основного словаря остается постоянной величиной во времени. Максимально доступный наблюдению отрезок времени составляет 2200 лет¹.

¹ См. M. S w a d e s h, *Lexicostatistic dating of prehistoric ethnic contacts with special reference to North American Indians and Eskimos*, «Proceedings of the American philosophical society», vol. 96, № 4, Philadelphia, 1952, стр. 453—463; R. B. L e e s, *The basis of glottochronology*, «Language», vol. 29, № 2, 1953, стр. 113—127; M. S w a d e s h, *Towards greater accuracy in lexicostatistic dating*, «International journal of American linguistics» (сокр. IJAL), vol. 21, № 2, 1955, стр. 127; см. также S. C.

С технической точки зрения рассматриваемый метод состоит в установлении процентного содержания ископных элементов основного словаря родственных языков. При этом, с одной стороны, учитываются звуковые соответствия, а с другой — сохранение идентичной семантики. Затем производится математическое вычисление степени языковой дивергенции, равной полученному процентному содержанию «временной глубины».

Путем строгого проведения принципа универсальности основного словаря и его независимости от культурного уровня общества М. Суодеш сократил свой первоначальный опытный список (*test list*) с 215 единиц до 200, а затем довел его до предпочтительного варианта из 100 слов. При этом из списка были устранены все термины родства, числительные выше двух, названия животных и продуктов, характеризующие не все культурно-географические зоны и т. п.² С другой стороны, для вычисления «временной глубины» Р. Лиз использует лингвистически интерпретированную формулу радиоактивного распада

$$t = \frac{\log C}{2 \log r},$$

где C является процентным содержанием исходного основного словаря в сравниваемых языках, а r есть индекс сохранения последнего за тысячелетие. Поправка или обычное отклонение (*standard deviation*) определяется по ра-

венству: $\sigma = \sqrt{\frac{C(I-C)}{n}}$, где n есть число сопоставленных пар слов, т. е. 100 или 200³. Наиболее удачными объектами лексико-статистического анализа являются близко родственные языковые группировки, допускающие непосред-

G u d s c h i n s k y, *The ABC's of lexicostatistics (glottochronology)*, «Word», vol. 12, № 2, 1956, стр. 175—210 и A r g o n d a l l ' I g n a R o d r i g u e s, «Eine neue Datierungsmethode der vergleichenden Sprachwissenschaft», «Kratylos», Jg. II, Hf. 1, 1957, стр. 1—13.

² См. M. S w a d e s h, *Towards greater accuracy...*, стр. 124—126.

³ См. R. B. L e e s, указ. соч., стр. 124.

ственное сравнение фактов без предварительных реконструкций и, следовательно, с относительно небольшим временем дивергенции.

При применении рассматриваемого метода к многочисленным языкам аборигенов Америки американцы пришли к интересным абсолютным цифрам¹. Выполнены предварительные подсчеты и по языкам Старого Света².

Проиллюстрируем кратко методику датировки на примере картвельских языков, представленных грузинским, занским и сванским в Закавказье. Эти языки весьма удобны для анализа: в пределах основного словаря во всех этих языках (кроме занских диалектов) почти не обнаруживается колебаний; с другой стороны, картвелистика располагает как ясными схемами синхронных звукосоответствий, так и данными о динамике лексического развития (пока не удалось определить индекс r для грузинского литературного языка, так как по наиболее древним текстам невозможно получить материал, адекватный списку М. Суодеша; сопоставление основного словаря по трем версиям грузинского Четвероголава 897, 936 и 973 гг. и некоторым другим памятникам с современным словарем обнаруживает индекс r , равный 88%).

При заполнении списка М. Суодеша процентное отношение совпадений исконных слов в пределах основного фонда имело следующий вид: между грузинским и занским 44%, между грузинским и сванским до 30% и между занским и сванским также до 30% (последние цифры являются приближенными ввиду сложности выделения отдельных сопоставимых основ). Соответственно время дифференцированного развития этих языков равно примерно 2700 и 4000 годам: иными словами грузинско-занское единство должно было начать дивергенцию около VIII в. до н. э., в то время как сванский должен был получить первые импульсы к обособлению еще

около XIX в. до н. э. При анализе обоих диалектов занского языка (мергельского и чанского) предпочтительный список М. Суодеша обнаруживает между последними 65% исконных лексических тождеств, соответствующих приблизительно 1400 годам дифференцированного развития (начало его следует относить к середине VI столетия).

Насколько правомерны исходные посылки и, следовательно, насколько реально результаты лексико-статистического анализа? Не вызывает замечаний первая посылка этого метода, так как всегда налицо возможность эмпирически выявить универсальный лексический фонд, темпы изменения которого не зависят от культурно-географических условий его функционирования. Опыт выделения такого фонда, предпринятый М. Суодешем, несомненно удачен³; оправданно и стремление сторонников рассматриваемого метода для достижения большей точности подсчета, с одной стороны, расширить список Суодеша, а с другой — устранить лексемы, которые при проверке могут оказаться связанными с уровнем культурного развития общества⁴. Тезис глоттохронологии об одинаковом темпе изменения основного лексического фонда за большие промежутки времени также доказывается эмпирически: на основании анализа максимального числа контролируемых письменной традицией языков лингвистика имеет возможность найти некоторую среднюю величину индекса r за тысячелетие (этот временной отрезок представляется достаточным для выведения устойчивой средней), причем степень отклонения указанного индекса от среднего по конкретным языкам незначительна⁵. Задачей метода в этой связи является дальнейшее уточнение индекса r путем привлечения к анализу максимального числа контрольных случаев. Сложнее показать правомерность тезиса о том, что темп изменения основного словаря в каждое тысячелетие остается одинаковым, так как можно назвать лишь немногие языки с литературной традицией хотя бы в 2—3 тысячелетия (египетский, греческий, латинский, санскрит, некоторые семитские). Это можно доказать косвенно, путем проверки лексико-статистической датировки в целом на основе лингвистических, исторических, археологических и других данных; при этом следует учитывать и то, что практически глоттохронология имеет дело с «временной глубиной» до 3—5 тысячелетий, далее которой не уходят корни наи-

¹ Cp. A. L. Kroeber, Linguistic time-depth results so far and their meaning, IJAL, vol. 21, № 2, 1955, стр. 91—110; D. Taylor, I. Rouse, Linguistic and archeological time-depth in the West Indies, там же, стр. 111—115; S. C. Gudschinsky, Lexicostatistical skewing from dialect borrowing, там же, стр. 138—149; H. Hoijer, Chronology of the Athapaskan languages, IJAL, vol. 22, № 4, 1956, стр. 219—232; D. H.ymes, A note on Athapaskan glottochronology, IJAL, vol. 23, № 4, 1957, стр. 291—297.

² A. Raun, Über die sogenannte lexicostatistische Methode der Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnisch-Ugrische und Türkische, «Ural-altaische Jahrbücher», Bd. XXVIII, Hf. 3—4, 1956, стр. 151—154; J. A. Rea, Concerning the validity of lexicostatistics, IJAL, vol. 24, № 2, 1958, стр. 145—150.

³ Cp. J. H. Greenberg, Historical linguistics and unwritten languages, сб. «Anthropology today», Chicago, 1953, стр. 274.

⁴ Cp. A. L. Kroeber, Linguistic time-depth results..., стр. 97; также S. C. Gudschinsky, The ABC's of lexicostatistics..., стр. 178—179.

⁵ Cp. M. Swadesh, Towards greater accuracy..., стр. 130.

более бесспорных в настоящее время языковых общностей.

Лексико-статистические датировки, несмотря на недостаточную точность метода, неоднократно подтверждались другими показаниями. Цифра М. Суодеша, показывающая время дифференцированного развития английского языка по отношению к другим западногерманским языкам и равная $12,5 \pm 1$ столетиям, в общем согласуется с историческим фактом миграции англов и саксов с континента Европы в V—VI вв. н. э.; лексико-статистическая датировка дивергенции языков хуастек и юкатек в Центральной Америке обнаруживает «временную глубину», равную 32 ± 4 столетия и близкую к археологической датировке А. Киддера и Г. Уилли; по М. Суодешу и Г. Марш, дивергенция алеутско-эскимосского праязыка должна была начаться 29 ± 4 столетия назад, в то время как предприятый археологами анализ органических остатков из протоалеутско-эскимосских стоянок на С¹⁴ дает возможность датировать последние 3018 ± 230 лет назад¹. Исторические данные подтверждают правильность глоттохронологической датировки начала взаимного обособления диалектов занского языка: слабая заселенность области Лазики непосредственно южнее Риона, опустошавшейся в V—VI вв. византийско-персидскими войнами, создавала благоприятные условия для языковых расхождений; постепенно Лазика стала заселяться грузинским населением, продвигавшимся с востока и в VII в. окончательно изолировавшим занские диалекты друг от друга².

Наконец, не говоря уже о том, что лексико-статистическая датировка подтверждает наличие в истории общекартвельской языковой дивергенции двух различных

временных плоскостей дифференциации, намеченных еще Г. Деетерсом, — более ранней (для начала обособления сванского) и позднейшей (для эпохи грузинско-занской дивергенции), такая датировка согласуется с лингвистическими фактами, хронологизирующимися абсолютно (сванский разделяет с другими картвельскими языками скотоводческую терминологию и почти не разделяет земледельческой: сомнительна общность сванского названия «меди» // «бронзы» с грузинско-занским, в сванском и грузинско-занском не обнаруживается общих названий культурных приобретений эпохи после XI—IX вв. до н. э. — «лошади», «железа» и т. п.).

Вместе с тем налицо, видимо, некоторое отставание лексико-статистической датировки от реальной, ввиду проявления начальных фактов языковой дивергенции не в основном словаре, а также вследствие пока еще не точно определенной величины индекса *r*. Совершенно очевидно, что с углублением в тысячелетия при вычислениях лингвистического времени вероятное отклонение от «реального» времени будет возрастать. Для определения реальной датировки трудно поэтому придавать глоттохронологии в ее настоящем варианте решающее значение; однако при всех своих недостатках она несомненно является одним из надежных приемов установления абсолютной хронологии. Сравнительно-историческое языкознание, располагающее столь скромными возможностями исследования доисторических языковых состояний, конечно, не может игнорировать результатов лексико-статистической теории М. Суодеша впредь до предложения более точного и универсально применимого глоттохронологического метода³.

Г. А. Климов

¹ См. M. S w a d e s h, *Archeological and linguistic chronology of Indo-European groups*, «*American anthropologist*», vol. 55, № 3, 1953, стр. 349—352.

² См. Ив. Д ж а в а х и ш в и л и, *История грузинского народа*, кн. I, Тбилиси, 1951 [на груз. языке], стр. 420—422.

³ О путях к новому варианту глоттохронологии см. Вяч. В. И в а н о в, *Вероятностное определение лингвистического времени (в связи с проблемой применения статистических методов в сравнительно-историческом языкознании)*, сб. «Вопросы статистики речи», Л., 1958, стр. 69—70.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В АРАБСКОЙ ПЕЧАТИ

Вопросы о судьбах и путях развития арабского языка, связанные с различными сторонами общественной, политической и культурной жизни арабских стран, являются предметом продолжительной и оживленной дискуссии на страницах арабской печати, в которой принимают участие широкие круги арабской общественности.

В ходе дискуссии в основном обсуждались две проблемы. Сначала речь шла об арабском языке в его отношении к современности — как должен отвечать арабский язык на запросы современной жизни во всех ее отраслях, каковы пути пополнения его современной терминологической лексикой. Впоследствии был поставлен вопрос о соотношении между литературным языком и территориальными диалектами, являющимися основным, а часто — единственным средством общения населения в его повседневной жизни, и в частности вопрос о том, возможно ли и необходимо ли повышение крупных территориальных диалектов до уровня национальных языков? Попутно обсуждались вопросы преподавания арабского языка в школе; выдвигался также вопрос о возможности внесения изменений в арабское письмо и даже о его реформе (в сторону облегчения чтения).

*

Дискуссия о том, каким должен быть современный арабский литературный язык, зародилась в начале этого века. Причиной ее обычно считается нежелание ортодоксально настроенных кругов (наиболее известны шейх ал-Азхара ал-Марсафи, Мустафа Садик ар-Рафии и Ахмад Заййат) допустить какие-либо изменения в арабском языке, образом которого считался язык времени становления ислама в Аравии. Поэтому в Дар ал-улум (факультет языка и литературы при Каирском университете), например, в первой четверти этого века не изучалась современная литература, не учитывались значительные изменения в языке, особенно заметные в области синтаксиса и лексики.

Прямо противоположных взглядов придерживалась группа, деятельность которой развевалась главным образом в Египте и к которой принадлежали Абд ал-Азиз Фихми, Салама Муса. Желая усилить связь Египта с европейской цивилизацией, сторонники этого направления требовали заменить арабские буквы латинскими, что, по их мнению, избавило бы арабский язык от таких якобы отяжеляющих его грамматических явлений, как флексии в конце слов, а также облегчило бы чтение (поскольку в письме стали бы отмечаться и краткие гласные); переход на латинский алфавит должен был также способствовать более легкому восприятию лексики из западных языков. Сторонники подобной реформы письма были немногочисленны, и, как показала жизнь, «эта проблема, вокруг которой разгорались страсти и пылало пламя споров, превратилась в пепел, развеваемый ветром»¹.

Третья, и самая многочисленная, группа авторов, выступавших на страницах арабской печати, признавала, что в арабском литературном языке за период его многовековой письменной истории произошли большие изменения, главным образом в области лексики и синтаксиса.

Деятели этого направления, возражая против требования архаизации языка, в то же время остро критиковали нигилистическое отношение к литературному арабскому языку и подчеркивали необходимость его дальнейшего развития. Так, лингвист Анис ал-Мукаддаси писал: «Наш арабский язык не отличается от других языков с точки зрения его подчинения законам развития и влияния потребностей среды. Тот период (имеется в виду период становления ислама. — В. Б.) не был конечным пределом его развития. На каждом этапе своей жизни он был и остается объектом влияния тех факторов, которым подвергалось само арабское общество, и шел вместе с изменяющимися потребностями

¹ И с ма'йил Мазхар, Тадждид ал-арабийя [Каир], б. г., стр. 78.

и обстоятельствами»¹. Можно привести много подобных заявлений. Писатель Таха Хусайн отмечает, что современный арабский язык представляет собой синтез старого и нового и что «мы не боимся говорить *'utūmūbil, biṣṣaklat, malarāf*»². Арабский язык, несмотря на все препятствия, продолжает развиваться. Он «открыт для всякого нового выражения, которое доставляет наша прогрессирующая жизнь, связанная с различными культурами и цивилизациями. Он берет начало в глубинах нашей народной среды, в ее стремлении к совершенству и росту»³. Язык не замыкается в рамках навсегда установленных канонов, не ждет постановлений академий. «Арабский язык не является только предметом роскоши, как это любят представлять некоторые ревностные реформаторы,— заявил на II съезде арабских писателей ливанский представитель Салим Хайдар.— Все то наносное, что пристало к его основам, все те тонкости, которыми языковеды обременили его правила на одном из этапов его развития, отверг сам язык, отвергли люди»⁴. Те большие изменения, которые претерпел арабский литературный язык за свою многовековую историю, дают основание некоторым авторам заявить, что «расселина между письменным языком наших дней и языком, который использовало большинство доисламских арабов, намного шире, нежели расселина, существующая между нынешним литературным языком и диалектами»⁵.

В отдельных выступлениях встречаются сегоования на то, что «современный арабский язык в своем развитии движется со скоростью черепахи, и язык ал-Джахи́за почти не отличается от языка, на котором

я пишу, хотя прошло уже более тысячи лет...»⁶, что «если сопоставить развитие арабского языка во времени и сравнить с тем, что случилось с современными европейскими языками, то найдем, что оно текло медленно и осторожно»⁷. Подобного рода высказывания (не такие уж редкие) считаются необоснованными, поскольку здесь не принимается во внимание факт, что само арабское общество после многовекового застоя еще только вступает на широкую дорогу всестороннего развития. В этих случаях язык рассматривают сам по себе, в отрыве от истории народа-носителя, забывая, что язык есть тот «живой элемент, в котором отражаются все особенности развития общества»⁸. Эпоха национального возрождения началась, в частности, в области литературы, и именно язык художественной литературы в новейшее время сделал большой шаг вперед: «это писатели оживили арабский язык, избавив его от состояния, подобного смерти»⁹.

В дальнейшем развитии языка, его упрощении и приспособлении к запросам времени большое место принадлежит прессе. Говоря о языке газет, египетский писатель Махмуд Таймур замечает, что «в наш век существует литературный язык, понятный всем. Это язык ежедневных газет, которые читают коммерсанты и торговцы, студенты и профессора университетов, писатели и ученые»¹⁰.

Однако изучение арабского языка в арабской школе все еще трудно, и значительная доля вины в этом падает на языковедов. При обсуждении вопросов преподавания указывалось, что существующие учебные программы по языку построены на неправильной методологической основе: «Мы все еще обучаем арабскому языку в наших школах и институтах так, как обучали ему древние арабы в своих медресе и мечетях более тысячи лет назад. Возможно, лишь к очень немногим мы можем предъявить требование взять на себя такой труд и приложить такие усилия... в изучении синтаксиса, морфологии и лексики, как это делали древние арабы»¹¹. Основное внимание при изучении языка все еще уделяется древ-

¹ 'А н и с а л - М у қ а д д а с и , Л у г а т у н а ъ а ' а с р а т - т а а у ъ р а л - ' и д ж и т и м а ' и й и ф и х а , журн. «ал-Хилал», 1955, № 2, стр. 77.

² Цит. по приложению к кн. 'Абд ал-Қадир ал-Магрибӣ, Китаб ал-иштиқақ ъ а а т - т а ' р и б , [Каир], 1947, стр. 131.

³ У м а р а л - Ў а ф ' а ' и , Ал-аджз фӣ ар-иу'аййи ъ а лайса фӣ ал-луға, журн. «ас-Сақафа ал-ўаманиййа», 1955, № 8, стр. 23.

⁴ С а л и м Х а й д а р , Кадиййатунā ал-'адабиййа, журн. «ал-'Адаб», 1956, № 10, стр. 83.

⁵ Н а с и б Н и м р , Мушкилат ал-'аммиййа ъ а ал-фусхā, журн. «ам-Тарйқ», 1955, № 10, стр. 15. Но ср. высказывание 'Аниса Фрайха (журн. «ал-Хикма», 1955, № 7, стр. 126): «Расселина между литературным языком и диалектами так велика, что можно сказать, что диалекты есть в сущности самостоятельные языки, со своей морфологией, синтаксисом, лексикой, и что арабы стали двуязычным народом».

⁶ 'А б д а л - ' А з и з а л - А х ў а н и , Ал-'арабийа ал-фусхā фӣ ал-ҳарадж, журн. «ал-'Адаб», 1956, № 5, стр. 24.

⁷ 'А н и с а л - М у қ а д д а с и , указ. соч., стр. 22.

⁸ К а м а л а л - Х а д ж д ж , Мушкилат ат-та'лим фӣ Лубнāн, журн. «ал-Адаб», 1956, № 3, стр. 80.

⁹ Журн. «ас-Сақафа ал-ўаманиййа», 1957, № 4, стр. 21.

¹⁰ Газ. «ал-Джумхӯриййа» [Каир], 3 IV 56, стр. 3.

¹¹ Т а х а Х у с а й н , Йассиру ан-наҳў ъ а ал-китаба, журн. «ал-Адаб», 1956, № 10, стр. 6.

ней поэзии с ее специфическим содержанием, а многие сведения, преподносимые учащимся, следовало бы знать лишь студентам-филологам или специалистам по арабской истории. В результате значительная часть молодежи в арабских странах слабо владеет литературным языком, заявляя, что этот язык перестал удовлетворять современным требованиям. Поэтому так настоятельно встал вопрос о коренном пересмотре преподавания арабского языка в учебных заведениях.

В печати время от времени появляются конкретные предложения, направленные на облегчение изучения языка в школе, в частности указывается на необходимость строить грамматический анализ на современной научной основе. Для этого следует перераспределить грамматический материал по частям речи, уменьшить количество преподносимых учащимся морфологических и синтаксических терминов, причем начинать изучение грамматических правил лишь в последнем классе начальной школы.

Первый конгресс академий арабского языка, собравшийся в Дамаске в октябре 1956 г., рекомендовал министерствам просвещения арабских стран принять меры к более энергичному введению преподавания на арабском литературном языке в школах, и особенно в педагогических учебных заведениях. Были рассмотрены предложения министерства просвещения Египта об облегчении грамматики (однако было решено, что этот проект нуждается в дальнейшем изучении).

*

Задачей первостепенной важности является пополнение арабского языка новой терминологией как в области естественных, так и точных наук, наиболее бурно развивавшихся в XIX—XX вв. «Кризис» арабской научной терминологии объясняется в первую очередь тем, что в продолжение многих веков арабские народы стояли в стороне от общего развития цивилизации. Усиленно распространялось мнение, что арабский язык не в состоянии быть языком современной науки. По мнению востоковеда А. Ламенса, «нет ни малейшего сомнения, что если высшее образование будет вестись на арабском языке, то эти страны изолируются понемногу от общего прогресса, национальный язык станет непреодолимым препятствием к продолжению прогресса»¹. Немногочисленные кадры национальной интеллигенции готовились за границей или отчасти у себя на родине, но преподавание и здесь велось на иностранных языках (французском, английском). «Наша борьба за

арабский язык должна быть нацелена на то, чтобы он был независим в своей научной, технической и литературной терминологии, т. е. стал языком науки, техники, литературы в наших школах и университетах с тем, чтобы мы могли при помощи его выполнять все наши задачи, не прибегая к помощи какого-либо другого языка»².

Еще в недавнее время раздавались требования не вносить в словари литературного языка заимствованную лексику, поскольку существовало мнение, что такие слова портят «чистый» арабский язык. Члены академий арабского языка прилагали большие усилия для создания синонимов к заимствованным терминам на основе арабского корнеслова, но большинство изобретенных ими терминов не было принято. Эти усилия были обречены на неудачу потому, что к созданию новых терминов они подходили с точки зрения языковорчества и пытались навязать изобретенные ими термины вместо того, чтобы регистрировать и подтверждать в словарях уже используемую специалистами различных отраслей науки и техники терминологию. «Если мы хотим вывести арабский язык на путь прогресса, чтобы он шел рядом с другими языками, мы должны, во-первых, развить в самых широких размерах переводческую деятельность. Это предоставит в распоряжение людей терминологическую лексику, которая будет испытана коллективным здоровым вкусом, и будет либо принята, либо отвергнута. Затем уже наступает очередь действовать и языковым академиям. Во-вторых, мы должны в самых широких масштабах преподносить знания, искусства и ремесла в школах, институтах и университетах на арабском языке. Использование арабского языка в обучении сделает его необходимым и обязательным, и тогда сама жизнь будет создавать термины и предоставлять их в наше распоряжение для использования и отбора. В-третьих, мы должны возможно чаще прибегать к помощи специалистов и брать от них термины, касающиеся их специальности»³.

² 'И с м ā ъ й л М а з х а р, указ. соч., стр. 12.

³ К а м ā л а л - Х ā д ж д ж, Фалсафат ал-луга, Бейрут, 1956, стр. 262.

Махмуд Таймур (в статье «Ма'ялид джадида фй ал-луга», журн. «ал-'Адиб», 1957, № 5, стр. 24—25) описывает ряд случаев «стихийного» внедрения новых терминов в Египте на базе арабского корнеслова, что сопровождалось вытеснением соответствующих заимствованных терминов, например: *kitār* вместо *tābur* «колесная», *muḥa* *siil* вместо *kumṣārīyīy* «кондуктор (в автобусе)», *ḥarrās* вместо *ḡābur aṣ-ṣalat* «каток (для выравнивания дорог)» и ранее принятого академией *mirḏās* (от

¹ Цит. по статье: К а м ā л а л - Х ā д ж д ж, Мушкилат ат-та'лим фй Лубнāн, стр. 23.

Наряду со старыми, давно используемыми источниками пополнения научной терминологии (заимствование, упрощение забытых терминов при их переосмыслении, а также в их прежних значениях, образование новых терминов путем словопроизводства по известным типам на базе старого корнеслова, а также использование ряда непродуктивных словопроизводных типов) предлагаются и другие пути решения проблемы. В частности, считается возможным широкое калькирование научной терминологии путем сложения отдельных компонентов производящих корней при соблюдении фонетических правил арабского языка (т. е. образование слов — композит). Так, термину *Hypsiprymmodontinae*, по мнению Исмаила Мазхара, должно соответствовать араб. *‘aḡṣānīyāt*, в котором *‘aḡṣ* (‘агн) — из *‘aḡṣ* «высокий», *ī* (йā) — из *kaḡṣal* «задний», *s* (син) и *n* (ну) из *sin* «зубы» и, наконец, *-īyat* — суффикс собирательности и которое в совокупности должно передавать значение термина *Hypsiprymmodontinae*¹. Такой способ, называемый в классической арабской филологии «нахт», предлагается использовать не только для калькирования иностранной терминологии, но и для сокращения словосочетаний, обозначающих отдельные понятия; например: вместо *kitāb sarī* «скорый поезд, экспресс» предлагается *ḡatṣar*; вместо *daradḡat al-ḡarāra* «степень теплоты, температура» — *darḡar* или *darḡaḡ* и др.².

Возможность образования и использования подобных терминов обычно подтверждается ссылками на классический арабский язык, который содержит некоторое количество имен и глаголов, образованных подобным способом. Однако в таких попытках нельзя не видеть стремления навязать языку несвойственные ему приемы производства новых слов. Словарь современного арабского языка включает лишь единичные образования подобного рода. Большинство авторов, выступавших по этому вопросу, считают, что основными средствами к пополнению арабской терминологии останутся производство слов по известным морфологическим типам и заимствование.

*

До настоящего времени арабский литературный язык представляет собой норму *радаса* («трамбовать») и др. Эти случаи дают Таймуру возможность заявить, что «широкая публика идет рядом с академией (в Каире. — В. Б.), соревнуется с ней или почти перегоняет ее во введении арабских терминов и их распространении...» (там же, стр. 26).

¹ И с м а ‘ й л М а з х а р, указ. соч., стр. 73.

² ‘А б д а л - Л ā х ‘А м й н, Ал-‘иштиқақ, Каир, 1956, стр. 446.

лизованную письменную форму общеарабского национального языка. Обычным средством устного общения являются диалекты. Расхождения между письменной (литературной) и устной (диалектной) формами языка весьма значительны. Так же сильно отличаются друг от друга различные территориальные диалекты. Такое положение породило стремление найти пути к унификации письменной и устной форм языка в определенных рамках. В настоящее время лишь изредка раздаются голоса защитников повышения диалектов до уровня национальных языков; например, один из них, Абд ал-Азиз ал-Ахуани, полагает, что «проблема двуязычия решится путем внезапного падения литературного языка, далекого от жизни, через всеобщее наступление диалектов через кино и театр к газете и радио, а затем через еженедельную и ежемесячную периодику к книгам»³. Противники этого направления весьма обоснованно указывают, что хотя связь широких масс арабов и «арабизованного» населения со своим литературным языком в течение многих веков была крайне слабой, а иногда и вообще отсутствовала, в результате чего к настоящему времени накопились значительные расхождения между диалектами и литературным языком, тем не менее арабские диалекты, говоря словами ливанского писателя Хусайна Мурувва, «не имеют словаря в правильном значении этого слова, их словарь и фразеология восходит к словарю и фразеологии литературного языка. Есть один арабский язык с единым стержнем: словарным и грамматическим»⁴.

Рассматривая вопрос, победят ли диалекты литературный язык, тот же автор отвечает: «Нет... Говорим „нет“ категорически и решительно. Следует дать ответ еще более точный, а именно, что дело обстоит совершенно иначе, что если и имеется какая-нибудь опасность или подобие опасности, то она существует для диалекта, а не для литературного языка»⁵. Ливанский писатель Насиб Нимр считает проблему диалекта и литературного языка в том плане, как она обсуждается в печати (либо диалекты, либо литературный язык), надуманной и указывает, что диалекты есть один из многих, как он говорит, «стилей арабского языка»⁶. Вслед за

³ ‘А б д а л - ‘А з и з а л - А х ў а й н, указ. соч., стр. 24.

⁴ Х у с а й н М у р у ў ў а, Лугат ал-хўйār ал-ḡaṣāṣīyīyī fī adābīnā, журн. «ат-Ṭarīq», 1955, № 8—9, стр. 30—31.

⁵ Там же, стр. 30.

⁶ Н а с и б Н и м р, указ. соч., стр. 15. Он пишет там же: «У нас существует противоречие не только между литературным языком и диалектом, являющимся одним из стилей арабского языка, но и между различными стилями в самом литературном языке, ... например, между современ-

ним Раджа ан-Наккаш заявляет: «Не существует какого-либо антагонизма между литературным языком и диалектом. Они ныне два взаимоподдерживающих средства мышления»¹.

Наличие диалектов, хотя бы и весьма далеко отошедших от литературного языка, не обуславливает альтернативной постановки проблемы. Нельзя забывать, что известное расхождение литературного языка и разговорного не чуждо почти всем народам, тем не менее диалект имеет свою сферу использования, литературный язык — свою. «Мы не склонны уничтожать один ради другого, отменить диалект ради литературного языка или литературный язык ради диалекта»². Высказывания подобного рода принадлежат также Таха Хусайну, Тауфику ал-Хакиму и многим другим деятелям самых различных направлений.

Подавляющее большинство авторов, выступавших в арабской печати Египта, Сирии, Ливана и других стран по вопросу о соотношении диалектов и литературного языка, отдает себе отчет в том, что процесс нивелировки местных арабских диалектов и поглощения их единым общенациональным языком будет длительным. «Я убежден, что решение ее (проблемы литературного языка и диалекта. — В. В.) находится в руках времени, когда уровень разговорного языка повысится и он приблизится к литературному языку, когда исчезнет неграмотность, а образование станет достоянием широких масс народа», — пишет египетский автор³. Другой автор отмечает: «Не переставая растет образование, поднимается культурный уровень, все чаще созываются собрания общественных организаций и литературных клубов, ежедневно возрастает значение радио, которое можно слышать в лавке, магазине, кофейне и т. д. Мы слышим ежедневно язык, близкий к литературному. Я знаком вот уже 60 лет с привратником, кучером, шофером... Их язык за это время стал ближе к литературному, чем язык их коллег 50 лет назад...»⁴.

В настоящее время в арабской печати нередко появляется упоминание о сложившемся в среде арабской интеллигенции и вообще образованных людей «раз-

ным языком и классическим, между языком газет и художественной литературы».

¹ Р а д ж а а н - Н а к к а ш, Муха-йала шаклийя, журн. «ал-Адāб», 1956, № 8, стр. 80.

² К а м а л а л - Х а д ж д ж, Фалсафат ал-луга, стр. 251.

³ Заки Тулаймат, Ал-масрах ал-'арабийй фй ал-зарн ал-'ишрин, журн. «ал-Хилāl», 1955, № 1, стр. 182.

⁴ Мансур Фихмй, Ал-луга ал-'арабиййя ўа маджма 'ал-Қахира, журн. «Маджаллат ал-маджма' ал-'илмийй ал-'арабийй», 1957, ч. 1, стр. 69—70.

говорном языке», заимствовавшем очень многое от особенностей литературного языка и лишенном «узости» местных диалектов, которые не отражают сложных запросов жизни современного общества. Из формальных особенностей этого разговорного языка отмечают падение конечных грамматических флексий, общие для всех арабских диалектов нормы морфологии и синтаксиса. Начали раздаваться призывы к повышению этого диалекта до уровня литературного языка. Так, Анис Фрайха писал: «Если мы требуем вести арабский единый разговорный язык, то это не значит, что мы требуем ликвидировать один язык и заменить его другим. Вовсе нет, это совсем не приходит нам в голову, поскольку мы имеем чисто арабский, общий для всех арабских народов язык, который был создан культурными, социальными и политическими факторами за последние тридцать лет — тот разговорный арабский язык, на котором говорит культурный египтянин, иракец, сириец, ливанец, палестинец, когда они сходятся вместе. Это тот арабский разговорный язык, который можно слышать в университетах Каира, Дамаска, Багдада, Бейрута... В этом мы видим удовлетворительное решение нашей языковой проблемы»⁵.

В последние годы в связи с общей дискуссией о литературном языке и диалекте велись также оживленные споры о языке диалога в произведениях художественной литературы.

Многие писатели (Таўфйк ал-Хаким, аш-Шарфаўи, Йусуф 'Идрис и др.) в своих рассказах и повестях, героями которых являются простые рабочие и крестьяне, широко используют для диалога диалект. Другие писатели практикуют диалог на упрощенном литературном языке. Сторонники диалога на диалекте аргументировали свою точку зрения в дискуссии необходимостью связывать язык диалога с природой социальной и географической среды, которую описывает автор. Абд ал-Азим Анис, первым выступивший в журнале «ас-Сакафа ал-ўатанийй» со статьей на эту тему, критиковал египетского писателя Нагиба Махфуза за то, что он во всех своих повестях употребляет в диалоге литературный язык, хотя в одном случае описывается жизнь интеллигенции, а в другом — жизнь темного и непросвещенного народа. Он считает, что автор в последнем случае нарушает правдивость повествования и уменьшает художественную ценность произведения, поскольку в задачу писателя входит не только дать понять и разъяснить ситуацию, но также дать ее почувствовать.

Однако против такой точки зрения энергично выступили Насиб Нимр, ал-

⁵ См. А н и с Ф р а й х а, Наўйа 'арабиййя муйассара, Бейрут, б. г., стр. 181—182.

Уафа и некоторые другие, мнение которых выразил Насиб Нимр: «Писатель-художник может выразить дух арабского зонального героя на арабском языке, который понятен во всех арабских странах. Если же он не в состоянии сделать это, то пусть извинит нас, если мы скажем ему: поищи причину в себе, в своих способностях, в методе написания своего диалога, но не ищи причину в арабском языке»¹. Для показа соответствующей национальной и социальной среды возможно использование диалектной фразеологии, но в самых ограниченных размерах; в этих случаях рекомендуется не прибегать к «высокому» стилю литературного языка. При соблюдении этих условий станет возможным создание правдивых картин из жизни народа, и в то же время диалог будет общепонятным. Знаменательно, что М. Таймур, в своих ранних произведениях охотно привлекавший диалектный материал, отказался от использования диалекта в своих новеллах, стремясь быть понятным во всем Египте с его разнообразием диалектов, а также и в других арабских странах².

Общепонятность же является весьма важным фактором, поскольку арабский литературный язык был и остается важнейшей действенной силой в объединении арабов. «Литературный язык, служащий живой связью между арабами, растет изо дня в день по мере увеличения количества школ, распространения газет, журналов, кино, радио, по мере роста взаимных связей как между арабскими странами, так и между различными районами внутри одной страны. Единство, которое начало успешно осуществляться со времени начала национального подъема в XIX в.,

¹ Н а с и б Н и м р, указ. соч., стр. 21.

² Газ. «ал-Джумхүрийя», 3 II 56, стр. 3.

ведет к упрощенному языку, единому и объединяющему, к языку, в котором рстворятся все диалекты, вследствие чего исчезнет один из факторов разобщения»³.

Дискуссия показывает, что проблемы соотношения литературного языка и диалекта в целом, развития литературного языка и коренное их разрешение тесно связано с решением основных экономических, политических и общественных проблем арабских стран. Стремление к единству, все более ярко проявляющееся у арабских народов, и практические шаги к осуществлению этого единства делают неосновательной как постановку проблемы литературного языка и диалекта в плане формирования национальных языков в странах Арабского Востока на базе территориальных диалектов, так и рассуждения о возможных путях их развития⁴.

Говоря в целом о значении дискуссии о литературном языке и диалекте, нельзя не согласиться с теми авторами, которые говорят, что «битва между сторонниками того (литературного языка.— В. Б.) и этого (диалекта.— В. Б.) не приносит пользы, и одно только время решит проблему»⁵.

В. М. Белкин

³ Н а б и х А м ъ н Ф а р и с, Мухаммад Тауфйк Хусайн. Хаза ал-'алам ал-'арабий, Бейрут, 1953, стр. 40—41.

⁴ Такую постановку вопроса см.: А. Ф. Султаноу, Национальный язык и реформа письменности в странах Арабского Востока, сб. «Акад. В. А. Гордлевскому к его семидесятилетию», М., 1953; е го же, Проблема формирования национального языка в Египте, ВЯ, 1955, № 6.

⁵ См. журн. «ас-Сафа ал-Уаманийя», 1957, № 4, стр. 62.

СТАТЬИ Г. МАРЧАНДА ПО ТЕОРИИ СИНХРОННОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Прежде чем приступить к рассмотрению работ Г. Марчанда¹, необходимо, хотя бы

¹ См.: H. M a r c h a n d, Esquisse d'une description des principales alternances dérivatives dans le français d'aujourd'hui, «Studia linguistica», vol. V, № 2, 1951; е го же, Phonology, morphonology and word-formation, «Neophilologische Mitteilungen» (NM), vol. LII, № 3—4, 1951; е го же, The question of derivative relevancy and the prefix s- in Italian, «Studia linguistica», vol. VII, № 2, 1953; е го же, Notes on English suffixation, NM, vol. LIV, № 5—6, 1953; е го же, Notes on English prefixation, NM, vol. LV, № 7—8, 1954; е го же, Synchronic analysis and

в самых общих чертах, остановиться на изучении синхронного словообразования дескриптивистами. Целью дескриптивного анализа языка является выделение значимых элементов речи, определение дистрибуции и тождества (identification) морфем и, наконец, их классификация². Этим задачам подчинено и изучение элементов словообразования.

Последние рассматриваются лишь при опи-

word-formation, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 13, 1955; е го же, Motivation by linguistic form, «Studia neophilologica», vol. XXIX, № 1, 1957.

² См. Z. H a r r i s, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951, стр. 6, 20.

сании строения слова, его морфемного состава¹. Словообразующие аффиксы, как и другие морфемы, исследуются дескриптивистами по преимуществу с точки зрения их дистрибуции, а также воздействия на сочетаемость с соседним морфем, в том числе производящей основы². Стремление к исчерпывающему описанию морфемного состава языка преувеличивает над попытками отделения фактов системы от явлений диахронии. Во многих работах дескриптивистов действующие словообразовательные типы растворяются в своде морфем, встречающихся в корпусе языка. При такой постановке вопроса построение системы словообразования оказывается практически невозможным. Не способствует выделению релевантных моделей и метод деления слов на непосредственно-составляющие, широко применяемый дескриптивистами. Используя этот прием, весьма полезный в других отношениях, все же нельзя отделить элементы речи от элементов языка, нельзя провести грань между типами, активно функционирующими в современном словообразовании, и моделями, выпавшими из системы языка, но представленными рядами ранее созданных слов.

В теоретических работах американских структуралистов можно встретить попытки отделить статическое описание структуры высказывания от построения системы, присущей современному языку. Так, например, Д. Болинжер предлагает отличать морфемы, являющиеся единицами синхронного анализа (он называет их формативами), от элементов, относящихся к диахронной морфологии (они обозначаются термином «компоненты»). Формативы, по мысли Д. Болинжера, вступают в активную связь (*bondage*) с другими элементами речи, а компоненты могут образовывать с ними только инертное сцепление³. Стремление Д. Болинжера исклю-

чить из синхронного описания языка элементы диахронии направлено главным образом против членения слов, утративших мотивировку своего значения и составных лишь этимологически.

Статьи Г. Марчанда являются своего рода реакцией на узко дескриптивный подход к фактам словообразования, и, хотя автор не всегда вступает в прямую полемику с работами этой школы, его исследования и выдвигаемые им теоретические положения направлены против недостатков дескриптивного метода. Мы не будем подробно передавать содержание каждой из его статей, а изложим лишь основные мысли, касающиеся общих вопросов синхронного словообразования.

Весьма существенным в работах Г. Марчанда является положение об отсутствии тождества между морфологическим составом слова и словообразованием. «Так или иначе дескриптивный анализ слов и релевантность в системе словообразования — не одно и то же»⁴, — пишет Г. Марчанд. Дескриптивный анализ слов, по его мнению, состоит в собирании пар, дающих потенциальные типы словообразования. Но такой анализ не может привести к построению системы деривации, т. е. выделению грамматически релевантных типов⁵. По сути дела при изучении словообразования анализ морфологии основы имеет ценность лишь в той степени, в какой он дает возможность обнаружить существенные черты модели, т. е. свойства, характеризующие *la langue*⁶. Следовательно, одной из главных задач при исследовании современного словообразования является выделение системных признаков модели и ее вариантов. Г. Марчанд полагает, что таким признаком является прежде всего наличие определенного звукового соотношения, соответствующего фонетическим закономерностям современного языка. Например, такие английские пары, как *north : northern, south : southern*, не входят в систему словообразования не только ввиду непродуктивности суффикса *-ern*, но и потому, что чередование *o : ð* не свойственно современной английской фонетике и является фактом диахронии⁷. Однако наличие фонетического соотношения само по себе еще не свидетельствует о релевантности модели. Звуковая корреляция должна быть поддержана смысловым различием, поскольку производное слово всегда заключает нечто новое в плане содержания. В свою очередь одного лишь семантического соотношения недостаточно для установления словооб-

¹ Примером может служить описание английского суффикса *-ous* в кн.: B. V. I o c h, G. T r a g e r, *Outline of linguistic analysis*, Baltimore, 1942, стр. 64 и сл. Ср. описание суффиксов *-ic, -ics* в статье: S. N e w m a n, *English suffixation: a descriptive approach*, «Word», vol. IV, № 4, 1948, стр. 35 и сл. См. также: E. A. N i d a, *The analysis of grammatical constituents*, «Language» vol. XXIV, № 2, 1948, стр. 175. Особенно отчетливо заметен тот произвол, который вносит дескриптивный метод в изучение синхронного словообразования, в работе: S. M u r p h y, *A description of noun suffixes in colloquial Spanish*, сб. «Descriptive studies in Spanish grammar», Urbana, 1954.

² См. Z. H a r r i s, *From morpheme to utterance*, «Language», vol. XXII, № 3, 1946, стр. 166 и сл.

³ D. B o l i n g e r, *On defining the morpheme*, «Word», vol. IV, № 1, 1948, стр. 21—22.

⁴ H. M a r c h a n d, *Synchronic analysis...*, стр. 12.

⁵ Е го же, *The question of derivative relevancy...*, стр. 106.

⁶ Е го же, *Synchronic analysis...*, стр. 17.

⁷ Там же, стр. 13.

разовательной связи. Поэтому Г. Марчанд считает, что метод Ш. Балли, включавшего в деривативную транспозицию такие пары, как *cheval: equestre*, не применим при выделении релевантных пар¹. Итак, производное слово должно соотноситься с производящей основой как с точки зрения означаемого, так и в плане означающего.

Пары, связанные лишь по одной из этих линий, не могут быть включены в словообразование.

Наличие фонетической и смысловой оппозиции не исчерпывает признаков релевантности модели. Имеется много случаев, когда между словами существует определенная семантическая и звуковая связь, но отношение деривации отсутствует. Ср. франц. *veiller: éveiller*; нем. *kaufen: verkaufen*. Это — изолированные пары, выражающие индивидуальные, не поддержанные аналогией соотношения. Они представляют лишь словарный интерес². «Суффиксы» в *horrid, horror, horrify; stupid, stupor, stupefy* известны лишь фонологам, но серия *-id, -or, -ify* могла бы включиться в английское словообразование, если бы ее продуктивность вышла за пределы узкой группы заимствований. Пока этого не произошло, анализ слов со связанными, не поддающимися обособлению основами остается абстрактным. В понимании говорящих на английском языке приведенные слова состоят только из одной морфемы³. Отсюда вытекает, что принадлежность модели к системе языка определяется необходимым наличием группового, регулярного противопоставления как в плане означающего, так и в плане означаемого⁴.

Для говорящих на английском языке *dine* и *dinner, maintain* и *maintenance* сопоставимы, но они не связаны отношением деривации. Это доказывает не тем, что каждое из приведенных слов является самостоятельным заимствованием из французского языка. Подобная аргументация внесла бы элемент диахронии в изучение современного словообразования. При решении вопроса релевантности следует исходить из того, что обычно деривация с суффиксами *-er* и *-ance* не вызывает в современном языке изменения основы. Мы имеем дело поэтому с изолированной корреляцией, не относящейся к системе словообразования⁵. С точки зрения описания структуры слов *halfpenny* [ˈheɪpni] и *twopence* [ˈtʌpens] можно считать [heɪ] алломорфом морфемы *half* [hɑ: f], а [tʌ] —

вариантом морфемы *two* [tu:], но при изучении современного словообразования необходимо указать, что нормы композиции не допускают такого фонетического изменения. Следовательно, данное соотношение лежит вне структуры современного английского языка⁶.

Такой же групповой, систематический характер, по мнению Г. Марчанда, должно иметь и смысловое соотношение между членами модели. Можно говорить о деривативной оппозиции только в том случае, когда изменение фонетической формы влечет за собой семантическую трансформацию, типичную для определенного ряда пар. «Именно в этом я вижу основную разницу между изучением словообразования и дескриптивным анализом слов», — замечает Г. Марчанд⁷. Это общее положение Г. Марчанд иллюстрирует анализом итальянского словопроизводства с префиксом *s-*. Полемизируя с Дж. Девото и Р. Брэндалем⁸, автор указывает, что многие из выделенных ими в современном итальянском языке словообразовательных типов (*vago: svago, colpire: scolpire, calzare: scalzo, munto: smunto, mettere: smettere*) не могут рассматриваться как явления синхронии, так как они не входят в аналогические ряды⁹. Регулярные фонетические чередования, имеющие системный характер и соответствующие закономерным семантическим изменениям, относятся к морфонологии, в рамках которой одно из важных мест должно быть отведено словообразованию¹⁰.

Итак, критерием релевантности в области словообразования является наличие морфонологического изменения.

Понятие группового противопоставления, выдвигаемое Г. Марчандом как признак релевантности, очень близко к понятию продуктивности модели. «Только образующие группы модели релевантны в плане словообразования», — пишет Г. Марчанд, — поэтому в области деривации основное значение приобретает продуктивность модели (*derivational yield*), как бы интересны ни были индивидуальные противопоставления¹¹. Г. Марчанд справедливо подчеркивает, что при изучении син-

⁶ Е го же, *Synchronic analysis...*, стр. 12.

⁷ Е го же, *The question of derivative relevancy...*, стр. 106.

⁸ G. Devoto, *Il prefisso s- in italiano, «Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally», Genève, 1939; R. Brøndal, La signification du préfixe italien s-, «Acta linguistica», vol. II, fasc. 3, 1940—41.*

⁹ H. Marchand, *The question of derivative relevancy...*, стр. 104.

¹⁰ Е го же, *Phonology...*, стр. 89, 95.

¹¹ Е го же, *Synchronic analysis...*, стр. 14.

¹ H. Marchand, *The question of derivative relevancy...*, стр. 104—105.

² Там же.

³ H. Marchand, *Notes on English suffixation*, стр. 257—258.

⁴ Е го же, *The question of derivative relevancy...*, стр. 105.

⁵ Е го же, *Phonology, morphonology and word-formation*, стр. 94.

хронного словообразования нельзя обойти проблемы продуктивности, как это пытаются сделать некоторые теоретики дескриптивизма, исходя из неэффективности методов синхронии при определении активности той или другой конструкции¹. «Может быть полезно перечислить непродуктивные соотношения,— пишет Г. Марчанд,— но в сущности они не больше характеризуют структурную систему деривации, чем римские бани, выстроенные в наш век по прихоти миллионера, характеризуют банные заведения какой-нибудь страны². Остается пожалеть, что, признавая важность определения продуктивности типа в синхронном плане, Г. Марчанд не разрабатывает методики подобных исследований. Он лишь ограничивается указанием на то, что вполне допустимо использовать с этой целью данные истории языка, если они проливают свет на тенденции развития его структуры³, а также подчеркивает важность количественного критерия⁴.

Отсутствие более подробного описания приемов лингвистического исследования, а также расплывчатость самого понятия продуктивности, сплетающегося с понятием распространенности, лишают приведенные выше общие положения практического интереса и новизны.

Исходя из группового противопоставления как признака релевантности модели, Г. Марчанд включает в систему словообразования ряды оппозиций, существующие в словарном составе языка, но созданные по моделям, утратившим свою продуктивность. Это свидетельствует о том, что критерий, выдвинутый Г. Марчандом, не всегда является достаточным при выделении релевантных пар. Правильнее было бы говорить не о групповом противопоставлении, а о принадлежности модели к открытому словообразовательному ряду, что обусловлено наличием активной связи между данным структурным типом и определенной семантической категорией. Конкретный языковой показатель подобного рода связи может варьироваться в зависимости от характера словообразовательной модели, ее значения. Так, если речь идет о языковом выражении расширяющейся семантической категории, таким признаком может служить реальная продуктивность модели. Если словообразовательный тип соответствует замкнутому или почти не развивающемуся классу понятий, то в синхронную систему словообразования могут быть включены также модели, не

дающие неологизмов, при условии структурного единства основ слов, принадлежащих к данному лексическому ряду. Ср. в русском языке названия сортов ягод с суффиксами *-ина* и *-ика* (*клубника*, *рябина*), а также названия сортов мяса с суффиксами *-ина*, *-атина* (*баранина*, *курятина*). Таким образом, проблема релевантности в области словопроизводства на самом деле сложнее, чем это представлено в работах Г. Марчанда.

Предложив свое решение вопроса релевантности⁵, Г. Марчанд переходит к определению системы словообразования. Он считает, что даже в том случае, если мы инвентаризуем все деривативные чередования, они не образуют некоего целостного организма, оставаясь лишь простой суммой разрозненных элементов. Дело в том, что в современных развитых языках действующее словообразование складывается обычно из двух разных систем, между которыми распределяются все продуктивные модели. Одна из этих систем составляет народную структуру данного языка, другая функционирует на иностранной, обычно неолатинской, основе. Чередування в пределах первой системы обязаны действию современных фонетических закономерностей. Корреляции, входящие во вторую систему, возникли в результате адаптации латинизмов к звуковому составу того или другого языка (ср. англ. *candidate* : *candidacy*, франц. *agressif* : *agression*⁶). При изучении современного словообразования не следует устанавливать зависимость между словами, созданными на разных базах деривации. Так, нельзя сопоставлять латинские заимствования с собственно французскими словами. Ср. *refaire* : *refection*, *restreindre* : *restriction*. Подобные соотношения носят случайный, несистематический характер. Однако бывают случаи, когда связь между исконными словами и латинскими заимствованиями становится регулярной. Ср. *père* : *paternel*, *mère* : *maternel*, *frère* : *fraternel*⁷. Иногда слово, созданное на латинской структурной основе, может при изучении современного языка рас-

⁵ В статье Г. Марчанда «Motivation by linguistic form» выясняется отношение к системе словообразования так называемой псевдокомпозиции, основанной на рифме (*boogie-woogie*, *clap-trap*, *hocus-pocus*) и аблауте (*hitchat*, *singsong*). Для этих слов вопрос релевантности сводится к их мотивированности содержанием составных частей.

⁶ Регулярное отношение, возникшее в языке между сепаратно заимствованными словами, Г. Марчанд называет коррелятивной деривацией (ср. английские производные на *-ist*, *-y*, *-ism*, *-istic*) (см. H. M a r c h a n d, Notes on English suffixation, стр. 254, 258).

⁷ Е го же, Esquisse d'une description..., стр. 96—98.

¹ Z. H a r r i s, Methods in structural linguistics, стр. 255, 374.

² H. M a r c h a n d, Esquisse d'une description..., стр. 93.

³ Е го же, Synchronic analysis..., стр. 13.

⁴ Е го же, Esquisse d'une description..., стр. 98.

смаиваться как французское производное. Например, франц. *opération* исторически является латинизмом, но синхронно оно противопоставляется глаголу *opérer*¹.

Итак, при изучении словообразования современных европейских языков, по мнению Г. Марчанда, следует различать две относительно самостоятельные системы, одна из которых опирается на народную структурную базу, а другая на морфологию латинского языка. При подобном подходе к материалу отпадает необходимость в использовании таких терминов, как «книжные», «ученые» слова,

«латинизированные» образования и пр. Следует просто говорить о деривации на неолатинской (т. е. включающей и греческие модели) основе².

Таковы в общих чертах взгляды Г. Марчанда по вопросам синхронного словообразования. Они интересны не столько своей позитивной стороной, сколько тем, что в них отмечены основные проблемы, возникающие в связи с поставленной темой. К их числу относятся в первую очередь понятие синхронной системы словообразования и ее элементов, релевантные черты модели, отношение словообразования к морфологии основ слова.

Н. Д. Арутюнова

¹ Н. Marchand, Phonology... стр. 94.

² Там же, стр. 93.

РЕЦЕНЗИИ

«Творительный падеж в славянских языках», под ред. С. Б. Бернштейна. — М., 1958. 376 стр. (Ин-т славяноведения АН СССР)

Творительный падеж в отдельных славянских языках изучается уже давно и ему посвящена значительная литература (исследования Я. Лося на материале польского языка, М. Ивича на материале сербскохорватского языка, Е. Седелникова на материале русского языка и др.). Однако рецензируемая работа, охватывающая употребление творительного падежа в пределах славянской языковой группы, имеет совершенно иной характер и, в сущности, является единственной в своем роде, если не считать раздела, посвященного творительному падежу, в IV томе уже сильно устаревшей «Сравнительной грамматики» Ф. Миклошича. Работа представляет собою вообще первую крупную публикацию в области сравнительно-исторического синтаксиса славянских падежей и поэтому заслуживает пристального внимания и оценки как с точки зрения методики исследования, так и с точки зрения приводимого фактического материала и изложения.

Вводная глава «Методы и задачи изучения истории значений и функций падежей в славянских языках» (автор — С. Б. Бернштейн) содержит краткий обзор истории изучения падежных значений, обоснование целей и задач исследования и определение основных положений, на которые исследование опирается.

Исходное значение творительного падежа оформилось в дославянский период. Поэтому его поиски, равно как и разрешение вопроса о происхождении древнейших флексий творительного падежа, не являются непосредственной задачей слависта. Они и не могут иметь успеха без предварительного изучения развития значений падежной формы в отдельных языках и языковых группах. Учитывая особенную устойчивость и распространенность социативного и инструментального значений творительного падежа в славянских языках, можно полагать, что эти значения были наиболее древними, хотя «самым древним значением могло быть такое значение, которое позже в результате ряда причин ослабло, стерлось и, возможно, совсем вышло из употребления» (стр. 14). Локальное значение для творительного падежа едва ли является столь же древним, поскольку оно нигде

(и не только в славянских языках) не занимает господствующего положения, и произвести от него значения орудийное и социативное довольно трудно. Иного же более древнего значения для творительного падежа материал индоевропейских языков, по-видимому, не позволяет предположить.

Производные значения падежной формы вначале сохраняют связь с ее основными значениями. Постепенно эта связь ослабевает, прекращается, возникают новые основные значения. Разрыв связей между основными значениями творительного падежа имел место уже в праславянскую эпоху; поэтому исследователи славянского творительного падежа вынуждены ограничиться изучением основных значений, не устанавливая связей между ними (стр. 14, 24). Отметим, что в дальнейшем авторы исследования все же в отдельных случаях высказываются по поводу связей и образования отдельных основных значений (творительный причыны и творительный источника, или производителя действия, стр. 160 и др.).

В качестве основного объекта исследования выдвигается объем значений творительного падежа в разные эпохи и в разных славянских языках письменного периода; установление этого объема для периода самостоятельного существования славянских языков даст материал и для характеристики употребления падежа в праславянском языке (стр. 25—26).

С. Б. Бернштейн разграничивает понятия значения и функции падежа. Первое определяется в словосочетании, второе — в предложении. Значение и синтаксическая функция тесно связаны. В истории падежной системы нередко изменение синтаксической функции определяло важные изменения грамматического значения и наоборот» (стр. 28). Нам кажется, что изменения начинаются всегда со значения, ими обуславливается приобретение формой новой синтаксической функции. А поскольку значение падежной формы определяется в словосочетании, исходным моментом подобных изменений является изменение лексического состава словосочетаний (круга лексики, принимающей форму данного падежа при сохранении старого состава управляющих слов, или круга управляющей лексики).

Определяя специфику сравнительно-исто-

рических исследований в области падежного синтаксиса, автор останавливается на необходимости учета синонимических отношений, постоянно существующих между отдельными падежными формами и предложными сочетаниями и создающих возможность вытеснения тех или иных форм в известных значениях. Вообще предложное управление в славянских языках расширяется, «охватывая все новые и новые значения и синтаксические конструкции» (стр. 32). Наименее устойчивыми оказываются те беспредложные конструкции, которые заменяются предложными с сохранением той же падежной формы. Подобные случаи, по-видимому, имели место в употреблении всех косвенных падежей (помимо упомянутых С. Б. Бернштейном, укажем еще на вытеснение родительного-отложительного материала, родительного-отложительного с местным значением, винительного направления). Что касается взаимоотношений беспредложных форм с предложными в случае различия в падеже, то здесь нередко устанавливаются особые оттенки значений, и это способствует сохранению беспредложных конструкций. В сфере творительного падежа таким способствующим фактором является и его склонность к адвербиализации (стр. 34—35).

Следующие главы посвящены отдельным значениям творительного падежа в славянских языках. Вне исследования остается предикативный и полупредикативный творительный, связанный с совершенно особым кругом проблем.

Творительный социативный (гл. II, автор — Д. С. Станишева) распределяется прежде всего по двум разделам — в зависимости от отсутствия или наличия предлога. Случаи беспредложного творительного социативного отмечены главным образом в памятниках старославянского языка, причем совершенно единичными примерами представлено собственно социативное значение, — обыкновено наличествует производный оттенок значения образа действия. Случаи пропуска предлога с перед словами, начинающимися с этого звука (некоторые старославянские, древнечешские, древнепольские примеры, стр. 42—43), настолько не показательны, что, как мы полагаем, могли бы и не приводиться в данном разделе. Из современных славянских языков творительный социативный (с производными значениями времени и образа действия) встречается лишь в сербскохорватском языке. Весьма подробно анализируется предложный творительный социативный с его многочисленными производными подтипами (взаимного действия, образа действия, качественной характеристики и т. д.). Анализ социативного творительного в целом не вызывает особенных замечаний. Остановимся лишь на некоторых неточностях.

Судя по тому, что Д. С. Станишева говорит о конструкциях с числительными

и существительными в местном падеже с предлогом *о* (*стол о трех ножках*, стр. 67), она не относит к «творительному социативному качественной характеристики» случаев типа *дом с двумя башенками* и т. п., в славянских языках весьма обычных, — по-видимому, как случаи количественной характеристики. Однако принципиальная разница в значении творительного падежа в подобных случаях едва ли имеет место: количественную характеристику получает в первую очередь предмет, название которого стоит в творительном падеже, а все словосочетание в творительном падеже с предлогом с дает господствующему понятию все же качественную характеристику. Кстати, среди примеров творительного социативного качественной характеристики, видимо, по ошибке, приводится один случай с числительным: укр. *уродила жінка дитину з трома головами* (стр. 65). На стр. 68 творительный падеж в ст.-слав. и *извлачиша трьсти҃к съ плъти҃жъ К҃го* (Супр.) никак не может определять предмет по его содержанию: это скорее творительный сопровождающего предмета.

В связи с подгруппой творительного социативного косвенного объекта отметим, что здесь объединяются случаи совершенно различного происхождения. При глаголах *быть, случаться, приключаться* творительный падеж исторически пришел на смену дательному (кстати, управление дательным падежом следует видеть в приводимом на стр. 72 примере: *Ну, Аннушка, что будет мне с тобою...* — не совсем правильная конструкция, в значении ... *нам с тобою*), чего нельзя сказать о творительном при глаголах *возиться* и т. п.

Творительный инструментальный (гл. III, автор — Д. С. Станишева) распределяется прежде всего по трем группам: творительный орудия, средства и вспомогательного материала; в дальнейшем учитываются переходность и непереходность управляющих глаголов, конкретность и отвлеченность имени в творительном падеже и некоторые другие моменты. Автор раздела совершенно справедливо указывает на вытеснение творительного средства в большинстве случаев различными предложными конструкциями. Однако приводимые на материале русского языка примеры замены старого творительного средства от названий лиц мало показательны: предлог *през* (стр. 95, Густинск. лет.) для русского языка вообще не характерен, предлог *через* с винительным падежом (там же, пример из Л. Толстого) возможен в соответствии с древним творительным лишь в весьма ограниченном количестве случаев [ср. невозможность конструкции *с через* в случаях типа *многими людьми в тюрьму его оттащили* (стр. 94) и под.]. Следовало бы отметить, что в современном русском языке в соответствии с творительным средством от названий лиц применяются главным образом конструкции с предлогами нового образо-

вания, например *посредством*, или же вообще меняется строй предложения.

В связи с рассмотрением небольшой подгруппы «творительного материала, из которого что-либо сделано» (стр. 107—109), весьма редкого уже в древних славянских языках, отметим, что нет никакой необходимости относить процесс его вытеснения в праславянскую эпоху (см. стр. 109, 127, 353): в славянских языках он едва ли играл когда-нибудь заметную роль, будучи случайным ответвлением инструментального творительного падежа при постоянном господстве отложительных конструкций для выражения этого значения. Попутно укажем, что значение материала, «из которого что-либо сделано», представляется весьма сомнительным при глаголе *родиться* (др.-сербск. *плотию раждается; раждается из отроковицы*, стр. 108). Пример: ... *сдѣлан мѣхомъ...* (стр. 108) взяты из памятника XVII в., следовательно, в этот период творительный данного типа в русском языке еще был возможен. К инструментальному творительному падежу примыкают творительный образа действия (инструментальный) и творительный тавтологический.

Следующая глава (IV, автор — К. И. Ходова) посвящена творительному падежу в страдательных конструкциях и безличных предложениях, иначе — творительному логического субъекта и источника действия. Относящийся к этому разделу материал излагается несколько иначе, чем материал предшествующих разделов: не по эпохам (древние языки — современные языки), но по отдельным языкам, начиная с древнего и кончая современным состоянием. Впрочем и при таком порядке изложения создается достаточно полное представление о развитии соответствующего типа творительного падежа. Среди синонимических конструкций, конкурирующих в славянских языках с творительным логического субъекта (родительный падеж с *от*, *у*, винительный с *через*), отмечается и своеобразная конструкция *по* + местный падеж сербскохорватских говоров (стр. 136). Относительно *от* + родительный падеж в значении логического субъекта автор приходит к выводу, что эта конструкция живому русскому языку в письменный период его истории не была свойственна (стр. 139). Отметим фактическую ошибку: в примере из Фрейзингенских отрывков... *v cesarstvo svoje, eže jest ugotovleno iskonni dokonni izvolenikom božiem* (стр. 134) — не творительный, но дательный падеж («приготовлено кому?»).

Творительный причины (гл. V, автор — К. И. Ходова) постепенно вытесняется предложными конструкциями во всех славянских языках, за исключением чешского (литературного), где он по-прежнему широко употребителен. Рассматриваются случаи адвербиализации творительного причины. Затрагивается и

вопрос о предложно-падежной синонимике при выражении причинного значения; однако вследствие исключительной многообразности способов выражения причины в славянских языках автор раздела, естественно, не может проследить в подробностях взаимодействие предложных конструкций и творительного причины. В перечислении средств выражения причины в русском языке отсутствует предлог *из-за* с родительным, в украинском *через* с винительным (стр. 177—178). Отметим, что в ст.-слав. *по скрѣби дѣнии тѣхъ. слънцье мръкнеть...* (Мар.) (стр. 176) местный падеж с предлогом *по* выступает в значении времени («после»), а не причины.

Творительный превращения и сравнения (гл. VI, автор — К. И. Ходова), а также творительный с овокупности (гл. VII, автор — Д. С. Станисева) особенных замечаний не вызывают.

Творительный ограничения (гл. VIII, автор — М. А. Гадолина) распределяется по трем группам случаев в зависимости от характера управляющего слова: приадективный, присубстантивный и приглагольный. Устанавливается связь последней группы с инструментальным творительным падежом. Из неточностей в этом разделе отметим помещение нескольких случаев приадективного творительного падежа в подгруппе творительного при страдательных причастиях (при *прожиточень, увѣчна*, стр. 214).

Творительный времени (гл. IX, автор — Л. С. Малаховская) выступает в двух основных видах: творительный, обозначающий действие, и творительный, обозначающий время как момент. Первый тип (*и днем однемъ перемчали девяносто верст...*, стр. 226) представлен немногочисленными случаями, почти исключительно в памятниках древних славянских языков. Отмечая, что творительный заполненного отрезка времени во всех славянских языках выходит из употребления, Л. С. Малаховская в качестве заменяющих его грамматических средств приводит беспредложный винительный и винительный с предлогом *через* (стр. 228—229). Однако беспредложный винительный в русском языке, по-видимому, так же как и в других славянских языках, вовсе не приходит на смену творительному падежу времени. Всем приведенным в разделе случаям древнего творительного падежа (за исключением одного примера из древнечешского языка) соответствует винительный падеж с предлогом *за* (*за один день проехали девяносто верст, построят за три дня, сделает за день и т. п.*) или с предлогом *на* (*на миг прищурить глаза*). Л. С. Малаховской следовало обратить больше внимания на грамматические свойства глаголов, при которых выступают беспредложный винительный и творительный заполненного отрезка времени. Беспредложный

винительный падеж используется в первую очередь при глаголах несовершенного вида, ср. *над стенью и зиму и лето висела мела...* (стр. 227). Условием его употребления при глаголах совершенного вида является, по-видимому, отсутствие при подобных глаголах винительного падежа прямого дополнения, ср. польск. *kobieta przeleżała noc i następny dzień* (стр. 228). Что касается творительного времени, то он применялся в первую очередь или почти исключительно при глаголах совершенного вида, притом независимо от наличия или отсутствия прямого дополнения. Отметим попутно, что в примерах из современного русского языка: *Тот же день он стал хлопотать об отпуске. Я решил тот же час отправиться в Оренбург* (стр. 227) — винительный падеж обозначает время как момент, а не как заполненный действием отрезок; такое же значение выражал винительный падеж *вечер* (*Был тулуян... заложил вечер у ценовальника*, стр. 228), давно уже превратившийся в наречие.

Более последовательно рассматривается творительный времени второго типа («время как момент»). Л. С. Малаховская устанавливает некоторое расширение круга существительных, способных выступать в этой форме, по сравнению с древними славянскими языками. Следует указать, что среди синонимических средств падежного синтаксиса, выступающих в славянских языках, не упоминается довольно обычный в древнерусском языке родительский времени. Ср.: *той же зимы преставися посадникъ Кириль...* Новг. 1 лет. мл. изв., 1410 г.¹ Отметим, что творительный падеж *путемъ* в др.-русск. конструкции *Яропольъ же Иаяславич тогда разболбся путемъ ида...* (стр. 233) сам по себе не выражает времени; значение времени передается дееспричастным оборотом, в состав которого входит творительный падеж.

Творительный места беспредложный (гл. X, автор — А. М. Булыгина) рассматривается в трех подгруппах, выделяемых в зависимости от значения слова, стоящего в творительном падеже, и значения управляющего глагола: творительный пересекемого пространства, пересекемого пространства и отверстия. Означенно такие подвиды творительного места не выделяются; однако А. М. Булыгина убедительно показывает, что по славянским языкам эти подвиды имели различную синонимичу и отчасти различную судьбу. Отмечается особая судьба творительного места в чешском языке, где он получил широкое распространение при глаголах нецеленаправленного движения (ср. совр. чешск.: *vlakem chodil voják*, стр. 252).

Предложный творительный места (гл. XI) рассматривается тем же автором по

отдельным предлогам, причем определяются и производные от местных значений (временные, объектные, причинные и др.). Отметим некоторые неточности. Др.-русск. *поставиша... полкъ за Рождествомъ Христовомъ* (стр. 274), судя по контексту, обозначает не время, но место (имеется в виду церковь Рождества); это действительно и в отношении примера *...между святымъ Рождествомъ и Духомъ святымъ* — Пск. лет., 26 (стр. 280) — определяется место, находящееся между двумя псковскими церквями. Вообще, конечно, предлог *между* с творительным падежом мог иметь временное значение уже в древнерусском языке. В нижеследующем примере предлог *над* с творительным падежом употребляется не столько в значении времени, сколько в значении «кроме того» или «сверх того»: *еще же надъ тѣмъ приняли есте нашего ворага...* Моск., 241 (стр. 286; контекст содержит перечисление нанесенных обид, к которым присоединяется еще «принятие ворага»).

Выделение в особую главу (гл. XII, автор — М. А. Гадолина) творительного при отглагольных именах существительных и приадективного творительного ограничения несколько нарушает систему изложения (присубстантивный и приглагольный творительный ограничительный рассматривался в гл. VIII). Творительный присубстантивный беспредложный в настоящее время распространен главным образом в книжной речи; более широкое применение находит при отглагольных именах предложный творительный падеж. Творительный приадективный широко употребляется в южных и восточнославянских языках (но главным образом при прилагательных, входящих в состав сказуемого) и, как полагает М. А. Гадолина, возник еще в праславянскую, или даже более раннюю, эпоху (стр. 312).

Особый раздел (гл. XIII, автор — Т. С. Тихомирова) посвящен процессу адвербиализации творительного падежа на материале польского языка.

В заключительной главе (XIV) подводятся некоторые общие итоги.

Обращаясь к работе в целом, мы можем отметить, что она дает довольно полное представление о развитии значений и непредикативных функций творительного падежа в славянской языковой группе. Полагаем, что методика исследования и основы классификации случаев употребления творительного падежа были выбраны правильно. Именно в силу специфики творительного падежа, исключительно богатого значениями и склонного к адвербиализации, материал не мог быть успешно сгруппирован по синтаксическим функциям падежной формы. Представляется вполне оправданным и отсутствие особого раздела, посвященного творительному образу действия: этот вид творительного падежа исключительно р

¹ «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», М.—Л., 1950, стр. 402.

происхождению и до сих пор пополняется за счет самых различных его значений.

Принципы выделения отдельных значений, основных и производных, и группировки случаев употребления, нашедшие отражение в исследовании творительного падежа, в значительной мере могут быть использованы и при анализе других падежей. Однако творительный падеж в общем менее тесно связан с господствующими словами, чем такие падежи, как винительный и дательный, характеризующиеся более сильным управлением; поэтому при определении значений творительного падежа большую роль играет лексическое (или лексико-грамматическое) значение слова, принимающего форму творительного падежа.

Исследование падежных значений в условиях тщательного учета существующей синтаксической синонимии на данном этапе сравнительно-исторических исследований является уже совершенно необходимым требованием методического характера. Однако подробный анализ взаимодействия падежной формы и ее синонимов в различные эпохи и в разных языках не всегда возможен. Весьма затруднителен, например, анализ взаимоотношений творительного времени с различными иными средствами выражения этого значения (случаи выражения временного значения формой творительного падежа, вероятно, ни в одном славянском языке никогда не составляли более 5% в системе прочих средств предложно-падежного синтаксиса). Подробный и всесторонний анализ синтаксических синонимов с позиций одного определенного падежа необходим, надо полагать, в тех случаях, когда исследуются типичные значения этого падежа, мало свойственные другим предложно-падежным конструкциям в системе данного языка (например, значения инструмента, логического субъекта, пути движения — у творительного падежа). Впрочем, само понятие синтаксического синонима еще нуждается в уточнении.

Фактический материал в исследовании приведен в достаточном количестве почти по всем славянским языкам (лишь белорусский язык представлен сравнительно слабо), хотя выбор источников в отдельных случаях мог бы быть более тщательным. К сожалению, почти всегда отсутствует перевод инославянских примеров на русский язык, что несколько затрудняет использование приводимых данных (особенно в части диалектного материала).

В заключение можно сказать, что несмотря на отдельные недочеты частного порядка, рецензируемый коллективный труд разрешил, как указывалось, ряд важных проблем синтаксиса славянских падежей; очень ценными оказались наблюдения над конкурирующими синонимическими конструкциями и особенно над процессом адвербиализации, характерным для разви-

тия целого ряда грамматических значений творительного падежа, связанным с потерей субстанциональности существительного и ведущим к перемещению его синтаксических связей. При этом славянские языки обнаруживают разнообразные этапы этого процесса.

«Творительный падеж в славянских языках» вполне удачно начинает собою серию сравнительно-исторических исследований в области падежного синтаксиса славянских языков.

А. Б. Прагдин

С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. Изд-во АН Казах. ССР.— Алма-Ата, 1957. 197 стр.

Профессор С. Е. Малов — первый тюрколог, который посетил желтых уйгуров (сары жуур) и начал изучение их языка, устного народного творчества и культуры. За время двух своих путешествий в Китай, совершенных более сорока лет назад, им накоплен обширный лингвистический материал. Часть записанного С. Е. Маловым материала после многолетней тщательной обработки издана теперь в виде монографии «Язык желтых уйгуров». Впервые этому чрезвычайно интересному и почти неизвестному языку посвящено обстоятельное исследование — и в этом прежде всего большая научная ценность труда С. Е. Малова. Книга состоит из «Предисловия» (стр. 3—7), «Словаря» (стр. 9—154) и «Грамматики» (стр. 155—194).

В «Предисловии» содержатся сведения о различных группах уйгуров (эти сведения относятся в основном к периоду поездок С. Е. Малова), о главных особенностях желтоуйгурского языка, высказывается мысль о его генезисе. Сведения о том, что «желтых уйгуров приблизительно до 10 тысяч человек» (стр. 3), — не точны. Всего желтых уйгуров насчитывается 3938 человек. Из них около 2000 человек тюркоязычных, приблизительно 1500 человек монголоязычных и, наконец, около 440 говорящих только по-китайски. После установления народной власти в Китае названные группы уйгуров приняли единое государственное наименование жу-ц(г) и вошли как составная часть в Сунань-тогуский автономный уезд, созданный в феврале 1954 г. в составе провинции Гань-су.

«Словарь» С. Е. Малова прекрасно отражает богатую и хорошо сохранившуюся лексику сары жуур'ов. Он содержит названия родов и «костей» уйгуров, географические наименования, мужские и женские имена, названия предметов шаманского ритуала, имена буддийских божеств и многое другое.

Здесь коснусь только некоторых слов: *amei (ahiez)*¹ (стр. 19) означает не только «милый», «милая», «маленький», но и «де-

¹ Латинская транскрипция моя.

теньш» (ср.: *seyen ahteı* «ослеенок», *kegek ahteı* «щенок»). Наряду с *мырыт* (горн. уйг.) «кошка» (стр. 78) следует указать также встречающийся у степных уйгуров вариант *miriř* (*miriř qus* «сова»). По свидетельству С. Е. Малова, *пазар* (*bazır*) «так уйгуры называют иногда город Сучжоу, около которого они живут» (стр. 85). Мне думается, что у уйгуров значение этого слова немного другое — «крепостная стена, город»; с тем же значением *paazar* имеется в саларском языке: ср. *Iaze paazar* «город, крепость Язы» (современное название *Diři*). С. Е. Малов дает только следующие значения слова *тамыр* — «жила»; «пульс» (стр. 111); но *tamır* у уйгуров Минхайзе значит еще «маленький приток реки, арык» (ср. *şeyen* «большой приток реки, канал»). В «Словаре» дается значение слова *тыстыз* «зубатый», «с выдающимися клыками» (стр. 128); интересно отметить, что в сочетании с числительными это слово служит для выражения возраста животных: *tört tıstır* «трехлетний баран», *atti tıstır* «четырёхлетний баран».

В «Словаре» широко представлена не только тюркская лексика, но и заимствованные слова из китайского, тибетского и монгольского языков. Даже при беглом просмотре видно, что количество слов китайских намного больше числа тибетских и монгольских слов. Причина ясна — воздействие на уйгурский язык китайского языка (ганьсуйский диалект) наиболее сильное (и не только в области словаря). За годы после освобождения влияние китайского языка, несомненно, возросло. Вся современная политическая, государственная, административная, военная лексика, терминология, касающаяся просвещения и школы, и др. заимствуются из китайского языка.

Запись слов, приводимых в «Словаре», в большинстве своем сделана очень точно. Весьма ценно и то, что для пояснения слов и их значений привлечен большой сравнительный материал по лексике тюркских языков. Таким словарем с чувством признательности воспользуется не только лингвист, но историк и этнограф.

Грамматическая часть книги хотя и велика по объему, но в ней отражены все наиболее существенные черты языка желтых уйгуров. Эта часть также значительно выигрывает от представленного в ней широкого сравнительного материала, главным образом по восточнотюркским языкам (см. особенно стр. 157—158, 162, 163 и др.).

В разделе фонетики (стр. 157—164) подробно описана система гласных, чередования и переходы согласных, вариации слов по линии гласных, ярко воспроизводящие звучание живой уйгурской речи.

Вместе с китайскими словами язык *sağı* *juıgı* 'ов усвоил звуки *f* (например, см. на стр. 157 *fi* «кобылица», *ufkus* «корова» и др.) и *tř* (стр. 159); второй из них, можно

думать, получил за последнее время большее распространение по сравнению с тем, что регистрируют грамматика и словарь С. Е. Малова. Можно указать и другие заимствованные уйгурами китайские звуки — свистящие *ř*, *tř* и *tř'*¹.

Очень ценны тонкие наблюдения С. Е. Малова над аспирированными согласными (²*p*^h, ²*t*^h, ²*k*^h, ²*q*^h, ²*ř*^h, ²*ř'*^h), которые встречаются не только в китайских словах, но укоренились и в собственно тюркских, а также пад развившимися на их почве придыхательными гласными (стр. 163). То же самое мне приходилось наблюдать и в саларском языке, который испытал также сильное влияние китайского языка. Как известно, в более ослабленном виде это явление встречается еще в тувинском языке².

В разделе морфологии (стр. 164—194) рассматриваются существительные, прилагательные, местоимения, числительные, глагол и частицы. Наиболее полно анализируется здесь склонение, представляющее интерес главным образом с фонетической стороны (ассимиляция согласных). В числительных, помимо отмеченной и раньше архаической системы счета (от 11 до 29)³, приведены редкие формы с аффиксами *-zo*, *-džylyk* и *-ıke* (стр. 179).

В уйгурском глаголе С. Е. Малов отмечает любопытную черту — отсутствие личных окончаний во временных формах (стр. 6, 189—193)⁴. Надо добавить, что эта особенность в *sağı juıgı* 'ском языке характерна в известной мере и для спряжения имен. То же самое явление, как удалось установить в последнее время, имеет место в саларском языке, который относится к группе «новых тюркских

¹ Характеристику этих звуков см. в кн.: А. Д р а г у н о в, Грамматическая система современного китайского разговорного языка, М.—Л., 1941, стр. 12.

² См. об этом: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1 — «Фонетика», М., 1955, стр. 175—181, 254—260; Ф. Г. И с х а к о в, Тувинский язык. Материалы для научной грамматики, Очерк по фонетике, М.—Л., 1957, стр. 31—33, 87—89, 92—95; Ш. Ч. С а т, Тувинский язык (Краткий очерк) (в кн. «Тувинско-русский словарь», М., 1955), стр. 620—621.

³ См. об этом: В. Б а р т о л ь д, Система числения орхонских надписей в современном диалекте, ЗВО РАО, т. XVII (1906), вып. 4, СПб., 1907, стр. 171—173; С. Е. М а л о в, К изучению турецких числительных, сб. «XLV. академику Н. Я. Марру», М.—Л., 1935.

⁴ Впервые об этом см. в «Отчете о путешествии к уйгурам и саларам» С. Е. Малова («Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях», Серия II, № 1, СПб., 1912, стр. 97).

языков»¹. Салары и желтые уйгуры в течение многих веков живут в тесном взаимодействии с окружающим китайским населением и испытывают на себе шпентсивное влияние китайского языка². Не является ли отмеченная черта спряжения в этих языках результатом воздействия аналитического строя китайского языка? В силу своих особенностей язык *saŋu juŋuŋ'ov* представляет значительный интерес для тюркологов.

Выход в свет рецензируемого труда С. Е. Малова «Язык желтых уйгуров» — выдающееся событие в тюркологии. Надо заметить в то же время, что книга «Язык желтых уйгуров» опередила издание интереснейших текстов по этому языку, также собранных С. Е. Маловым. Было бы целесообразно вместе с изданием текстов переиздать словарь и грамматику, чтобы установить единую их транскрипцию; было бы необходимо также увеличить тираж этой недавно напечатанной и ставшей уже редкостью книги.

Э. Р. Тенишев

¹ С. Е. Малов, Древние и новые тюркские языки, ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2, стр. 142; е г о же, Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.—Л., 1951, стр. 7.

² См. об этом: Э. Тенишев, О языке саларов (отчет о поездке), Пекин, 1957 (рукопись); е г о же, О языке *saŋu juŋuŋ'ov* (отчет о поездке), Пекин, 1958 (рукопись).

Н. С. Петровский. Египетский язык. Введение в иероглифику, лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка, под ред. акад. В. В. Струве. — Л., 1958. 329 стр. (ротапринт).

Выход в свет этой работы является значительным фактом в нашем отечественном востоковедении: до сих пор на русском языке как до октября 1917 г., так и после него фактически египтологической лингвистической литературы не существовало. Этот весьма существенный пробел в нашей науке заполняет книга Н. С. Петровского, являющаяся первым шагом на пути к созданию такой египтологической литературы на русском языке.

Книга Н. С. Петровского задумана как учебное пособие. В предисловии автор сообщает: «по замыслу автора настоящая книга должна явиться первой частью всего труда. В дальнейшем предполагается издание хрестоматии с лексическими и грамматическими упражнениями... Словарь среднеегипетского языка (преимущественно для „Хрестоматии“) должен составлять третью часть» (стр. XIII—XIV). Следует с негерпением ожидать появления хрестоматии и словаря, которые дополнят первую часть работы. Необходимость такой работы давно назрела, а значимость ее в наше время особенно усилилась в

связи с ростом и углублением дружественных и культурных связей между советским народом и народом современного Египта.

Особенностью книги Н. С. Петровского является ряд новых и оригинальных точек зрения на отдельные грамматические явления, и поэтому она, говоря словами В. В. Струве, «представляет не просто учебное пособие в самостоятельном научном изложении материала... но и очень интересный, будничней мысль научный труд» (стр. VII). Особенное внимание египтолога-филолога привлекут те места этого труда, в которых автор рассматривает природу египетского глагола (§ 98—102).

Отметив, что египетскому глаголу по существу чужда категория времени и что он в основном выражает способ действия, автор указывает, что категория способа действия египетского глагола распадается на пять способов действия: 1) однократное действие («перфектный» *šdm. f.*); 2) многократное действие («имперфектный» *šdm. f.*); 3) завершенное действие (форма *šdm. n. f.*); 4) предел действия («старый перфект») и 5) неопределенное действие (ипфитив).

Автор рассматривает эти способы действия совместно с категорией их отрицания и в итоге приходит к гипотетическому выводу, что ведущими способами действия являются завершенное действие и многократное действие. Изложив свои взгляды, автор указывает, что, несмотря на их дискуссионность, они все же могут обосновать некоторые факты языка, которые раньше оставались трудно объяснимыми. Мы не можем здесь входить в подробный разбор и оценку этих взглядов; отметим лишь, что в своей совокупности они представляют собой несомненный интерес для исследователя, как новый подход к сложным проблемам египетского глагола.

Ново также проведенное автором сравнение египетской глагольной формы *šdm. t. f.* с аккадским перфектом, образующимся при помощи инфикса *ta*: этот инфикс, действительно, весьма близок к форманту *t* формы *šdm. t. f.* Автор предполагает наличие общности между египетской и аккадской глагольными формами.

Интересно описание и объяснение глагольной формы, обычно известной под названием «старый перфект» или псевдо-партицип. Автор считает название «старый перфект» не подходящим к ней, так как таковую функцию, по его мнению, выполняла форма *šdm. t. f.* (см. выше). Старый перфект, который автор называет глагольной формой качества и состояния, по его наблюдению является отглагольным наречием, т. е. египетским деепричастием. Ее значение автор иллюстрирует сравнением с русскими деепричастиями прошедшего времени, например *ушедши* и т. п.

Описывая трудные нашему восприятию грамматические особенности египетского глагола, как, например, усложненную

конструкцию причастий страдательного залога и усложненную конструкцию относительных форм, автор вводит в эти описания меткий термин — «направление действия», указанное предлогом. Благодаря этому в значительной степени облегчается понимание сущности этих конструкций.

В разделах книги, рассматривающих другие части речи, также можно найти интересные мысли и предположения. Так, например, говоря о междометиях, автор подчеркивает, что это единственная категория служебных слов, которые в письме имели определители (детерминативы). По убеждению автора, они «выражали не только симптомы, но и определенное понятие чувства и побуждения (не пазывая его!), на что указывает их определитель, свойственный, например, глаголам отношения и желательности» (стр. 262). Удачно предлагаемое автором деление сложноподчиненных предложений на одночленные, т. е. такие, в которых «управляемое (придаточное) предложение несет функцию одного из членов главного предложения», и двучленные, в которых главное и придаточное предложения имеют свои главные члены.

Оригинально также написан раздел о египетской лексике. Автор правильно отмечает «чрезвычайную конкретность мышления египтян и отсюда точность и конкретность слов и выражений»; привлекает к себе внимание его мимолетное, но вполне правильное замечание о том, что «выделение синонимов и, главное, решение вопроса, какие стороны одного понятия отражены синонимами, имеет большое значение, особенно в случае обществено-экономических терминов» (стр. 77), и т. д.

В параграфе о заимствовании египетских слов другими языками читатель с интересом прочтет данные, показывающие египетское происхождение русского глагола *скитаться*, и на ряде других при-

меров убедится в серьезности вклада египетской лексики в сокровищницу мировой культуры.

Мы не можем сейчас остановиться на всех разделах интересной книги Н. С. Петровского, написанной с большим знанием дела. Укажем, однако, на одну неточность. Сомнительно, например, заявление, что демотический язык был промежуточной ступенью между новоегипетским и коптским: приведя это утверждение, автор ссылается на работу Б. А. Тураева¹. Но работа Б. А. Тураева была опубликована в 1920 г., а в 1925 г. К. Зете установил, что демотический язык был последней ступенью развития новоегипетского и что коптский язык не потомок демотического, а разговорный язык египетского народа тех времен, когда демотический был литературным и письменным языком страны².

Правда, таких неточностей в книге Н. С. Петровского мало, и они ни в какой мере ее не обесценивают. Редактор книги В. В. Струве в своем предисловии отметил, «что некоторая недостаточность иллюстративного и справочного аппарата, выражающаяся в отсутствии индекса, ограниченном количестве примеров, в отсутствии указанной на источник последних и т. п., вызвана лишь требованием в виде первого опыта издать сжатый, краткий курс египетского языка». Несмотря на это, труд Н. С. Петровского является весьма ценным вкладом в нашу отечественную науку и будет встречен нашей научной общественностью с большим интересом.

М. А. Коростовцев

¹ См. Б. А. Тураев, Египетская литература, т. I. М., 1920, стр. 229.

² См. К. Sethe, Das Verhältniss zwischen Demotisch und Koptisch und seine Lehren für die Geschichte der Ägyptischen Sprache, «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft», Bd. 79, 1925.

СТРУКТУРАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА С. УЛЬМАНА

Структурализм не является законченной лингвистической теорией, так как семантический аспект языка не изучался систематически и всесторонне ни представителями Пражского лингвистического кружка, ни последователями Л. Ельмслева, ни сторонниками дескриптивной лингвистики Л. Блумфилда. В трудах основоположников структурализма имеются лишь отдельные отрывочные замечания по вопросам семантики, лишенные внутреннего единства¹. Их противоречивость объяс-

няется тем, что одни ученые исходят из представления о системности семантических явлений и поэтому склонны рассматривать семантику как лингвистическую дисциплину (ср. Ф. де Соссюр, Н. Трубецкой, отчасти В. Брэндал), а другие отрицают системность семантики и поэтому исключают ее из области лингвистики (Л. Блумфилд, Л. Ельмслев). Единственная известная нам попытка создать законченную структуральную теорию семантики

¹ См. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 124; Л. Ельмслев, Структуральный метод в лингвистике, «Acta linguistica», vol. VI, Co-

penhague, 1950—1951, стр. 58; V. B r ø n d a l, Essais de linguistique générale, Copenhague, 1943, стр. 118; N. S. T r o u b e t z k o y, Principes de phonologie, Paris, 1949, стр. 3.

принадлежит С. Ульману, к анализу работ которого мы и обратимся. Работы С. Ульмана заслуживают рассмотрения еще и потому, что 1) вопросы семантики изложены в них на широком фоне общелингвистической проблематики, 2) в них обобщен и воплощен в рамках единой теоретической системы наиболее ценный опыт семантических школ XIX и XX столетий, 3) в них по-новому поставлены некоторые коренные вопросы семантики, 4) в них сделана попытка преодолеть «кризис семантики» и 5) применить общие принципы к конкретному исследованию семантических систем различных языков.

Семантическая концепция С. Ульмана, основные контуры которой были намечены в его очерке «Слова и их употребление»¹, приняла законченный вид в его главной работе «Принципы семантики»² и была практически применена в монографии «Очерк французской семантики»³ и статье «Дескриптивная семантика и лингвистическая типология»⁴.

1

Изложение работ С. Ульмана естественно начать с ключевого вопроса о том, как он понимает роль семантики в системе языка и какое место отводит ей в структуре лингвистики. Подобно всем структуралистам, С. Ульман отвергает традиционное деление языкознания на фонетику, морфологию, синтаксис и семантику. В основе схемы аспектного деления лингвистики, предлагаемой в его работах, лежит анализ языковых знаков с точки зрения их функций, их внутренней структуры и их отношений во времени и пространстве. Основными знаками или единицами языка Ульман считает фонемы, слова и синтагмы. Функция фонем сводится к тому, чтобы различать значения, хотя сами фонемы значениями не обладают. Слова обозначают предметы, а синтагмы передают отношения между ними. Эти единицы изучаются соответственно фонологией, лексикологией и синтаксисом.

На это тройное деление лингвистики как бы наслаивается новое, двойное деление, которое, однако, не охватывает фонологии, поскольку у фонем нет значений. С. Ульман различает две стороны языковых знаков: внешнюю сторону (обозначающее) и семантическую сторону (обозначаемое). К знакам можно подходить, следовательно, с морфологической и се-

мантической точек зрения. Лексикология делится соответственно на лексическую морфологию (сюда входит и вся теория словообразования) и лексическую семантику, а синтаксис — на синтаксическую морфологию (анализ формальных приемов передачи отношений) и синтаксическую семантику (анализ их функций).

Рассмотрение знаков языка с точки зрения их соотношения во времени и пространстве (синхрония и диахрония) дает новый критерий, в силу которого каждая из пяти лингвистических дисциплин подразделяется на синхроническую и диахроническую⁵. Всего выделяется, таким образом, 10 лингвистических дисциплин, из которых С. Ульман занимается двумя: синхронической лексической семантикой и диахронической лексической семантикой⁶.

2

Центральным понятием лексической семантики является понятие значения, анализ которого ведется на основе схемы «треугольности соотносительности» С. К. Огдена и И. А. Ричардса, включающей три элемента: символ (звуковой комплекс слова), мысль о вещи и самую вещь. Звуковой комплекс слова С. Ульман называет именем, а мысль о вещи (т. е. понятие) — смыслом. Вслед за Ф. де Соссюром С. Ульман отказывается от анализа отношений смысла и вещи как задачи по существу логической. Значение определяется как «взаимоотношение имени и смысла, которое дает им возможность вызывать в представлении друг друга» (W, стр. 33; PS, стр. 70; PSF, стр. 23; DSLT, стр. 228). Из этого «функционального» определения значения выводятся все категории синхронической и диахронической семантики.

Категории синхронической семантики. В ряде случаев значение — это отношение одного имени к одному смыслу. Такое соотношение называется простым значением. В более сложных ситуациях один смысл может быть связан с несколькими именами или, наоборот, одно имя может быть связано с несколькими смыслами. Такое соотношение называется сложным значением (W, стр. 34—44; PS, стр. 83—105; PSF, стр. 101—160; DSLT, стр. 228).

⁵ Сходные идеи развивает П. Гиро (см. P. Guiraud, *La sémantique*, Paris, 1955).

⁶ В этой схеме стилистика не обособляется в отдельную отрасль лингвистики, поскольку «любая область синхронической системы может быть проанализирована и оценена с точки зрения стилистики... Дело заключается в том..., чтобы исследовать те же явления под другим углом зрения» (PSF, стр. 46).

¹ S. Ullmann, *Words and their use*, New York, 1951 (в дальнейшем сокращенно — W).

² Е го же, *The principles of semantics*, Glasgow, 1951 (сокращенно — PS).

³ Е го же, *Présis de sémantique française*, Berne, 1952 (сокращенно — PSF).

⁴ Е го же, *Descriptive semantics and linguistic typology*, «Word», vol. 9, № 3, 1953 (сокращенно — DSLT).

Основными характеристиками простого значения являются: 1) относительная мотивированность имени, 2) относительная нечеткость смысла, которая объясняется особенностями процессов абстрагирования и неясностью очертаний самих вещей, 3) способностью имени и смысла обладать определенными эмоциональными характеристиками.

С. Ульман четко разграничивает условность имен, как качество абсолютное, и их мотивированность, как качество относительное. Различается фонетическая мотивация (звукоподражание), морфологическая мотивация (ср. англ. *lead-er-ship*) и семантическая мотивация (ср. англ. *foot of a hill*). Фонетическая мотивация тесно связана с эмоциональными элементами простого значения. Внутренним источником его эмоциональности являются эмоциональные характеристики имени (ономатопея) и смысла. Здесь Ульман приводит в качестве примера такие слова, как *свобода*, *права*, *тирания*, которые, по его мнению, выполняют главным образом экспрессивную функцию. Внешним источником эмоциональности простого значения являются «обертоны» архаизмов, заимствованных слов, технических и иных терминов и т. д. Их экспрессивная функция сводится к тому, чтобы вызывать в воображении атмосферу, с которой эти слова привычно ассоциируются.

Все эти качества простого значения присутствуют в равной мере сложному значению, дополнительными характеристиками которого являются синонимия (один смысл — несколько имен), сдвиги в употреблении, полисемия, омонимия (одно имя — несколько смыслов). Анализируя эти категории, Ульман выдвигает ряд новых и интересных идей (W — стр. 45; PS — стр. 106—137; PSF — стр. 180—235).

Развивая положения Ш. Балли о синонимическом ряде как ассоциативной группе, Ульман под иным углом зрения рассматривает некоторые диахронические тенденции, в частности, формальный процесс контаминации синонимов (*glimmer* = *gleam* + *shimmer*) и семантические процессы ассимиляции и диссимляции синонимов. Основным случаем ассимиляции является синонимическая аналогия, в результате которой все слова данного синонимического ряда приобретают новое значение, если оно возникает у одного из его членов. Диссимляция проявляется в широко известных процессах дифференциации и конкуренции синонимов. С. Ульман считает эти процессы показателями прочности и постоянства синонимических групп и свидетельством того, что синонимы действительно ассоциируются в сознании.

Заслуживает внимания выделение так называемых сдвигов в употреблении слов (ср. англ. *healthy* в сочетаниях *healthy climate*, *healthy constitution*) как промежуточного звена между простым значением (моносемией) и полисемией. Сдвиги в упо-

треблении являются одним из источников полисемии, а последним этапом семантического развития является омонимия, так как она приводит к распаду полисемии и образованию двух разных слов.

Широко освещен С. Ульманом вопрос об источниках полисемии. Не ограничиваясь изложением традиционных положений по этому вопросу, он указывает, что полисемия может развиваться в результате семантического влияния по аналогии¹ и из омонимии, которая переходит в полисемию путем сближения смыслов.

Интересны мысли Ульмана по поводу структурной роли полисемии и омонимии в языке. В отличие от Ж. Жильерона и его последователей, которые склонны были преувеличивать «патологические» последствия полисемии и омонимии, Ульман считает, что патологическая ситуация в случае многозначности возникает лишь тогда, когда у одного имени развиваются два или более несовместимых смысла, способных целесообразно фигурировать в одном и том же контексте. На пути так называемых омонимических столкновений стоят различия в написании, грамматические различия, различия «сфер мысли», к которым принадлежат обозначаемые омонимиями явления, и контекст.

К а т е г о р и и д и а х р о н и ч е с к о й с е м а н т и к и. С. Ульман исходит из того, что между синхронией и диахронией существует неразрывная связь. Это положение, выгодно отличающее систему С. Ульмана от построений других структуралистов, предполагает системность диахронии.

Двумя основными проблемами диахронической семантики, по мнению С. Ульмана, являются проблема семантических изменений и проблема семантического закона. Он пишет: «Если значение понимается как взаимоотношение имени и смысла, то можно сказать, что семантическое изменение происходит в тех случаях, когда смысл приобретает новое имя или имя приобретает новый смысл» (PS — стр. 171). Семантическое изменение происходит либо в результате лингвистического консерватизма (ср. *to sail* «плыть под парусом», «плыть»), либо в результате семантического новшества. При изменении значения, связанного с семантическим новшеством, возможны два основных случая: перенос имен и перенос смыслов. При этом обращается внимание на то, происходит ли перенос значения на основе ассоциации по сходству или ассоциации по смежности. Возможны также комбинированные изменения. Пример переноса имен на основе сходства смыслов — *leg of a table* «ножка стола»; пример переноса

¹ Ср. англ. *to realize*, заимствованное из французского со значением «реализовать»; позднее в английском развилось значение «понимать», перешедшее по аналогии к франц. *réaliser*.

имен на основе смежности смыслов — *town* в значении «жители города». Пример переноса смыслов на основе сходства имен — народная этимология; пример переноса смыслов на основе смежности имен — превращения французских слов *pas*, *point*, *personne* и др. в отрицательные частицы в связи с их ассоциацией с отрицательной частицей *ne* в рамках одного предложения.

Помимо этой универсальной классификации типов изменения значений, представляют интерес соображения С. Ульмана по поводу существа и причин семантических изменений, на которых, однако, мы не имеем возможности остановиться.

Такова в самых общих чертах схема синхронической и диахронической семантики, изложенная в работах С. Ульмана. Она выдвигается как основа структурального анализа любого языка. Широкий охват материала позволяет С. Ульману сделать ряд новых и важных выводов о взаимосвязи, взаимозависимости и взаимоприковности всех основных семантических категорий (мотивированности, ономатопеи, эмоциональных элементов, синонимии, сдвигов в употреблении, полисемии, омонимии, изменения значения и т. д.). С. Ульман показывает, что несмотря на бесконечное разнообразие семантической проблематики, несмотря на кажущуюся противоположность методов и целей представителей различных школ и внешнюю несовместимость их выводов, результаты на первый взгляд разрозненных поисков, добытые ими в течение десятилетий кропотливой работы, не только могут быть примирены, но внутренне дополняют, подтверждают и обогащают друг друга.

Тем не менее многое в работах С. Ульмана вызывает возражения. «Функциональное» определение значения как отношения звукового комплекса и понятия, выражаемого словом, не может быть признано убедительным. Оно ведет к возникновению внутренних противоречий в схеме С. Ульмана. Одной из основных единиц языка С. Ульман считает слово, но критерий слова фигурирует в его работах лишь до тех пор, пока он говорит о его автономности. В дальнейшем понятие слова растворяется в категориях «имени» и «смысла», и все основные понятия синхронической семантики (простое значение, т. е. моносемия, и сложное значение, т. е. синонимия, сдвиги в употреблении, полисемия и омонимия) определены как отношение некоторого числа имен к некоторому числу смыслов. Реалистический взгляд на факты языка, однако, заставляет С. Ульмана быть непоследовательным и позднее он вновь вводит в свои рассуждения критерий слова: при полисемии смыслы ощущаются говорящим как принадлежащие одному слову, а омонимия — это внешнее совпадение двух разных слов.

Именно тем, что С. Ульман сам сознает узависимость своих исходных положений,

объясняется тот на первый взгляд парадоксальный факт, что, потратив столько усилий для определения значения, он в дальнейшем не использует этого термина, продолжая оперировать категориями имени и смысла. Это, конечно, не случайность. Логическое развитие его схемы приводит к абсурдным заключениям, ведущим не только к смешению полисемии и омонимии, но и к смешению синонимии и полисемии, синонимии и омонимии. В самом деле, если значение есть отношение имени к смыслу, то при наличии у смысла *A* трех имен *L*, *M* и *N* получаем три значения (по числу отношений *AL*, *AM*, *AN*); три значения получаем и в том случае, если с именем *L* ассоциируются смыслы *A*, *B* и *V* (*LA*, *LB*, *LV*).

Работы С. Ульмана, представляющие собой компендиум всей современной семантики, отражают не только ее достижения, но и ее слабости. В его книгах обращает на себя внимание недостаточная разработанность критериев семантических явлений. В качестве критерия синонимичности Ульман выдвигает в своих работах принцип взаимозаменяемости синонимов в любом контексте. Этот принцип, однако, не может быть последовательно применен, поскольку почти не существует синонимов, которые не отличались бы друг от друга или с семантической, или с эмоционально-стилистической точки зрения¹. Большинство синонимов С. Ульман провозглашает поэтому квази- или псевдосинонимами и в последних работах приходит к выводу об иллюзорности и бесплодности изучения проблем синонимии, за

¹ В связи с вопросом о возможных различиях между синонимами следует отметить, что С. Ульман совершенно не рассматривает морфолого-синтаксических особенностей синонимов типа *little*, *small* «маленький» (первое прилагательное в значении небольшого размера не имеет сравнительной и превосходной степени); *lonely*, *alone* «одинокий» (второе слово употребляется только в предикативной функции). Анализ морфолого-синтаксических различий в использовании синонимов важен не только с точки зрения полноты описания материала. Он позволяет фиксировать связь между словарем и грамматикой и создает прочную основу для изучения некоторых грамматических явлений, прежде всего явления супплетивности. Др.-англ. *þan* («идти») и *wendan* (непереходное значение «идти, поворачиваться») были синонимами, а затем, в связи с закреплением *wendan* в форме прошедшего времени, они образовали супплетивную группу; ср. совр. англ. *go* — *went* — *gone*. *Small* и *little* являются синонимами в английском языке, а в датском, в результате сходных процессов, соответствующие прилагательные *lille* (ед. число) и *små* (мн. число) образовали супплетивную пару.

исключением вопроса об их происхождении и распределении в словаре. Остается неясным также, как отличать сдвиги в употреблении от полисемии и как установить, в каком случае мы имеем дело с одним и тем же словом и когда это два (или более) внешне совпадающих слова.

Не свободно от неясностей проводимое С. Ульманом разграничение простого и сложного значения. Одной из особенностей простого значения является наличие мотивированности, частным случаем которой является семантическая мотивированность (*foot of a hill*). С точки зрения самого С. Ульмана, однако, семантическая мотивированность должна быть признана отличительной чертой сложного значения, поскольку она практически реализуется в сдвигах в употреблении и полисемии. Интересно, что С. Ульман дает один и тот же пример и для иллюстрации простого значения, и для иллюстрации изменения значения, приводящего к полисемии (*foot of a hill*).

В работах С. Ульмана совсем не затронут вопрос о типах лексических значений слова. Правда, в теоретическом плане эта проблема была поставлена акад. В. В. Виноградовым только в 1953 г., но в лексикографической практике, особенно со времени опубликования 12-томного Оксфордского словаря английского языка, проводилось разграничение прямых и переносных, конструктивно и синтаксически обусловленных и необусловленных значений. С другой стороны, уже А. Дармстетер исследовал влияние синтаксической конструкции на развитие и функционирование значения¹. С. Ульман не только не развивает этих принципов — он явно недооценивает факт обусловленности значения слова рядом лексических и грамматических факторов (наличием синонимов и антонимов, синтаксическими условиями реализации и т. д.). Это происходит именно потому, что он отказывается от фиктивного понятия «функционального» значения и оперирует только логической категорией понятия (смысла), в становлении которой лингвистические факторы играют меньшую роль.

3

В работах С. Ульмана по-новому поставлен один из основных вопросов семантики — вопрос о семантическом законе.

Наиболее значительными семантическими закономерностями со времен основоположников семантики считались некоторые виды переносов, особенно перенос от конкретного к абстрактному, от физического к духовному (ср. русск. *понимать*). М. Бреаль сформулировал еще семантиче-

ский закон распределения², который является, по существу, тенденцией к дифференциации синонимов, но не законом их развития. В 1931 году Г. Стерн выдвинул свой семантический закон, сформулированный по образцу классического фонетического закона: английские наречия, которые приобрели значение «быстро» до 1300 г., в определенных условиях приобретают значение «немедленно»³. Наконец, Г. Шпербер, незадолго до Г. Стерна, сформулировал правило, пригодное для любого языка в любой период его развития: «Если в какое-то время комплекс идей наполнен такой эмоциональной силой, что заставляет слово расширять сферу своего употребления и менять свое значение, можно с уверенностью ожидать, что значения других слов, принадлежащих к тому же эмоциональному комплексу, тоже будут сдвинуты»⁴. Следует отметить, что закон Г. Стерна — это, по всей видимости, случай синонимической аналогии (см. выше), а правило Шпербера имеет не столько семантическую, сколько психологическую основу.

Новое у С. Ульмана состоит в этой области в формулировке панхронического статистического закона. С. Ульман исследовал закономерности синэстезии (или кинэстезии, т. е. интерсенсорального переноса типа *теплые краски, острые звуки, сладкие речи*) на основании выделения слов, обозначающих осязание, температуру, вкус, обоняние, слух, зрение. Он устанавливает три основные панхронические закономерности: 1) иерархическое распределение: слова, обозначающие элементарные ощущения (осязание, вкус), переносно употребляются для характеристики более сложных ощущений (слух, зрение), а не наоборот; 2) основой синэстетического переноса являются слова, обозначающие различные виды осязания; 3) эти слова в новых значениях выражают понятия, связанные со слуховыми ощущениями. Развитие происходит в указанном направлении в 70—80% случаев, но возможны и исключения. Поэтому названная тенденция формулируется как панхронический статистический закон, закон средних цифр.

Изучение синэстезии дает, несомненно, исключительно интересные результаты. Однако охват материала, рассмотренного с точки зрения закономерностей этого рода, невелик. По всей видимости, время широких обобщений в этой области не пришло.

² M. Bréal, *Essai de sémantique (science des significations)*, 5-me éd., Paris, 1911, гл. II.

³ G. Stern, *Meaning and change of meaning, with special reference to the English language*, Göteborg, 1931, стр. 190.

⁴ См. H. Sperber, *Ein Gesetz der Bedeutungsentwicklung*, «Zeitschr. für deutsches Altertum», Bd. LIX, 1922, стр. 67.

¹ A. Darmesteter, *La vie des mots étudiée dans leurs significations*, Paris, 1887.

4

Попытка С. Ульмана преодолеть «кризис» современной семантики связана с идеей структуралистов о том, что новейшие структуральные приемы изучения языка могут быть совмещены с традиционной методикой сравнительно-исторического языкознания.

Для традиционной семантики, которая окончательно сложилась как наука после основополагающих исследований М. Бреаля, А. Дармстедера, М. М. Покровского, а затем Г. Пауля, А. Мейе, К. Эрдмана и других, характерна была изолирующая («атомистическая») и психологическая трактовка значения, сохранившаяся в работах А. Карнуа, Г. Шпербера и других лингвистов, несмотря на введение ряда терминологических новшеств. В своей книге Г. Стерн подвел итоги этого направления и одновременно наметил новые пути развития традиционной концепции значения.

Между тем, в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра был разработан новый подход к языку как к социально обусловленной системе синхронических знаков, которые обладают значимостью лишь в сети различий и противопоставлений. Исходя из этой теории, И. Трир порывает с традиционными учениями и самой концепцией значения, которая, по его мнению, предопределяет атомистический подход к языковым фактам, и публикует свой основной труд¹, где он пытается развить соссюровский принцип системного изучения языка, применяя его к диахроническому исследованию семантических «полей».

Таким образом, развитие семантики пошло по двум различным путям: с одной стороны, разрабатывалась теория семантического поля, с другой стороны, продолжалось традиционное изучение значения². Эти два направления все более и более отдалялись друг от друга.

¹ J. Trier, *Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes*, Bd. I — Von den Anfängen bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts, Heidelberg, 1931.

² См., помимо названных С. Ульманом, еще следующие работы: К. Reuning, *Joy and Freude. A comparative study of the linguistic field of pleasurable emotions in English and German*, Swarthmore, 1941; S. Ohman, *Wortinhalt und Weltbild. Vergleichende und methodologische Studien zur Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie*, Stockholm, 1951; е е же, *Theories of the linguistic field, «Word»*, vol. 9, № 2, 1953; G. Matoré, *La méthode en lexicologie. Domaine français*, Paris, 1953; В. Weman, *Old English semantic analysis and theory, with special reference to verbs denoting locomotion*, Lund, 1933, А. Rudskoger, *Fair, foul, nice, proper. A contribution to the study of polysemy*, Stockholm, 1952.

В своих работах С. Ульман пытается показать, что в действительности никакой непреодолимой противоположности между двумя подходами к проблемам семантики нет. Центральным понятием теории семантического поля является заимствованное у Ф. де Соссюра понятие значимости. Но Ф. де Соссюр оперирует еще категориями означающего и означаемого, которые соответствуют имени и смыслу у С. Ульмана. Каждое слово входит в ряды, основанные на ассоциации либо имен, либо смыслов, либо того и другого вместе. Эти ряды Ш. Балли впоследствии назвал ассоциативными полями. Семантические (или лингвистические) поля И. Трира — это частный случай ассоциативных полей. Они основаны на ассоциации понятий (смыслов, означаемых). Однако понятия, или смыслы, предполагают имена, а значит, и отношение к ним (по терминологии С. Ульмана — «функциональное» значение).

На первый взгляд кажется, что цель исследования С. Ульмана достигнута: продемонстрирована совместимость структуральной теории семантического поля и понятия значения. При более пристальном анализе оказывается, однако, что преодоление «кризиса», как и самый «кризис», иллюзорны. Во-первых, синтез достигнут на основе понятия «функционального» значения, которое к традиционной семантике не имеет никакого отношения. С. Ульману удалось лишь продемонстрировать, что его система совместима с теорией семантического поля. Во-вторых, эта теория является методом исследования системы понятий и понятийных значимостей, а не методом анализа семантических явлений. К структурализму и семантике она имеет лишь косвенное отношение. Дело в том, что семантической стороне языка в гораздо меньшей степени, чем морфологии и фонологии, свойственна системность. Значимость морфологических и фонологических единиц носит чисто лингвистический характер, так как определяется исключительно в сети противопоставлений единиц одного порядка. Категория падежа существует как таковая только в том случае, если имеется противопоставление по крайней мере двух форм. В противоположность этому при существовании в языке слова *стол* нет никакой внутренней лингвистической необходимости для наличия в нем слова *стул* или *шкаф*; с другой стороны, наличие в языке слова *стол* объясняется не тем, что в нем есть слова *стул* и др., а исключительно внешними причинами — наличием в реальной действительности предметов (стол и др.), которые должны быть обозначены.

Это не значит, конечно, что семантический аспект языка представляет собой хаотическое нагромождение единиц, не организованных никакой системой. Семантике свойственна частичная системность, которая проявляется прежде всего

в таких категориях, существование которых не предопределяется логически. «Логический» язык предполагает, что каждое понятие выражается лишь одним звуковым комплексом и каждый звуковой комплекс выражает лишь одно понятие. Следовательно, системность свойственна семантике в такой мере, в какой ей присущи категории синонимии, полисемии, омоими. Наиболее содержательным является у С. Ульмана анализ именно этих категорий. Кроме того, системность семантики проявляется в связи словаря с системой грамматики; однако этот аспект, как мы видели, С. Ульман совершенно не рассматривает.

Попытку С. Ульмана распространить общие принципы своей теории на изучение отдельных языков следует признать неудачной, так как в соответствующих книгах и статьях дается не столько описание и анализ семантических систем конкретных языков, сколько изложение общих закономерностей в духе «Принципов семантики», проиллюстрированных материалом того или иного языка¹.

Это не значит, однако, что семантическая концепция С. Ульмана не выдержала испытания практикой. Плодотворные мысли и интересный фактический материал, содержащийся в его работах, являющийся залогом того, что творческая переработка этой концепции даст действительно значительные результаты.

Ю. Д. Апресян

¹ Содержательный и детальный анализ «Очерка французской семантики» можно найти в рецензии У. Вайнрайха («Language», vol. 31, № 4, 1955).

E. Benveniste. Études sur la phonétique et l'étymologie de l'ossète. «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. LII, fasc. 1.—1956, стр. 6—59.

Обращение к осетинскому языку такого знатока иранского и индоевропейского языкознания, как Э. Бенвенист, заранее представляется многообещающим. Рецензируемая работа не обманывает этих ожиданий. Как и ранее опубликованные статьи Г. Байли и И. Гершевича¹, работа Э. Бенвениста дает много ценного для исторической фонетики и этимологии осетинского языка.

Исследование распадается на две главы. Первая посвящена вопросам исторической фонетики. Рассматриваются следующие явления: эпниеза гласных *i* и *u* (стр. 7 и сл.); история *v* и *w* (стр. 9 и сл.); случаи геминированного *tt* и *tt* из *θ* (стр. 16 и сл.); упрощение групп *θn*, *fn* и *sn* в *n* (стр. 17 и сл.); развитие *θu* → *cu*, *θu* → *ca* (стр. 21—27); развитие *ry* → *l* (стр. 28); метатезы

gr → *rğ*, *dr* → *rd* (стр. 32 и сл.); развитие *vr* → *ærv* (стр. 34); *θr* → *rt* (стр. 36 и сл.); *-pr* → *-rf* (стр. 38 и сл.); *fr* → *r* (стр. 39 и сл.) и некоторые др. Большинство приведенных звуковых явлений рассматривалось уже и раньше. Но для их иллюстрации Бенвенист привлекает новый материал².

Вторая глава содержит сравнительно-лексикологические и этимологические excursus по отдельным словам. В этом же номере журнала (стр. 60—71) помещена другая статья Э. Бенвениста — «Analyse d'un vocabulaire primaire: indo-européen *bhagubras», где также привлекается осетинский материал.

Ввиду того, что статья Бенвениста не снабжена указателем, считаем полезным привести алфавитный перечень привлекаемых им осетинских слов с указанием страниц: *ajdæn* «зеркало» (9), *ajk* «ийцо» (9), *aly* «всякий» (30), *Aminon* «божество загробного мира» (52), *arazæw* «руль» (33), *ardawyn* «подстрекать» (58), *arθævnæw* «клещи» (33), *awæθ* «борозда» (14), *az* «год» (41), *æðwagæw* «несомненно» (13), *æfsær* «челюсть» (52), *æfsin* «хозяин» (18), *æğdaw* «обычай» (50), *ælvæsyn* «извлекать» и пр. (34 и сл.), *æmbærzyn* «покрывать» (11), *æncajyn* «переставать» и пр. (24, 26), *ængwylθ* «палец» (31), *ænsedun* «подстрекать» (57 и сл.), *ærdong* «стая» (33), *ærgæwæw* «застежка» (33), *ærtajyn* «купать» (44), *ærwæd* «калым» (34), *ærwæz* «стадо» (34), *æwğid* «порука» (47), *æwğæd* «роды» (15), *æwzag* «язык» (10), *æwzær* «дурной» (10) *æwwærdyn* «мять» (45), *æwsyrθ* «серб» (38), *bazyg* «рука» (63), *bæğðwan* «ответственность» (46), *bæzğyn* «толстый» и пр. (19 и сл.), *bæzzyz* «годиться» (20), *boðæn* «чеснок» (15), *byğðæw* «открытый» (46), *byrynθ* «клюв» (53), *cazm* «петля» (7), *cæl* «пир» (28), *cæst* «глаз» (8), *cæstysyğ* «слеза» (8), *cæwæt* «потомство» (23), *cæwyn* «идти» (21), *cezun* «составить на вид» (48), *cid* (частица) (48), *swan*, *cawæn* «охота» (23), *cyd* «ход» (22), *cyrd* «проворный» (8), *cyt* «почет» (47), *daw* «обвинение» (13), *fat* «стрела» (46), *fæzæl* «тонкая нить в игольном ушке» (28), *fæzæzsyn* «поручать» и пр. (31 и сл.), *fældajyn* «увлажнять» (44), *fænuk* «зола» (19), *fæsm* «шерсть» (7), *fist* «шерсть весенней стрижи» (7), *fistæw* «пеший» (7), *fiw* «жир» (11), *fyd* «зло» (8), *fydox* «скорбь» (8), *fysym* «хозяин» (8), *idæwyn* «отрицать, заперяться» (13), *iræd* см. *ærwæd*, *ivazn* «сажень» (65 и сл.), *ivazyn* «тянуть» (64 и сл.), *iværsyn* «развлекать» (45), *iw* (частица) (48), *izazun* «поднимать рычагом» (13), *kad* «слава» (47), *kælæn* «колдовство» (28), *kændys* (название растения) (59), *kilt kænyn* (çitt k.) «слушаться» (47), *küsart* «заколотое согласно ритуалу животное» (36 и сл.), *küvyn* «молиться» (11),

¹ См. обзор «Последние зарубежные труды об осетинском языке», ВЯ, 1957, № 4, стр. 108—109.

² Впрочем, как увидим ниже, приводимые примеры также не всегда оказываются новыми.

k'æb'is «кладовая» (15), *k'wyrf* «впаль», «глубокий» (38), *lyg* «отрезанный» (29), *mæljyg* «муравей» (31), *mært* «мера зерна» (36), *mætyx* «саранча» (16 и сл.), *mīnævar* «посланный» (52), *mīnīwæg* «качество» (52), *nīdæn* «приглушенный» (58), *nystwan* «завет» (46), *nywærzæn* «изгололье» (11), *qædynǰ* «лук» (15), *qulf* «впальный» (38), *qūsyn* «слышать» (49), *qwyrtt* «глоток» (16), *ravg* «настроение» (11), *rædesun* «состояние коровы перед отелом» (40), *rædūyn* «рвать» (11, 40), *rægæd* «спелый» (39), *ræmūžyn* «вырывать» (40), *ræwæd* «теленоч» (40), *ræwæg* «легкий» (40), *ryn* «эпидемия» (19), *sald* «мерзлый» (70), *sælyn* «мерзнуть» (70), *sidyn* «призывать» (57), *sūs* «легкое» (40), *syrd* «зверь» (41), *syvæg* «матка» (42), *tajyn* «таять» (44), *tæžyn* «речь» (13), *tūt* «полюй» (16), *væjžyn* «бывать» (10), *waryn* «делить» (12), *wævyn* «быть» (10), *widaž* «поводья» (13), *widon* «узда» (12), *xatyn* «куговаривать» и пр. (56 и сл.), *xætyn* «бродить» (56), *žizyn* «лезть» и пр. (54 и сл.), *xožyn* «колотить» и пр. (42 и сл.), *xwylf* «цутро» (38, примеч.), *žilyn* «крутиться» и пр. (28). Освещая историю осетинских слов, автор привлекает много сравнительного материала из иранских, древнеиндийского, иногда и других индоевропейских языков. Особый интерес представляют некоторые новые осетино-согдийские и осетино-авестийские параллели.

Предлагаемые Бенвенистом этимологические разъяснения в большинстве случаев убедительны. Многие из них совпадают с разъяснениями, имеющимися в нашем этимологическом словаре осетинского языка, находившемся в печати с 1954 г. Но есть и расхождения. На этих расхождениях мы позволим себе остановиться, прибавив несколько частных замечаний, касающихся как фонетической, так и этимологической части содержательного труда Бенвениста.

Осет. *cyd* «ход», *fyd* «зло» возводятся Бенвенистом соответственно к **čyuti-* (стр. 22), **pūti-* (стр. 8). Это неточно. Как показал еще В. Ф. Миллер, иран. *t* перед *i* (*y*) переходит в *c* (*ž*): *cyrǰ* «острый» из *tigra-*, *æscæg* «истинный» из **hatyaka-*, *yssæž* «20» из **vinsati-* и др.¹ Это — одна из наиболее характерных и выдержанных закономерностей исторической фонетики осетинского языка. *Cyd* и *fyd* следует поэтому возводить к **čyuta-* и **puta-*. Отглагольные имена на *-ta-*, как имена на *-ti-*, могли получать значение имен действия². Но по форме они неизменно различаются: *xærd* (**hvarata-*) и *xælc* (**hvariti-*) «еда», *nymad* (**nimāta-*) и *nymæž* (**nimāti-*) «счет», *æwxærd* (**abihvarata-*)

«обида» и *æwxælc* (**abihvarti-*) «повреждение» и др.³.

Осет. *arčævnæ* «клещи» и *aræznæ*, *araznæ* «руль» уже разъяснились⁴. Для *arǰævnæ* Бенвенист дает отличную параллель: согд. *'yrbn*.

Осет. *awæž* «борозда» Бенвенист возводит к корню **vogh-* и сближает с др.-в.-нем. *waganso*, литов. *vāgis* «лемех» (стр. 14). Мы возводим эту форму к **ā-varčā-* (с выпадением *r* как в *baz* «подушка» из **barz-* и др.) от и.-е. **welk-*, **swelk-* «влячь» и пр. и сближаем ее с лат. *sulcus* «борозда», греч. *ὄλμός* «борозда». Из армянского **ā-vaghā-* мы получили бы **awæz*, а не *awæž*.

Осет. *az/anz* «год» (стр. 41) еще В. Ф. Миллер возводил к авест. *azan-* «день»⁵. Этимология, по-видимому, ошибочная. В *anz* имеем исторически долгий гласный, в *azan* — краткий. Кроме того, основы на *-n* теряют в осетинском конечный согласный: *wyrs* «жеребец» из **vršān-*, *carṃ* «шкура» из **čarman-* и др. Группе *nz*, *ns* дигорского диалекта отвечает обычно историческое *zm*, *sm* в иронском⁶. Поэтому иронскую форму можно восстановить в виде **azm* и возводить к *āsmān-* «небо»⁷.

Формант *-aw*, который наличествует в *æǰdaw* «обычай», образует не только наречия и прилагательные (стр. 51), но и существительные, например *fæjjaw* (*fijjaw*) «пастух».

Этимология *ælvāsın*, *ælvæsyn* из **bras-* (стр. 34 и сл.) не объясняет *l* из *r*. Мы имеем скорее перестановку из *æv-lāsın*, *æv-læsyn* (как *ælvīsın* «прясть» из *æv-līsın*) от *lāsın*, *læsyn*. Значения *lāsın* и *ælvāsın* весьма близки: *kard yslasta* и *kard felvæsta* значат одинаково «он извлек меч».

Бенвенист оспаривает этимологию В. Ф. Миллера: осет. *wærdyn* «катать» (войлок, сукно), *æwværdyn* «мять» ← иран. **vart-* «вращать». Бенвенист связывает осетинские слова с авестийским *varədu-* «мягкий». Однако процесс катания войлока имеет целью не смягчение его, а уплотнение и е. Производимые при этом катательные (вращательные) движения отлично вяжутся с семантикой **vart-*.

С семантической стороны сомнительно сближение осет. *æxsyrf* «серп» с вед. *ksi-pra-* «быстрый», авест. *xšviwra-* «быстрый» (стр. 38). Примеры употребления *ksi-pra-* в ведийском несколько не изменяют положения. Бенвенист считает обманчивой близость *æxsyrf* к группе праславянского **srpъ*, латыш. *sirps* и пр. ввиду расхождения начального согласного. Мы в нашем словаре поддали как раз «соблазну» сближения *xsyrf* с **sirp-* и не раскаиваемся.

¹ См. В. Миллер, Осетинские этюды (сокращенно ОЭ), ч. II, М., 1882, стр. 79, 106.

² См. В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор (сокращенно ОЯФ), т. I, М.—Л., 1949, стр. 570.

³ ОЯФ, т. I, стр. 573.

⁴ ОЯФ, т. I, стр. 574.

⁵ ОЭ, ч. III, стр. 143.

⁶ ОЯФ, т. I, стр. 379.

⁷ ОЯФ, т. I, стр. 19, 126.

В начальном согласном могло быть такое же колебание *s-/ks-*, как в и.-е. числительном «шесть». Стало быть, *xsyrf* относится к **sirp*-, как *xsæz* «шесть» к **seks*-. Повидимому, в названии серпа мы имеем общеиндоевропейское культурное слово (вроде **peleku-* «топор»), имеющееся также в аккадском (*sirpu* «ножницы»).

В связи с этимологией слова ^о*xsyrf* Бенвенист утверждает, что метатеза типа *-fr→-rf* в исходе до сих пор не была отмечена («...non encore enregistrée», стр. 38). В действительности такой случай приводился: **āp-ra→āfra→arf* «глубокий»¹. Конечно, Бенвенист может считать спорной этимологию *āfra→arf*. Но ведь и этимология ^о*xsyrf*, которую он предлагает, тоже спорная.

Осет. *bægdwan* «ответственность», «долг» уже разъяснялось в связи с иран. *baata-*². В этой связи можно оценить утверждение Бенвениста, будто «la racine de *bag-baata-* n'était pas encore décelée en ossète» (стр. 46).

Осет. *byrnyk'* «клык», «нос» не имеет отношения к согд. *pr'ynk* (стр. 53 и сл.). Оно идет из тюрк. *burun* «клык», «нос». Огласовка *i* в дигорском *birink'æ* — вторичное явление, как в *mistæ* «мышь» из **mustæ*.

Осет. *caest* «глаз» уже В. Ф. Миллер возводил к *čaš-ti*³. Ни Миллер, ни Бенвенист (стр. 8) не обратили внимания на то, что наращение *-i* в *caest* стоит в одном ряду с таким же наращением в группе слов: *myst* «мышь», *syst* «вошь», *scæftæg* «копыто», *nostæ* «невестка»⁴.

Бенвенист прав, когда он ставит под сомнение связь слова *daw* «обвинение», «тяжба» с глаголом *idæwun* (стр. 13); *daw* идет из араб., перс. *da'va*, тюрк. *dava* «тяжба»; распространено по всему Кавказу.

Для объяснения *θ* в восточноиранских названиях стрелы (согд. **paθ* осет. *fat*, шугн. *pāθ*, орошор. *pōθ* и др.) следует, может быть, обращаться не к др.-инд. *path-*, *panth-* «двигаться», засвидетельствованному только в «Дхатупатхах» (стр. 46), а допускать параллельные формы **pat-*, **path-* «лететь».

Для эпентезы *i* Бенвенист приводит «новые примеры» («exemples nouveaux»): *fistæg/festæg* «пешни» из **pasti-* и *fist/fest* «персть» из **pašti-* (стр. 7). Оба этих «новых» примера оказываются довольно старыми⁵.

В словах *fys/fus* «овца», *myd/mud* «мед» из *pasu-*, *madu-* мы имеем дело не с эпен-

тезой *u*, а с ослаблением и сужением гласного *a*, т. е. с процессом, который мог в дальнейшем приводить к полному исчезновению гласного, как в авестийском *fšū-* из *pasu-*. Такое сужение *a* в *y* (иногда с окраской *i*, а не *u*) наблюдается и там, где ни о какой эпентезе не может быть речи: *dumyn/dumun* «дуть» из *dam-*, *cumyn/cumun* «хлебасть» из *čam-*, *fycyn/ficun* «печь» из *pač-*, *tyngyn/itinžun* «расстилать» из **vi-tanj-*, окончание 3-го лица мн. числа *-ync/-uncē* из *-anti* и др. Если бы в *pasu-*, *madu-* имела место эпентеза, мы получили бы в результате сильный гласный корня *ū/o* (**fūs/fos*, **mūd/mod*), а не слабый *y/u*, как имеем *ūrs/ors* «белый» из **aruša-* → **auruša-* или сильные гласные *i/e* в *fistæg*, *fist/fest* (см. выше) в *midæd*, *innæ* и др.

Осет. *fysym* «хозяин» (стр. 8) уже разъяснялось в связи с авест. *fšumaut-* «хозяин скота»⁶.

Для осет. *kūsart* / *kosart* «зарезанное животное», которое мы считали усвоенным через хазарский еврейский *kōšer*, *kāšer*, Бенвенист дает приемлемую иранскую этимологию **kaušadra-* от *kauš-* «резать» (стр. 37). Но и принимая эту этимологию, следует считаться с тем, что *kūsart* *kœnyŋ* означает «закалявать животное с о г л а с н о р и т у а л у» (в отличие от *cærgædyn* «резать» вообще) и что эту специфическую семантику, чуждую иран. *kauš-*, можно объяснить контактной с хазар.-евр. *kāšer*, *kōšer* «ритуально дозволенное мясо». Какая из двух известных огласовок (*kāšer* или *kōšer*) господствовала в хазарском, мы не знаем. Самую возможность заимствования из хазарского еврейских ритуальных терминов Бенвенист безапелляционно объявляет «иллюзорной». Однако, учитывая иудаизм хазар, следует считать такую возможность исторически реальной, и для осет. *kæžos* «чистый», «святой» мы и сейчас не можем предложить лучшего объяснения, чем заимствование из еврейско-хазарского *qādōš*.

Осет. *miniwæg* «качество» (стр. 52) уже разъяснялось⁷.

Иронскую форму *ivxærsyn* «развлекать» и пр. Бенвенист дает под звездочкой как восстанавливаемую (стр. 45). В действительности она реально существует, поэтому ее следует давать без звездочки⁸. *ivxærsyn* «развлекать» относится к иран. *karš-* «влекать», так же как русск. *раз-влекать* относится к *влекать*.

Осет. *qædynž*, для которого Бенвенист

⁶ ОЯФ, т. I, стр. 74, 315, 337.

⁷ См. G. Morgenstierne, указ. соч., стр. 268.

⁸ См. мой «Русско-осетинский словарь», М., 1950, стр. 405, 553. В югоосетинских говорах форма *ivxærsyn* преобладает, например *myxæstyl (æj) ivxærsta* «развлекал его разговорами» (см. «Памятники югоосетинского народного творчества», кн. III, Цхинвал, 1930, стр. 149).

¹ ОЯФ, т. I, стр. 154, 199, 212, 213, 236, 242.

² ОЯФ, т. I, стр. 160.

³ ОЭ, ч. II, стр. 106.

⁴ ОЯФ, т. I, стр. 572.

⁵ См. G. Morgenstierne, Iranica, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», bd. XII, Oslo, 1942, стр. 267, 265.

дает значения «oignon», «ail» (стр. 15), означает только «лук».

Чередование гласных в *qĩsyn / iğosun* «слышать» и *qwysyn / iğusun* «слышаться», «быть слышным» стоит в одном ряду с хорошо известной системой чередований, когда сильный гласный дает каузативное значение (**gaušayali*), а слабый — медальное (**gušalai*); ср. *ənk'ũsyn* «шатать», *ənk'wysyn* «шататься», *əmpũlyn* «морщить», *əmpwlyn* «морщиться», *tũxyn* «кутать», *tũxsyn* «обвиваться» и др.¹ Это морфологическое (залоговое) чередование вряд ли можно отождествлять с лексической двузачностью согд. *γwš-* (*plγwš-*), как это делает Бенвенист (стр. 49 и сл.).

Осет. *reweəd* «теленюк» (стр. 40) давно разъяснено в связи с авест. *fravaiti* «теленюк»².

По утверждению Бенвениста, др.-иран. **tak-* «бежать» сохранилось в осетинском как глагол только с значением «течь», *təžyn* (стр. 13). В. Ф. Миллер распознал этот корень также в глаголе *təžyn* «лететь»³.

Бенвенист производит *widaž* «поводья» от **tak-*, **tač-* «бежать», имея в виду каузативное **tāca-* «заставить бежать» (стр. 13). Здесь, как это нередко бывает в этимологиях Бенвениста, семантической стороне вопроса уделено недостаточное внимание. Как известно, поводыя нужны не для того, чтобы заставлять бежать лошадь (для этого существуют плетль и шпоры), а для того, чтобы держать ее⁴; *widaž* «поводья» и *widon* «узда» заключают один и тот же корень **dā-* (арийск. *dhā-*), и если *widon* восходит к **vi-dāna-*, то *widaž* можно возводить закономерно к **vi-dāi-*. Производные от **abhi-dhā-* с формантом *-na-* имели в арийском, помимо значения «узда», еще значение «слово, название, имя»: авест. *aiwi-dāna-* «узда», др.-инд. *abhi-dhāna-* «слово, название, имя». Эти два значения могли быть присущи и производным на *-ti-*. И действительно, мы имеем, с одной стороны, осет. *widaž* из **vi-dāi-* «поводья», с другой — авест. *aiwi-dāi-* «слово». Страшно на первый взгляд сочетание столь разнородных значений, как «узда» и «слово, имя», но, найдя объяснение в семантике глагола *dhā-* «накладывать, прикреплять»: и «узда» и «имя» — это нечто такое, что «паложено», «прикреплено» к предмету. Этимология *widaž* ← **vi-tāca-* является, пользуясь термином Бенвениста, «иллюзорной».

Не удовлетворяют с семантической сто-

роны также усилия Бенвениста свести к одному знаменателю значения глагола *xižyn / xezyn* «лезть», «беречь», «пасти», «ждать». Значения «беречь», «пасти», «ждать», несомненно, связаны. Ср. тюрк. *kũt-, kũj-* «беречь», «пасти», «ждать»⁵. Но смысловые мосточки, которые пыгается перебросить Бенвенист от «лезть» к «беречь» и пр., весьма искусственны и ненадежны. По-видимому, мы имеем дело с омоимидами, но не тремя, как полагает И. Гершевич⁶, а с двумя: I *xiž-/xež-* «лезть», «взбираться» и пр.; II *xiž-/xež-* «беречь», «пасти», «ждать».

В. И. Абаев

⁵ См.: В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, т. II, СПб., 1898, стр. 1480 и сл.; К. Н. Menges, Das Saçatajische in der persischen Darstellungen von Mirzā Mahdī Xān, «Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse [der Akademie der Wissenschaften und der Literatur]», Jg. 1956, № 9, Wiesbaden, 1957, стр. 106 (728).

⁶ I. Gershevitich, Ancient survivals in Ossetic, «Bull. of the School of Oriental and African studies, University of London», vol. XIV, pt. 3, 1952, стр. 493.

И. Пудик. Префикс *ga-* у готском языку. Прилог учењу о глаголском виду, «Дјела [Научног друштва НР Босне и Херцеговине]», књ. VII (Одјелене историскофилозофских наука, књ. 6). Изд-ка установе САН. — Сарајево, 1956 (обл.: Београд, 1957). 399 стр.

Несмотря на многочисленные специальные работы, проблема вида/времени в древних германских языках до сих пор является спорной и продолжает оставаться в центре внимания германистов. Выводы предпринятых в конце прошлого века исследований В. Штрайтберга¹, долгое время считавшиеся «классическими», были впоследствии поставлены под вопрос: постулируемую В. Штрайтбергом теорию о наличии в готском развитой видовой системы нельзя признать обоснованной, как это видно из работ А. Бэра, А. Миновича, Ф. Шерера и других ученых². Вполне понятно, что ввиду спорности рассматриваемой проблемы, появление новых специальных исследований в этой области следует всячески приветствовать. В этой связи заслуживает внимания выпущенная

¹ W. Streitberg, Perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen, PBB, Bd. XV, 1898.

² A. Beer, Tri studie o videch slovesného děje v gotštině, Praha, 1915, 1917, 1921; A. Mirowicz, Die Aspektfrage im Gotischen, Wilno, 1935; Ph. Scherer, Aspect in Gothic, «Language», vol. 30, № 2, 1954. Критический разбор теорий А. Бэра, А. Миновича и др. см. М. М. Маковский, К проблеме вида в готском языке, «Уч. зап. МГПИИЯ», т. XIX, 1959.

¹ «Русско-осетинский словарь», стр. 574.

² W. Miller, Beiträge zur ossetischen Etymologie, IF, Bd. XXI, Hf. 3—4, 1907, стр. 332.

³ ОЭ, ч. 3, стр. 149.

⁴ Цицерон лучше разбирался в этих вопросах: «Alter frenis eget, alter calcaribus» (Cicero, Epistolae ad Atticum, 6, 1, 12).

недавно в Югославии обширная монография Ивана Пудича, представляющая собой его докторскую диссертацию.

Книга И. Пудича состоит из введения (глава 1), содержащего краткую историю вопроса, пяти глав и заключения. В результате большой и кропотливой работы автору удалось собрать весь имеющийся фактический языковой материал, относящийся к функциям и значениям префикса *ga* в готском языке. Во второй главе книги (стр. 18—155) И. Пудич приводит в алфавитном порядке все глаголы с *ga* в готской библии (как отдельно — в виде списка, так и в контекстах, в которых они встречаются). В главе III (стр. 155—299) дается перечень мест, где готскими глаголами с *ga* переводятся греческие бесприваочные глаголы, а также места, где греческие глаголы с различными префиксами передаются в готском приваочными глаголами с *ga*. В главе VI (стр. 317—388) приводится перечень соответствий готских форм с префиксом *ga* различным греческим временным формам, в результате чего устанавливаются соответствия готского презенса греческим презенсу, будущему времени, аористу, перфекту; готского претерита — греческим перфекту, аористу и др. Именно в том, что И. Пудич собрал и систематизировал обширный фактический материал, и заключается конкретное преимущество его исследования по сравнению с работами его предшественников.

Выводы автора сформулированы в специальном «Заключении» (стр. 389—391). Вслед за В. Штрайтбергом И. Пудич констатирует, что в результате почти полного исчезновения первоначального социального значения префикса *ga* стал показателем перфективности глагольного действия. В подтверждение этого тезиса И. Пудич (как и В. Штрайтберг) совершенно справедливо указывает прежде всего на отклонения от оригинала (готские приваочные глаголы с *ga* соответствуют греческим бесприваочным); кроме того, И. Пудич приводит два следующих довода в пользу перфективного характера приваочных глаголов с *ga*: во-первых, греческие глаголы с различными префиксами (*ἀνα*, *ἐκ*, *κατα* и др.) часто передаются в готском приваочными глаголами с *ga*; во-вторых, по мнению И. Пудича, перфективное значение приваочных глаголов с *ga* становится очевидным, когда в предложении им противопоставляются бесприваочные глаголы. Что касается первого аргумента, то его вряд ли можно признать состоятельным, так как И. Пудич не приводит никаких доказательств, исключающих возможность того, что готские глаголы с *ga*, передающие греческие глаголы с различными префиксами, не могли быть имперфективными.

Такие соответствия скорее позволили бы, как нам кажется, сделать вывод о различных функциях префикса *ga* в готском,

например о значении направленности действия: ср.

J, IX, 6:...*jah gasmait imma ana augona*... (греч. ἐπέχρισεν)
J, IX, 11:... *jah bismait mis ana augona* (греч. ἐπέχρισεν)

Mk, VI, 5:...*handuns galagjands gahailida* (греч. ἐπιθεῖς)
Lk, IV, 40:...*handuns analagjands gahailida* (греч. ἐπιθεῖς)

Готские приставочные глаголы с *ga*, как показывают наши наблюдения, могли также соответствовать греческим приставочным глаголам с префиксами, не менявшими их лексического значения, например:

J, XVII, 12: *ik fastaida ins in namin seinamma* (греч. ἐτήρου)

Lk, II, 51:...*jah aitheis is gafastaida iho waurda alla in hairtin seinamma* (греч. διετήρει)

Большинство примеров, на которых И. Пудич основывает свой второй аргумент (гл. V, стр. 314—316), также вряд ли можно признать убедительными. Почему, например, *salbodes* (греч. ἡλειψας) в Lk, VII, 46 должно иметь имперфективное значение, в то время как стоящее в том же предложении *gasalbodes* (в греч. также ἡλειψεν) — перфективно? Странно, что в этой же главе приводится пример J, IX, 22, где *qethun* = греч. ἔτιον, а *gaqethun* = греч. συνέτέθειντο, т. е. *ga* используется в социативном значении. Многие примеры, приводимые И. Пудичем в главе V, совпадают с теми, которые приводит В. Штрайтберг. При этом И. Пудич вкладывает в эти примеры тот же смысл, что и Штрайтберг. Так, И. Пудич приводит пример I Cor, IX, 24: *niu wiluth thalei thai in spaurd rinnandans allai rinnand, iih ains nimith sigislaun? swa rinnait, ei garinnait* (греч. οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβετε). Глагол *garinnan* в этом примере, как нам кажется, имеет другое значение по сравнению с *rinnan*¹, *ga* калькирует здесь греческий префикс *κατα*. Ср. перевод бесприваочным глаголом *niman* бесприваочного *λαμβάνειν* в предыдущем тексте, а также перевод бесприваочной формы *τρέχετε* готской бесприваочной формой *rinnait*. Интересен перевод этого стиха у М. Лютера: *Laufet nun also, dass ihr es ergreiftet*. Глагол *garinnan* (греч. καταλαμβάνειν) синонимичен *gafahan* в следующих примерах (*fahan*, как

¹ *Garinnan* означает не «добежать», а «получить», буквально «схватить» (награду) — греч. καταλαμβάνειν.

правило, переводит греческие бесприставочные глаголы): Ph, III, 12: . . . *afargagga*, *ei gafahau in thammei gafahans warth*. . . (греч. καταλάβω); R, IX, 30: . . . *gafaiafhun garaihtein* (греч. καταλάβειν).

До настоящего времени рассматриваемая И. Пудичем проблема исследовалась с помощью следующих приемов: 1) определение видového характера глаголов по контексту или 2) по форме глагола в греческом (аорист, имперфект и т. д.)¹.

Следует отметить, что первый из этих методов не лишен весьма существенных недостатков. В очень большом количестве случаев возможно двойное, а поэтому совершенно произвольное толкование форм глаголов как в перфективном, так и в имперфективном смысле. При этом отношения современного языка легко могут быть процедированы в древность, тогда как в готском языке эти отношения могли не совпадать с современными. Не является надежным критерием и второй из названных методов, так как в этом случае мы совершили бы ошибку переноса закономерностей греческого языка на готский (закономерности использования имперфекта и аориста в греческом могли не совпадать с закономерностями использования перфективного и имперфективного вида в готском). Как уже говорилось, И. Пудич лишь систематизирует фактический материал, каждый раз сравнивая его с греческим. Он никак не критикует старые методы исследования проблемы и не пытается искать иных путей ее разрешения. Отметим в частности, что И. Пудич не использует внутриязыковых сопоставлений (сравнение готского текста с готским), что могло бы привести к весьма интересным выводам.

В «Заключении» И. Пудич утверждает, что в готском (в отличие от современных славянских языков) существовал так называемый первичный (примарный) вид, который не связан с определенной грамматической формой; так называемый секундарный или вторичный вид, т. е. образуемый грамматическими средствами, по мнению И. Пудича, находится в готском в процессе морфологизации. Категория вида вследствие этого, говорит далее И. Пудич, носит в готском факультативный характер, т. е. та или иная видовая характеристика глагола зависит от контекста. Приходится отметить, что все эти выводы никак не вытекают из приведенного И. Пудичем материала, так как вопросы о примарности и факультативности вида в готском в книге И. Пудича нигде не разбираются. Факультативность упо-

требления префикса *ga* в готском можно было бы показать, по нашему мнению, путем сопоставления мест, где одинаковые греческие формы соответствуют в готском как простому, так и приставочному глаголу с *ga*; отметим также, что факультативность употребления *ga* с глаголами можно наблюдать в случаях перевода однородных членов предложения как простыми, так и приставочными глаголами с *ga*.

В рецензируемой книге не проверяется известный тезис Штрайтберга о том, что префикс *ga* является в готском формальным показателем будущего времени; в работе И. Пудича не исследуются также функции префикса *ga* при сочетании его с причастием II.

Следует, наконец, остановиться на трех функциях префикса *ga*, устанавливаемых И. Пудичем (гл. IV, стр. 299—314). Функции эти следующие: 1) социативная функция (*ga* при этом не может являться средством перфективизации); 2) употребление *ga* в перфективном значении с одновременным сохранением за этим префиксом его первоначального значения; 3) полная потеря префиксом *ga* своего вещественного значения и его употребление исключительно в перфективном значении. Необходимо отметить, что такая градация значений префикса *ga* не является новой (ср., например, работы В. Штрайтберга и его последователей). Многие приводимые И. Пудичем примеры, иллюстрирующие наличие в готском указанных трех функций *ga*, не всегда убедительны. Так, на стр. 300 приводится глагол *garinnan* (греч. συνέρχομαι) — Lk, V, 15, в котором, согласно И. Пудичу, префикс *ga* выполняет первую сформулированную им функцию. Но чем функция *ga* в указанном случае отличается от функции этого префикса в глаголе *gagagan* (греч. συνέρχομαι) — Mk, III, 20, которым И. Пудич иллюстрирует употребление *ga* во второй функции? Мы вполне согласны с И. Пудичем, когда он приводит отклонения от греческого оригинала в качестве доказательства третьей функции *ga*. Странно, однако, что тут же даются соответствия греческих приставочных глаголов и готских глаголов с *ga* (например, *galeithan* = ἀναβαίνειν; *gamulan* = ἀναμμιώνκειν и др.). Такие случаи, конечно, не могут служить доказательством перфективного значения *ga*. Отметим, наконец, что список литературы, приведенный И. Пудичем, не является исчерпывающим.

Выше был дан критический разбор отдельных положений И. Пудича. Вместе с тем необходимо отметить, что собранный И. Пудичем большой фактический материал, несомненно, может явиться солидной основой для дальнейших исследований проблемы вида/времени в древних германских языках.

М. М. Маковский

¹ Разбор различных приемов анализа, применявшихся при исследовании интересующего нас вопроса, см. в моей статье, указанной выше.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА
НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

За последние годы в исследованиях по славянскому глагольному виду вновь значительное место заняли генетические проблемы. На IV Международном съезде славистов специально вопросам происхождения вида было посвящено четыре доклада — И. Немца (Чехословакия), В. Томановича (Югославия), Г. Кёльна (Дания) и Ю. С. Маслова (СССР)¹. В прениях по докладам выступило 9 человек, в их числе А. И. Руднев (СССР), А. В. Исаченко (Чехословакия), В. В. Бородич (СССР), А. Достал (Чехословакия), А. Минович (Польша), Р. Ружичка (ГДР), А. Белич (Югославия). Тема генезиса вида была затронута и в других докладах по виду, а именно в докладах А. Мазона (Франция) и отчасти И. Грицкат (Югославия)². В связи со съездом были опубликованы также статья В. Махка (Чехословакия) о происхождении вида³ и ряд

ответов на вопрос № 14 Советского комитета славистов к участникам съезда «Каково было видовое значение глагольных основ в праславянском языке?»⁴. Незадолго до съезда вышла из печати книга И. Немца «Генезис славянской видовой системы»⁵, и статьи на близкую тему А. К. Кошелева и Т. П. Ломтева⁶, а многим раньше большая статья Г. Кёльна, посвященная в основном тому же кругу вопросов⁷.

Взятая в целом, проблема происхожде-

1958. Там же ссылки на другие работы Махка, посвященные отдельным сторонам того же вопроса.

⁴ Ответы А. Достала, Ю. С. Маслова, В. В. Бородич, И. Немца, Й. Хамма и В. Томановича напечатаны в «Сборнике ответов на вопросы по языкознанию», стр. 96—111. Ответ А. Белича — в сб. «IV Межународни конгрес слависта. Одговори jugoslovenskih slavista na pitanja nacionalnog slavistickog komiteta u Moskvi», Додатак «Јужнословенском филологу», књ. XXII, Београд, 1958.

⁵ I. Němec, Genese slovanského systému vidového, «Rozpravy ČAV», Řada společ. věd, ročn. 68, seš. 7, 1958 (на стр. 104—111 франц. резюме). Ср. и другие работы того же автора, в частности: «Kategorie determinovanosti a indeterminovanosti jako základ slovanské kategorie vidu», «Slavia», ročn. XXV, seš. 4, 1956; «K otázce staroslověnských participií praes. act. sloves dokonavých», «Slavia», ročn. XXVI, seš. 1, 1957 и «Iterativnost a vid», «Slovo a slovesnost», ročn. XIX, číslo 3, 1958.

⁶ А. К. Кошелев, К вопросу о создании типов первоначальной парности по виду в древнерусском языке, «Вестник МГУ», Историко-филологич. серия, 1958, № 2; Т. П. Ломтев, О возникновении и развитии парной корреляции внутри одного глагола по категории совершенного и несовершенного вида в русском языке, «Сб. статей по языкознанию. Профессору Моск. ун-та акад. В. В. Виноградову», М., 1958.

⁷ H. Kölln, Vidové problémy v staroslověštině «Universitas Carolina» (XI — Philologica), vol. 3, № 1, 1957.

¹ Доклады были прочитаны на заседании подсекции сравнительной грамматики 3 IX 1958 г., а предварительно опубликованы в следующих изданиях: 1) I. Němec, Vznik a vývoj vidu v souvislosti s vývojem tvoření slovesných kmenů, «Československé přednášky pro IV Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958; 2) В. Томанович, Каково было видовое значение глагольных основ в праславянском языке, «Сборник ответов на вопросы по языкознанию IV Международному съезду славистов», М., 1958, стр. 109—111; 3) H. Kölln, Die Entstehung des slavischen Verbalaspektes, «Scando-slavica», т. IV, 1958; 4) Ю. С. Маслов, Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида, «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958.

² A. Mazon, L'aspect des verbes slaves (principes et problèmes), Moscou, 1958, стр. 22—25 (в русск. переводе стр. 54—57); И. Грицкат, О неким видским особенностям српскохрватского глагола, «Јужнословенски филолог», XXII, 1958, особенно стр. 110 и сл.

³ V. Machek, Sur l'origine des aspects verbaux en slave (и русск. резюме), «Славянская филология. Сб. статей» (IV Международный съезд славистов), III, М.,

ния славянского глагольного вида естественно распадается на ряд таких взаимно связанных, но в известном смысле автономных вопросов, как: 1) вопрос о наличии (и характере) или отсутствии генетической связи между системой славянского совершенного и несовершенного вида (в дальнейшем С/НС) и индоевропейской системой «видовых основ» — презента, аориста и перфекта; 2) вопрос о роли в процессе формирования С/НС таких форм, как славянские аорист, имперфект, причастия; 3) вопрос о первоначальных функциях формальных средств, использованных при построении морфологического механизма С/НС, и о путях пересоздания и сдвигах функций каждого из этих средств в процессе формирования видовой системы.

1

Первый вопрос непосредственно на съезде затрагивался лишь вскользь, но в предшествующих съезде публикациях он рассматривался подробнее. Больше всего внимания уделил этому вопросу И. Немца, решающий его положительно в духе «теории преемственности» Г. К. Ульянова¹. Ход рассуждений И. Немца вкратце таков.

«К числу правдоподобных выводов индоевропейского сравнительного языкознания принадлежит реконструкция поздней индоевропейской праязыковой корреляции презентных и претеритальных глагольных основ типа *bhēudh-(e)-: *bhudh-ē. Презентная основа с ослабленным корнем (*bhēudh-) выражала длительное, нецелостное действие (состояние), тогда как претеритальная основа с ослабленным корнем (*bhudh-) — действие недлительное, целостное»². Это различие было по своему содержанию видовым: противопоставление целостности и нецелостности (комплексности и некомплексности — в дальнейшем К/НК) как раз и составляет сущность славянской категории С/НС³. Унаследованные от индоевропейского праязыка претеритальные основы с ослабленным вокализмом корня имели на славянской почве с самого начала «еще до возникновения системы видовых пар» комплексное, т. е. совершенное, видовое значение, и явились, наряду с другими моментами, важным фактором, способствовавшим формированию категории С/НС. В историческую пору эти основы оказались сосредоточенными во II глагольном классе и стали ядром продуктивного типа перфективных основ⁴.

Кроме того, в согласии с И. Зубатым, Н. Ван-Вейком и Х. Стангом, И. Немца

видит в славянских основах глаголов состояния с суффиксом -i/-ē- продолжение индоевропейского перфекта и плюсквамперфекта (материально — в основах с корневым вокализмом -o- и в глаголе *veděti*, а функционально — также в других случаях⁵). Это последнее утверждение как будто не вызывает возражений, но само по себе оно еще не дает права говорить о преемственности в целом между индоевропейской и славянской системой вида. Что же касается «претеритальных основ с ослабленным вокализмом корня», или, как их обычно называют, индоевропейских корневых аористов, то в науке выдвигались серьезные сомнения в отношении их роли в процессе создания славянской системы С/НС. В частности, А. Достал в своей капитальной монографии о виде в старославянском резонно возражал против стремления А. Мейе и других ученых выводить видовое значение славянских бесприставочных основ из их индоевропейских этимологий⁶. По-видимому, аргументы И. Немца не побудили А. Достала изменить свою точку зрения по этому вопросу⁷.

Отрицательное отношение к «теории преемственности» высказали также В. Махек и Г. Кёльн⁸. Последний, в частности, считает, что бесприставочные перфективные основы славянских языков потому не могут быть объяснены из старых корневых аористов, что корневые аористы, как вытекает из материалов А. Вайана, были первоначально, в противоположность сигматическим аористам, носителями значения переходности.

К этому можно добавить еще следующее. Все не является доказанным, что то видовое по содержанию противопоставление основ презентя и основ аориста, которое мы наблюдаем в древнегреческом и которое, действительно, с точки зрения значения весьма близко славянскому противопоставлению С/НС, уже существовало — в той или иной форме — и в праиндоевропейском. Наоборот, есть основания думать, что общиндоевропейское содержание этого противопоставления было иным, что на греческой почве мы имеем здесь своеобразную инновацию⁹. Осо-

⁵ См. там же, стр. 40.

⁶ См. А. D o s t á l, *Studie o vidovém systému v staroslověštině*, Praha, 1954, стр. 106.

⁷ См. «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 97.

⁸ См. V. M a c h e k, указ. соч., стр. 55 и 60; Н. K ö l l n, *Vidové problémy...*, стр. 87—91; е г о ж е, *Die Entstehung...*, стр. 309.

⁹ Еще Н. Ван-Вейк отмечал: «так как ни в каком другом языке употребление аориста не является точно таким же, как в греческом, мы не знаем, восходит ли это употребление к индоевропейской эпохе» (N. v a n W i j k, *Sur l'origine des az-*

¹ См. Г. У л ь я н о в, Значения глагольных основ в литовско-славянском языке, ч. 1—1891, ч. 2 — 1895, Варшава.

² I. N ě m e c, *Genese...*, стр. 16.

³ См. там же, стр. 17 и 12—13.

⁴ См. там же, стр. 28—29.

бенно неясен вопрос о первоначальном содержании оппозиции основ, этимологически соответствующих греческому презенту и аористу, на почве тех «северных» индоевропейских диалектов, из которых развились праславянский, прабалтийский и прагерманский. И вообще не очень правдоподобным (хотя и не абсолютно невозможным) кажется предположение, будто в дославянском языке, задолго до возникновения славянских видов, видовые значения К/НК уже существовали и выражались какими-то специальными языковыми формами, т. е. составляли грамматическую категорию, и будто бы в дальнейшем содержание этой категории оставалось неизменным, а менялась только система форм ее выражения и сфера ее применения в языке¹.

Словом, как и большинство участников рассмотренной дискуссии, мы склоняемся к тому, что категории С/НС представляют собой не только с точки зрения системы своих форм, но также и с точки зрения своего смыслового содержания и специфического повествования славянской эпохи, а не наследие индоевропейской древности.

2

Решение второго вопроса — о роли в процессе формирования категории С/НС форм славянского аориста, имперфекта и различных причастий в немалой мере зависит от того, как рассматривается данным исследователем древнейшее смысловое содержание славянской корреляции аорист: имперфект (и причастия настоящего времени: причастия прошедшего времени), считает ли он названные формы «чисто временными» или в той или иной степени также видовыми. Первая точка зрения была преобладающей (хотя и не безраздельно господствующей) в науке последних десятилетий². Вторая, однако, оказалась достаточно авторитетно представленной на съезде, так как Г. Кёльну удалось подкрепить ее новой аргументацией, основанной на фактах, ранее не замеченных или не оцененных по достоинству.

pects du verbe slave, RESL, t. IX, fasc. 3, 1929, стр. 238). Ср. также A. Vaillant, L'aspect verbal du slave commun; sa morphologisation, RESL, t. XIX, fasc. 3—4, 1939, стр. 291; Chr. S. Stang, Das slavische und baltische Verbum, Oslo, 1942, стр. 7 и сл.

¹ Ср. «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 100 и 101 и Ю. С. Маслов, указ. соч., стр. 4 и 38.

² См.: V. Navránek, Aspect et temps du verbe en vieux slave, «Mélanges Bally», Genève, 1939; A. Dostál, указ. соч., стр. 598—602. Противоположного взгляда придерживается, например, Н. Chr. Sørensen, Aspect et temps en slave, Aarhus, 1949, стр. 29 и 133—149.

Как известно, до сих пор считалось, что аорист и причастия прошедшего времени, начиная с древнейшей поры, свободно образуются в славянских языках от основ обоих видов, хотя и употребляются чаще от основ совершенного вида. Правда, в литературе встречались отдельные указания на то, что в тех или иных памятниках или группах памятников не отмечены в формах аориста некоторые типы основ совершенного вида, именно — вторичные имперфективные основы³. Но этим частным наблюдениям не придавали значения. Г. Кёльн обратил на данный вопрос специальное внимание и пришел к очень интересному результату: «несовершенные производные образования от приставочных глаголов, т. е. те образования, которые являются типично славянскими и создают систему вида, первоначально не употребляются в аористе и причастиях прошедшего времени»⁴, включая, в частности, и причастия на -лъ. Так обстоит дело в старославянском переводе евангелия, а также в древнейших памятниках древнерусского, старочешского (за исключением причастий на -л) и старонольского языка (для последнего показательна форма причастий, кроме причастия на -л). Исключения единичны, и Г. Кёльн каждый раз стремится объяснить их какими-то специальными причинами. О принципиальных выводах из своего наблюдения Кёльн говорит так:

«Исследователям, находившим категорию вида в глаголе готского, литовского, греческого, латинского и других языков, справедливо указывали на то, что в этих языках нет производных имперфективных образований от приставочных глаголов и что тем самым в них не может быть вполне развитой системы вида, какую имеем в славянском. Однако слависты делали ту же ошибку в отношении славянского аориста; они не приводили примеров на аористы от производных имперфективных образований приставочных глаголов»⁵. Поскольку таких примеров аориста и причастий прошедшего времени для ранней эпохи, действительно, нет, в рамках этих форм «мы имеем столь же мало оснований гово-

³ Ср., например, замечания А. А. Потебни: «... в древнерусском аористе, сколько мне известно, не встречается в глаголах на -ывати, -ивати, -овати, -евати» (А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, IV, М.—Л., 1941, стр. 158) или указание А. Мейе на то, что в старославянском переводе евангелия не засвидетельствован аорист от «итеративных» основ (A. Meillet, Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, pt. 1, Paris, 1902, стр. 84).

⁴ Н. Kölln, Vildové problémy..., стр. 91.

⁵ Н. Kölln, Die Entstehung..., стр. 310.

речь о видовом противопоставлении глаголов, как и по отношению к формам греческого аориста или латинского перфекта. Нельзя безоговорочно утверждать, что несовершенные глаголы свободно наряду с совершенными выступают в формах аориста и причастий прошедшего времени, и что поэтому сами эти формы нейтральны в отношении вида».

И Кёльн приходит к заключению, что указанные формы (в противоположность имперфекту и причастиям настоящего времени) «обозначают совершенный вид», что оппозиция «аорист, причастия прошедшего времени : имперфект, причастия настоящего времени» и оппозиция «приставочный глагол : его имперфективный производный» обладают в тот период тождественным смысловым содержанием, а «первичные», немаркированные имперфективные основы, выступая в формах аориста и причастий прошедшего времени, теряют свое несовершенное значение.

Впрочем, по отношению к имперфекту и причастиям настоящего времени Г. Кёльн не может провести свою точку зрения о смысловом тождестве двух оппозиций, так как ему мешают случаи употребления этих форм от основ совершенного вида¹. Выступивший же в прениях Р. Ружичка справедливо заметил, что и в отношении аориста эта точка зрения не может считаться доказанной, так как из факта отсутствия в старославянском евангелии форм аориста от маркированных несовершенных основ типа *събирати* еще вовсе не вытекает, чтобы все другие представленные там формы аориста имели значение именно совершенного вида.

Нам представляется, что наблюдение Г. Кёльна чрезвычайно ценно и вряд ли могло бы быть оспорено даже в том случае, если бы его возможным оппонентом удалось дополнительно привести десяток-полтора исключений из сформулированного им правила. Наблюдение это лишний раз и особенно ясно показывает, что различие между славянским аористом и имперфектом не является различием чисто временным, темпоральным. Но, соглашаясь со многим в рассуждениях Кёльна, мы думаем, что он идет слишком далеко, когда выдвигает идею абсолютного тождества двух корреляций. Вероятно, правильнее будет говорить, по крайней мере для реально засвидетельствованных славянских языков и диалектов, лишь о частичном смысловом совпадении этих корреляций, о значительной степени их смысловой близости, так сказать — о виде в широком смысле (корреляция имперфект : аорист и видовые оттенки в причастиях) и виде в узком смысле (корреляция С/НС). Разумеется, определить ближе древнейшее содержание видового в широком смысле противопоставления им-

перфект : аорист есть дело будущего конкретного исследования.

Что касается непосредственно вопроса о генетических связях между системой славянского имперфекта и аориста и системой С/НС, то наличие таких связей В. В. Бородич усматривает в совпадении или, как она считает, тождестве суффикса имперфекта и суффикса имперфективации *-ja-*. Она пишет: «Суффикс имперфекта *ē* или его фонетический вариант *ja* становится суффиксом для образования и других глагольных форм (действительных причастий настоящего времени, настоящего времени, инфинитива и т. д. — например, от *кръстити* — имперфект *кръщаахъ*, — а от основы имперфекта новый глагол — *кръщати*)»².

И. Немец в принципе согласен с В. В. Бородич в том, что форма имперфекта играла важную роль в процессе создания видовых пар³, но справедливо отрицает возможность прямого использования основы имперфекта в качестве вторичной имперфективной основы во всех тех случаях, когда имперфективная основа характеризуется удлинением коренного гласного (ст.-слав. *раждати* от *родити* и т. д.). В целом же славянские аорист и имперфект оказываются в концепции И. Немеца, так сказать, одним из воплощений индоевропейской корреляции К/НК на ее пути к окончательному воплощению в категорию С/НС: если первоначально корреляция К/НК осуществлялась в противостоянии претеритальных и презентных основ, то затем НК проникает в сферу претерита⁴. С помощью суффиксов глаголов состояния *-ē-* и *-ā-* образуются формы некомплексного претерита, прототипа славянского имперфекта, и тем самым вырабатывается возможность выразить каждое прошедшее действие как комплексное или как некомплексное. Затем, когда в результате такого же размежевания К и НК в сфере презентса (о чем см. ниже) возникает «вид целых глаголов» (т. е. С/НС), он вступает в противоречие со старым «видовым значением отдельных форм» и одерживает над ним победу сперва в аористе, становящемся «невидовым прошедшим», а позже — и в имперфекте⁵.

² «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 105. Ср. также: В. В. Бородич, К вопросу о формировании совершенного и несовершенного вида в славянских языках, ВЯ, 1953, № 6, стр. 78 и 79; ее же, К вопросу о видовых отношениях старославянского глагола, «Уч. зап. Ин-та славяноведения», т. IX, 1954, стр. 58. Сходную точку зрения отстаивает и А. К. Кошелев (см. указ. соч., стр. 11 и сл.).

³ I. Němec, Genese..., стр. 25.

⁴ См. там же, стр. 49 и сл.

⁵ См. там же, стр. 55—56, 89—91 и 98—99.

¹ H. Kölln, Die Entstehung..., стр. 312.

По Г. Кёльну, наоборот, «совершенное» видовое значение форм аориста не является изначальным, унаследованным от индоевропейской эпохи. Он подчеркивает, что в течение длительного периода славянский аорист был не только единственной, но и (вследствие этого) «вполне нейтральной» формой прошедшего времени, «принципиально невидовым претеритом»¹. «Совершенное» видовое значение аорист получил только позже, с возникновением «несовершенного претерита» (имперфекта) и по контрасту с ним.

Таковы основные разногласия между участниками съезда по второму вопросу.

3

Что касается третьего вопроса, то основные споры велись здесь вокруг гипотезы о происхождении славянской видовой системы из различий *определённости / неопределённости* (детерминированности / индетерминированности) глагольного действия (в дальнейшем — О/НО).

В качестве наиболее последовательного защитника этой гипотезы выступила В. В. Бородич, которая стремится максимально расширить объем понятий О и НО и подвести под эти понятия наибольшее число языковых фактов. Уже у Ван-Вейка (ср., например, указ. соч.) корреляция О/НО носила несколько расплывчатый характер, так как охватывала, кроме славянской оппозиции определенных и неопределенных глаголов движения (*нести/носить* и т. д.) вместе с этимологически соответствующими оппозициями других индоевропейских языков, еще и противопоставление приставочных и бесприставочных глаголов, выражающее другое содержание. В. В. Бородич включила сюда еще оппозицию глаголов действия и состояния, а также и славянскую корреляцию аорист : имперфект. Все способы образования перфективных и имперфективных основ, составляющие механизм С/НС, восходят, по мнению В. В. Бородич, к единой лексико-грамматической категории О/НО. В данном отношении между этими способами нет никакой разницы, хотя в процессе формирования вида функции двух важнейших способов образования основ, префиксации и суффиксации (подразумевается: суффиксальной имперфективации), были различны. Первая сама по себе не могла создать категорию вида (как не создала ее в неславянских языках, имеющих глагольные приставки), вторая же стала ядром этой категории.

Целиком принимает гипотезу о возникновении славянской системы вида из категории О/НО и И. Немец, хотя он и стремится дополнить эту гипотезу «теорией

преемственности», о которой говорилось выше. Понятия О и НО Немец толкует так же широко, как и В. В. Бородич, в некотором смысле, как сейчас увидим, даже еще шире. Правда, подобно Ренггелю², он стремится и несколько уточнить эти понятия, вводя разграничение между маркированной и немаркированной О (и НО). Соответственно этому он получает три группы глаголов³: 1) маркированные неопределенные (суффиксальные типы *nos-i-ti, pad-a-ti, sěd-ě-ti*), 2) маркированные определенные (основы с назальным суффиксом вроде *svyt-ne-tь* и с приставкой вроде *vъz-mošti*) и 3) немаркированные, способные выступать как в определенном, так и в неопределенном значении (бесприставочно-бессуффиксные основы, в том числе и основы глаголов движения вроде *nesti*, традиционно относимые к определенным, а также и такие, как *pasti*, ставшие в историческую эпоху исключительно или преимущественно перфективными). Но здесь же оказывается, что не только глаголы третьей группы, но и вообще любой глагол, будучи употреблен в многократном или потенциальном значении, превращается в неопределенный. Это относится даже к формам совершенного вида в таких контекстах, как *V сосуд войдет* (= «может войти») *3 лупра*. Таким образом, очерченные было грани снова стираются, понятия расширяются и смешиваются.

Поворотным пунктом в процессе генезиса вида И. Немец считает переход маркированных определенных основ презенса (*svytinety* и т. д.) к выражению будущего времени с последующей утратой ими значения собственно настоящего⁴. Это последнее значение перенимают основы на *-ā* (*svita-jety*), что и ведет к окончательному размежеванию К и НК, до того дифференцированных, как мы видели выше, только в сфере претерита. Таким образом, имперфективация является у И. Немца лишь своего рода «поставщиком» форм настоящего времени взамен тех, которые утрачивали данное значение. Это значит, что процесс имперфективации не занял в его концепции того центрального и, так сказать, самостоятельного места, которое, вероятно, занимал в самом становлении вида.

Попытку как-то уточнить и ограничить понятия О и НО как базы для возникновения С/НС предпринимает Г. Кёльн⁵. Он предлагает видеть непосредственный источник видовых пар только в таких более старых парах определенных и неопре-

² См. С. G. Regnéll, *Über den Ursprung des slavischen Verbalaspektes*, Lund, 1944, стр. 50.

³ См. I. Němec, *Genese...*, стр. 23.

⁴ См. там же, стр. 79 и сл., а также стр. 98.

⁵ Н. Kölln, *Die Entstehung...*, стр. 308 и его же, *Vidové problémy...*, стр. 83—87.

¹ Н. Kölln, *Die Entstehung...*, стр. 309 и его же, *Vidové problémy...*, стр. 91.

деленных глаголов, у которых независимо от контекста в самом лексическом значении содержалось конкретное указание направления (исходной точки или цели) движения, аналогичное указанию, даваемому глагольными приставками. В качестве примера он берет *pasti : padati*, полагая, что уже до возникновения видовых пар такая пара существовала в языке, причем первый ее член выражал конкретное осуществление единичного целенаправленного действия, а второй — то же целенаправленное действие, но как многократное или в обобщенном смысле. В силу такого своего значения эта пара могла превратиться затем в видовую, тогда как, например, пара типа *nesti : nositi* — не могла — в ней самой по себе не содержалось «никакой конкретной детерминации направления», так что первый ее член становился совершенным только в сочетании с приставкой по мере того, как рядом с ним возникал соответствующий несовершенный член. Как видим, эта теория уже довольно далеко отходит от той «всеобъемлющей» О/НО, с которой мы познакомились, рассматривая теории других авторов.

Главным противником теории О/НО был на съезде А. Достал, придерживающийся прямого смысла терминов «определенные» и «неопределенные» глаголы, как они употребляются в грамматиках славянских языков, т. е. пазывающий так только парные глаголы а) движения — типа *nesti : nositi*, *leleti : letati* и б) чувственного восприятия — типа русск. *видеть : видать*. Как известно, А. Достал уже и раньше выступал против теории О/НО, указывая, что эта корреляция представляет собой слишком узкую базу для развития категории С/НС¹. Теперь он остановился на этом вопросе подробнее и, в частности, подчеркнул, что теория О/НО «объясняет возникновение видовой системы только из одного источника, тогда как начиная от древнейших эпох ясно видно, что вся видовая система есть явление сложное... что система эта использует различные морфологические средства»². Не исключая возможности того, что в отдельных видовых парах обнаружатся старые пары определенных и неопределенных основ, А. Достал считает, что оппозиция О/НО не могла быть единственной исходной точкой «такой сложной и тонкой системы, как система вида».

Может показаться, будто это замечание А. Достала бьет мимо цели, так как пикто из сторонников теории О/НО и не рассматривает О/НО как оппозицию одного морфологического типа (скажем: *нести : носить*), а наоборот, все они считают ее явление сложным, объединяющим в себе разные формальные типы оппозиций, ве-

роятно, не менее сложным, чем система вида. Но по существу А. Достал глубоко прав: рассматривая все типы видовых пар как продолжение единой, хотя и сложной корреляции О/НО, сторонники разбираемой теории помимо своей воли затуманивают важные, принципиальные различия между этими типами. Они переносят в доисторическую эпоху функциональное единство разных морфологических типов, сложившееся лишь в эпоху создания вида (и даже и теперь лишь относительное), и в результате лишают себя возможности увидеть новое качество в языке — появление единой грамматической оппозиции С/НС из взаимодействия нескольких разных (минимум двух разных) лексико-грамматических оппозиций, вырастающих на базе обобщения еще большего количества лексических способов действия (Aktionsarten)³.

Возражения против теории О/НО были сделаны и В. Махком⁴, предлагающим вернуться к первоначальной идее Ван-Вейка (позже отброшенной ее автором) о происхождении славянского вида из оппозиции итеративных (многократных) и неитеративных глаголов⁵ и развивающим эту идею на основе своих недавних работ о глаголах с интенсивными суффиксами⁶. «Детерминацию» глагольного действия В. Махек видит только в приставочных образованиях, где приставки как бы «собирают» действие либо по отношению к его началу, либо по отношению к его концу⁷. Таким образом, суффиксация и префиксация получают в концепции Махка глубоко различную трактовку, и это, конечно, можно только приветствовать⁸.

³ Вполне применимо критическое замечание А. Достала и к концепции И. Немца. Хотя подлинную «душу» этой концепции как целого составляет не О/НО, а К/НК, материально все типы видовых пар восходят и у И. Немца к единому противоположению определенных и неопределенных глаголов.

⁴ См. В. Махек, указ. соч., стр. 55—56.

⁵ См. там же, стр. 39 и сл. Близкие мысли высказывает А. К. Кошелев (указ. соч., стр. 10 и сл.) и, отчасти, Т. П. Ломтев (указ. соч., стр. 241 и сл.).

⁶ См. В. Махек, *Les verbes slaves en -chati*, «Lingua posnaniensis», t. IV, 1953; его же, *Slovanská intenziva slovesná s příponovým -stati*, «Studie a práce lingvistické», I (K 60 narozeninám akad. B. Havránka), Praha, 1954; его же, *Slavische Verba mit suffixalem sk*, «Slavistična revija», letn. X, 1957.

⁷ См. В. Махек, *Sur l'origine...*, стр. 51, 59—60.

⁸ Отметим, однако, что остается совершенно недоказанным и даже попросту непонятным упорное утверждение В. Махка

¹ См. А. Достал, указ. соч., стр. 35—37.

² См. «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», стр. 98.

Вообще же правильный путь исследования вопросов генезиса вида предполагает, вероятно, в качестве обязательной предпосылки внимательный учет подчеркнутого А. Досталом факта сложности, так сказать, морфологической гетерогенности этой категории, вдумчивый учет глубокого различия функций имперфективации и так называемой перфективации в морфологическом механизме славянского глагола (и притом не только в период возникновения вида, но и в современном языке, о чем очень хорошо писал еще С. Карцевский¹).

В связи с этим, вероятно, правильнее будет и генетически возводить перфективацию и имперфективацию не к одной корреляции О/НО, а к двум разным, изначально не связанным между собой корреляциям, которые целесообразно разграничить и терминологически. Такое предложение (с ним согласились выступившие в прениях А. В. Исаченко и Р. Ружичка, но не согласилась В. В. Бородин) было сделано в докладе Ю. С. Маслова. За одной из этих корреляций — той, к маркированному члену которой восходит имперфективация, — можно было бы сохранить термин О/НО, не исключая, впрочем, возможности ее дальнейшего подразделения, а также и выдвигая в ней на одно из главных мест интенсивно-итеративного способа действия в соответствии с материалами В. Махка. Другую корреляцию — ту, к маркированному члену которой восходит перфективацию, лучше

(см. «Sur l'origine...», стр. 40, 55 и 58), будто славянский глагольный вид есть не грамматическая, а лексическая категория; оно тем более непонятно, что В. Махек, кажется, различает понятие «вида» и «способа действия» (у него — «mode d'action»).

¹ См. S. Karcevski, *Système du verbe russe*, Prague, 1927.

всего было бы назвать так, как ее обычно называют в грамматиках германских языков, — корреляцией *предельности/непредельности* (в международной номенклатуре — *терминативность/атерминативность*). И в рамках этой корреляции не исключается дальнейшее подразделение в соответствии со значением отдельных приставок и назального суффикса.

Думается, что поворотным пунктом в процессе стаповления вида явилось стремление дифференцировать в рамках предельных глаголов процессное значение и значение действительного достижения предела. Для выражения процессного значения используются (на первых порах эмфатически и факультативно) глагольные основы, прямой функцией которых было выражение неопределенности и многократности. Постепенно, по контрасту с возникшим таким образом несовершенным видом, соответствующие производящие предельные основы становятся совершенными. Раз возникнув, категория С/НС охватывает затем всю глагольную лексику, несколько меняя при этом свое смысловое содержание и приходя в итоге развития к тому значению К/НК, которое И. Немец предполагал для нее заданным заранее.

Разумеется, от научных съездов трудно ожидать внесения «окончательной ясности» в тот или иной спорный вопрос. Подводя общие итоги, мы можем повторить слова А. Мазона, сказанные в начале съезда: «Перед нами — серия остроумных гипотез, из которых ни одна, как бы велики ни были ее достоинства, не заставляет нас принять себя, отбросив все остальные»². И все же обмен мнениями был чрезвычайно полезен: точки зрения выяснились, столкнулись, могли быть четко сопоставлены.

Ю. С. Маслов

² А. Мазон, указ. соч., стр. 23.

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА НА IV МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ

Проблема образования и развития литературных языков в связи с историей общества — одна из центральных проблем современного языкознания, в частности славистики, — получила на IV Международном съезде славистов подробное и разностороннее освещение. В докладах и выступлениях на конгрессе, как и в публикациях к съезду, были поставлены центральные вопросы, в значительной мере определяющие пути дальнейших исследований в данной области науки о языке. Это вопросы о роли в формировании и развитии отдельных славянских литературных языков старославянского языка, народного и книжного начал, двуязычия, проблема сравнительно-исторического изучения ли-

тературных языков славянства, а также вопросы терминологии.

Необходимо отметить, что целый ряд кардинальных вопросов изучения старославянского как первого литературного языка славянства не только еще не разрешен, но многие из них в настоящее время впервые ставятся. Такое положение в значительной степени объясняется тем, что в послевоенные годы изучение старославянских памятников, как и исследование книжнославянского пласта, отошло в известной мере на второй план и внимание лингвистов сосредоточилось на другой, не менее важной проблеме — на исследовании народных, самобытных начал в литературных языках. В дискуссиях

на съезде (по докладам В. В. Виноградова, Л. Андрейчина, Я. Белича, С. Урбанчика, Б. Унбегауна) неоднократно подчеркивалось, что исследование этих двух проблем должно быть уравнишено.

Общие вопросы изучения старославянского (древнецерковнославянского) языка как первого международного культурного языка славян были поставлены в докладе И. Курца¹ и уточнены во время его обсуждения (выступления Е. Зейделя, Ф. В. Мареша, В. Д. Левина, И. Хамма, А. С. Львова, А. Достала, В. Кыаса, Г. И. Коляды, Л. Дуйчева и др.). В дискуссии указывалось на все еще недостаточную изученность диалектной фонетико-морфологической основы этого языка, особенно его синтаксиса, лексики и фразеологии; выдвигалась задача сравнительно-исторического изучения системы старославянского языка и систем южно-, западно- и восточнославянских письменных языков в эпоху раннего средневековья², сравнительного исследования старославянской лексики и фразеологии с привлечением данных как южнославянских, так и западнославянских живых языков, а также греческого языка; подчеркивалась необходимость дальнейших специальных исследований местных разновидностей старославянского языка, особенностей тех диалектов, которые играли наиболее существенную роль в формировании литературных языков на определенных славянских территориях в кирилло-мефодиевскую эпоху и особенно в последующие за ней начальные периоды образования отдельных славянских литературных языков³.

На съезде неоднократно указывалось на необходимость введения в сферу научных изысканий возможно большего числа древнейших славянских памятников, более широкого применения новых методов чтения палимпсестов (доклад Г. Г. Ланта⁴),

¹ J. K u r z, *Církevněslovanský jazyk jako mezinárodní kulturní (literární) jazyk Slovanstva*, сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958. И. Курц и другие чехословацкие ученые (например, А. В. Исаченко) применительно к донациональному периоду истории языков часто пользуются термином «культурный язык», а не «литературный язык», как это принято, например, у нас.

² См. также доклад Б. Гавранка: В. Н а в р á н е к, *Charakter a úkoly srovnávacích studia spisovných jazyků slovanských*, «Slavia», ročn. XXVII, seš. 2, Praha, 1958.

³ Один из таких вопросов на материале древнейшего словенского памятника — Фрейзингенских отрывков — разрабатывает Ф. Томшич: Ф. Т о м ш и ч, *Podoba najstarejše pisne slovensščine*, «Slavistična revija», letn. XI, 1—2, 1958.

увеличения числа публикаций новых текстов⁵ и переиздания давно опубликованных (с учетом опыта изданий последнего времени И. Вайса, И. Курца, Р. Нахтигала, И. Вашицы и ряда других славистов); подчеркивалось большое значение дальнейших поисков древнейших славянских надписей (доклад Д. Богдана⁶). Первоочередной задачей славистов всех стран было признано создание полного словаря старославянского языка⁷.

В связи с проблемой реконструкции первоначального текста старославянского евангелия была предложена тема (выступление Л. П. Жуковской) сравнительного анализа древнерусских списков евангельских текстов, прежде всего XII—XIV вв., и при этом специального сравнения евангелий-апракосов и четвероевангелий, так как первые древнее тетров⁸. Другой генетической проблеме был посвящен доклад Е. Георгиева, в котором ученый вновь выдвигает положение о болгарском происхождении старославянского языка и приводит ряд историко-культурных и лексических данных в подтверждение своей точки зрения⁹.

⁴ H. G. L u n t, *On Slavonic palimpsests, (American contributions to the Fourth International congress of slavists)*, 's-Gravenhage, 1958.

⁵ Одна из последних работ этого рода принадлежит А. Вайлану: А. V a i l l a n t, *L'Homélie d'Épiphane sur l'ensevelissement du Christ (texte vieux-slave, texte grec et traduction française)*, «Radovi staroslavenskog instituta», knj. 3, Zagreb, 1958.

⁶ Д. П. Б о г д а н, *Добруджанская надпись 943 года*, «Romanoslavica», 1, București, 1958.

⁷ Очень много в этом отношении сделали чехословацкие лингвисты, которые в настоящее время располагают самой большой в мире словарной картотеккой старославянского языка. К съезду был опубликован первый выпуск их двухтомного старославянского словаря: «Slovník jazyka staroslověnského», 1. (A — A/E), Praha, 1958. См. также проспект этого словаря: «Slovník jazyka staroslověnského», Praha, 1956.

⁸ Ср. фундаментальный труд К. Горалка, в котором анализируется 26 старославянских памятников XI—XIV вв.: К. H o r á l e k, *Evangeliaře a čtveroangelia (Přispěvky k textové kritice a k dějinám staroslověnského překladu evangelia)*, Praha, 1954; см. рецензию на эту книгу: J. J a h n, «Byzantinoslavica», XVIII, 2, 1957; ср. также: J. V r a n a, *O odnosu Miroslavljeva evanđelja prema staroslovjenskim evanđelistarima i čtvero-evanđeljima*, «Slavia», ročn. XXV, seš. 2, 1956.

⁹ Е. Г е о р г и е в, *Основные вопросы возникновения старославянской (старо-болгарской) литературы и старославян-*

В выступлениях разных ораторов и часто по далеким друг от друга вопросам говорилось о недооценке сопоставительного изучения языка греческих оригиналов и старославянских переводов, о громадном значении подобных исследований в самых различных аспектах (ср. работы И. Вашицы, Ф. В. Мареша, А. Достала и других славистов), прежде всего в области лексики, фразеологии и синтаксиса. Именно поэтому большой интерес у специалистов по литературным языкам вызвали доклады по старославянскому синтаксису, хотя они были задуманы в плане сравнительной грамматики. Это доклады Г. Бирнбаума, Р. Ружички и Я. Бауэра, посвященные различным вопросам влияния греческого (и отчасти латинского) синтаксиса на старославянский, выявлению в нем конкретных грецизмов¹.

Вопрос о воздействии старославянского языка на формирование и развитие всех славянских языков, принимающем в каждом конкретном случае специфические формы, разработан неравномерно и не всегда в прямой зависимости от степени интенсивности этого воздействия. Исследований, посвященных изучению книжнославянских пластов в среднеболгарском, древнерусском и древнесербском, все еще очень мало. Данной теме, особенно в отношении русского литературного языка, в котором роль церковнославянского особенно значительна, на съезде было уделено большое внимание. Этот вопрос ставился и в отношении других славянских языков: древнечешского (доклад Й. Курпа), древнепольского (выступление С. Урбанчика)², предистории самого молодого славянского литературного языка — македонского (доклад Б. Конеского)³; функ-

циям славянизмов в истории белорусского языка были посвящены сообщения Л. М. Шакуна и А. И. Журавского⁴.

Наиболее существенные и остро стоящие в современной науке проблемы, связанные с методом изучения и определением роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии отдельных славянских литературных языков (на материале древнерусского), были сконцентрированы в докладе акад. В. В. Виноградова⁵. Это вопросы происхождения восточнославянского литературного языка и методов выделения в нем старославянских элементов; вопросы изучения процесса и результатов совмещения церковнославянизмов и русизмов, классификации видов книжнославянских элементов и изучения норм, определяющих соотношение компонентов в сфере древнерусской семантики и стилистики; вопросы, связанные с исследованием отличительных и структурных особенностей и закономерностей развития книжнославянского и письменного русского типов русского литературного языка (ср. теорию трех стилей Г. О. Винокура и Л. П. Якубинского или теорию трех языков А. В. Исаченко⁶), учение о которых является одним из важнейших положений доклада. В докладе показано, как в процессе взаимодействия данных двух типов языка вырабатываются своеобразные формы грамматической и лексико-фразеологической синонимии, с одной стороны, и происходит семантическое слияние старославянских

ского (староболгарского) литературного языка, «Славянская филология. Сб. статей» (IV Международный съезд славистов), I, М., 1958, особенно стр. 228 и сл.

¹ Н. B i r n b a u m, Zur Aussonderung der syntaktischen Gräzismen im Altkirchenslavischen, «Scando-slavica», t. IV, 1958; R. R u z i c k a, Griechische Lehn-syntax im Altslavischen, ZfS, Bd. III, Hf. 2—4, 1958; J. B a u e r, Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovan-ských jazyků, сб. «Československé přednášky...».

² См. также: Т. L e h r - S p ł a - w i Ń s k i, Czy są śladu istnienia liturgii cyrylo-metodejskiej w dawnej Polsce?, «Slavia», ročn. XXV, seš. 2, 1956; B. H a v r á n e k, Otázka existence církevní slovanštiny v Polsku, там же; е г о же, K otázce mezislavanských vztahů spisovných jazyků, «Slavia», ročn. XXIV, seš. 2—3, 1955, особенно стр. 184 и сл.

³ Б. К о н е с к и, За некои стилски синтети во развотоког на македонскиот литературен јазик, «Литературен збор», V, 1, Скопје, 1958.

⁴ Л. М. Ш а к у н, Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы, «Матэрыялы да IV Міжнароднага з'езду славістаў», Мінск, 1958; А. І. Ж у р а в с к і, Да пытання аб ролі царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы XVI ст., там же. О церковнославянских языках в истории украинского языка см. в недавно вышедшей книге: «Курс історії української літературної мови», т. I (дожовтневий період), Київ, 1958.

⁵ В. В. В и н о г р а д о в, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, «IV Международный съезд славистов. Доклады», М., 1958.

⁶ Г. О. В и н о к у р, Русский язык. Исторический очерк, М., 1945; Л. П. Я к у б и н с к и й, История древнерусского языка, М., 1953; см. также ответ А. В. Исаченко на вопрос о специфике литературного двуязычия в истории славянских народов в «Сборнике ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов)» (М., 1958, стр. 25) и его доклад по вопросам сравнительной лексикологии славянских языков на IV Международном съезде славистов.

и восточнославянских омонимов — с дру-го¹.

Как в докладе В. В. Виноградова, так и в дискуссии (главным образом в выступлениях С. И. Ожегова и В. Д. Левина) большое значение для определения направления будущих исследований в области русского литературного языка имело критическое рассмотрение различных точек зрения на происхождение восточнославянского литературного языка в связи с критикой теории С. П. Обнорского. Было подчеркнуто положительное значение и для настоящего времени мнения И. И. Срезневского (см. его «Мысли об истории русского языка»), который рассматривал старославянский прежде всего как очень близкий по строю к древним славянским языкам и предлагал в связи с этим в отношении древнерусского литературного языка говорить об органическом слиянии двух родственных языковых систем, а не о заимствовании из одного языка в другой (ср. более позднюю точку зрения С. К. Булича на славянизмы как на заимствования, широко распространенную в свое время). На съезде было подчеркнуто (выступление В. Д. Левина), что подобное слияние двух языков не только не бросает тени на яркую самобытность, на высокую культуру древней Руси, а напротив, только при условии самобытной и высокой культуры такое слияние могло привести к возникновению самобытной, дифференцированной и синонимически разнообразной системы древнерусского литературного языка (или «системы систем»). Господствовавшее в последние десятилетия учение С. П. Обнорского о происхождении восточнославянского литературного языка неправомерно ограничивало литературные функции церковнославянского языка на восточнославянской почве (ср. возражения А. Мазона, Б. Уббегауна). В. В. Вино-

¹ Ср. о роли старославянского языка в полисемии и «полилексии» в ст. В. Бланара (V. B l a n á r, K základným oložkam lexikologie, «Sborník filozofickej fakulty univerzity Komenského». Philologica, ročn. IX, číslo 64, Bratislava, 1957).

градов отметил, что теория С. П. Обнорского имела большое научное значение в отрицании одностороннего и прямолинейного взгляда А. А. Шахматова, который считал древнерусский литературный язык прямым потомком древнеболгарского, но и она грешит против действительного положения вещей².

Сложнейшие взаимоотношения старославянского и русского языков на примере нескольких общеславянских слов были рассмотрены в докладе Б. Уббегауна³. Он оттенил специфические особенности церковнославянизмов на фоне соответствующих русизмов, их неконкретность, отвлеченность и вытекающую отсюда терминологичность. При обсуждении этого доклада (выступления С. Урбачика, В. А. Ларина, Ф. П. Филипа, Е. М. Галкиной-Федорук, С. А. Копорского, Г. И. Коляды, С. И. Ожегова) дискутировался вопрос о славянизмах по происхождению и по употреблению, о русских архаизмах в функции славянизмов, обсуждались критерии выделения исконных старославянизмов. Вместе с тем указывалось на недостаточную изученность славянизмов в истории русского литературного языка⁴.

Р. М. Цейтлин

² См. также: В. В. Виноградов, Научная деятельность акад. С. П. Обнорского (к 70-летию со дня рождения), ИАН ОЛЯ, 1958, вып. 3, стр. 259—262; А. М. Селищев, О языке «Русской Правды» в связи с вопросом о древнейшем типе русского литературного языка, ВЯ, 1957, № 4; A. D o s t á l, Úloha církevní slovanštiny v dějinách vzniku a rozvoje spisovné ruštiny, «Československá rusistika», 2—3, 1958.

³ В. О. U n b e g a u n, Russe et slave dans la terminologie juridique, RÉS, t. XXXIV, fasc. 1—2, 1957.

⁴ См. В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, М., 1955. Из работ последних лет, посвященных анализу употребления славянизмов, можно назвать исследование Л. Чельберга: L. K j e l l b e r g, La langue de Gedeon Krinovskij, prédateur russe du XVIIIe siècle, I, Uppsala — Wiesbaden, 1957.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ

■ Сейчас я работаю над научпой (описательной) грамматикой нанайского языка. Первый и второй ее тома, посвященные фонетике и морфологии, уже закончены; работаю над синтаксисом, описание которого будет состоять, по-видимому, также из двух частей: а) синтаксис простого предложения и б) синтаксис предложения с оборотами и сложного предложения. В течение нескольких ближайших лет буду участвовать в разработке двух кол-

лективных тем: составление большого нанайско-русского словаря и исследование генетических связей и взаимовлияний «алтайских» языков и языков соседних народов.

Сосредоточенность моих интересов преимущественно на описательной грамматике и фонетике конкретного языка объясняется прежде всего тем, что мой путь к языкознанию лежал через многолетнюю практику работы над созданием алфавитов,

письменности и литературы на бесписьменных ранее языках, через многие годы вузовского и школьного преподавания последних. Думаю, что именно такого рода практическая работа послужила основанием для твердого убеждения в недопустимости разрыва между речью и языком, между материальными элементами языка и их отношениями, между взятой синхронно языковой системой и историей ее компонентов.

В. А. Аврорин
(Ленинград)

В настоящее время я заканчиваю работу над краткой теоретической грамматикой немецкого языка, в которой основной упор делается на выделение определяющих структурных черт немецкого языка в их взаимосвязи. В книге делается также попытка, исходя из многоаспектности языковых явлений, уточнить морфологическую характеристику некоторых разрядов слов, особое внимание уделяется проблемам синтаксической сочетаемости. Книга написана на немецком языке и будет издаваться Учпедгизом.

Затем я вернусь к работе над книгой, которую пишу уже в течение нескольких лет. Это — исторический синтаксис немецкого языка. Показ общих линий структурного развития будет сочетаться здесь с синтаксической характеристикой отдельных «срезов» в истории немецкого языка. Задачи исследования: выявить системный характер сдвигов в структуре предложения и словосочетания в немецком языке, показать фронтальное развитие в нем средств более четкого формально-грамматического выявления структурного единства предложения и выделения его компонентов. Отдельные относящиеся сюда факты были мною затронуты в целом ряде статей. Книгу предполагается издать в серии «Библиотека филолога» в Издательстве литературы на иностранных языках.

Одновременно я, совместно с моими коллегами по кафедрам германской филологии и немецкого языка ЛГПИ им. А. И. Герцена, веду подготовительную работу с тем, чтобы с будущего учебного года приступить к написанию фундаментального синтаксиса современного немецкого языка. В июне 1959 г. при ЛГПИ им. А. И. Герцена предполагается провести широкое совещание по вопросам немецкого синтаксиса, на котором будет обсуждаться, в частности, и проспект этого коллективно-го труда.

Из более частных тем, над которыми я работаю, хочется отметить проблему функций именительного падежа в немецком языке и тесно связанную с ней проблему «общего падежа» в немецком языке.

В. Г. Адмони
(Ленинград)

1. Заканчиваю первый выпуск сравнительной грамматики славянских языков, который будет содержать обширное введение и фонетику. В основе книги лежат мои лекции по сравнительной грамматике славянских языков, которые я читаю в Московском университете.

2. Совместно с проф. С. Стойковым руковожу составлением болгарского атласа народных говоров. Летом этого года была проведена третья диалектологическая экспедиция. Первый том атласа, который должен быть закончен в 1960 г., будет содержать материал юго-восточных говоров Болгарии. В настоящее время в Софии и в Москве полным ходом идет обработка материалов экспедиции и составление карт.

3. На IV Международном съезде славистов был представлен доклад на тему об общеславянском лингвистическом атласе, написанный мною совместно с проф. Р. И. Аванесовым. В настоящее время работаю над углублением отдельных разделов доклада (в частности, над § 3 второй части доклада).

4. В 1953 г. вышел из печати мой болгарско-русский словарь. Сейчас занят подготовкой нового издания.

5. На днях приступил к редактированию русского перевода книги Райко Нахтигалия «Славянские языки». Книга выйдет в Издательстве иностранной литературы.

С. Б. Бернштейн
(Москва)

Главным предметом моих занятий в настоящее время служит русский литературный язык первой половины XIX в. Ограниченный круг избранных мною памятников (среди которых басни Крылова, «Горе от ума» Грибоедова, проза Пушкина и Лермонтова, драматургия Гоголя) изучаю главным образом в направлении лексики и синтаксиса, имея в виду: 1) наметить стилистическую дифференциацию их языкового материала, 2) охарактеризовать приемы его художественного использования в некоторых литературных жанрах и 3) разграничить его исторические пласты. Синтаксическое исследование этого материала связываю с попыткой освещения основных понятий грамматики.

Кроме того, занимаюсь анализом композиции и языка отдельных произведений русской поэзии XIX и XX вв. (стихотворения Пушкина, Баратынского, Тютчева, Лермонтова, Блока). На ближайшее время намечают оформление давно сделанных мною наблюдений над декламационной интерпретацией лирических стихотворений (на материале грамофонных записей декламации немецкого трагика А. Моисси).

С. И. Бернштейн
(Москва)

В настоящее время я собираю материал для трудной темы — сравнительно-исторического синтаксиса романских языков. Одновременно работаю над давно задуманной мною книгой по сравнительно-исторической семасиологии романских языков. Насколько мне известно, исследование в этой последней области в таком плане ни когда не проводилось. В 1959 г. должен закончить монографию по историческому синтаксису французского языка. Начну составлять небольшой учебник (для филологов) румынского языка. В плане общей теории языка пишу новые главы для моего «Введения в науку о языке», опубликованного в 1958 г.

Р. А. Будагов
(Москва)

В течение ряда лет я работаю над изучением вопросов современного узбекского языка, рассматривая языковые факты в сравнительно-историческом плане. Особый интерес для тюркологии представляет фонетическая система узбекского языка, в которой нашли отражение фонетические особенности ряда территориально-смежных тюркских языков. В настоящее время мною закончена работа «Фонетические изменения, связанные с аффиксацией» (4 печ. л.), которая включена в «Труды Среднеазиатского гос. ун-та. Кафедра узбекского языкознания» (Филологич. науки, кн. 12). Сборник сдан в печать.

Изучаю также проблему исторического словообразования и заканчиваю работу над подготовкой к изданию в виде монографии моей докторской диссертации «Проблемы исторического словообразования узбекского языка. 1.—Аффиксация» (33 печ. л.).

Веду работу и в области синтаксического строя узбекского языка. Работа, посвященная синтаксису простого предложения узбекского языка, уже издана. Сейчас, по поручению Института языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР, в соавторстве с доц. М. А. Аскаровой работаю над «Синтаксисом узбекского языка». Работа, которая была начата в 1957 г., по плану будет издана в начале 1959 г.

Создание вузовских пособий по курсу «Современный узбекский язык» до сих пор остается актуальной задачей узбекского языкознания. По решению Министерства просвещения УзССР, совместно с проф. В. В. Решетовым и доцентами М. А. Аскаровой, Ш. У. Рахматуллаевым я занят разработкой такого пособия; предполагается, что данная работа будет издана в 1959 г. В соавторстве с чл.-корр. АН СССР А. К. Боровковым приступил к созданию пособия «Введение в языкознание» (на узб. языке), которое будет завершено к концу 1959 г.

В области узбекской диалектологии вместе с доц. Среднеазиатского госуниверситета Я. Г. Гулямовым продолжаю работать над «Грамматикой ташкентского говора». Данное исследование, посвященное одно-

му из опорных говоров современного узбекского литературного языка, было начато еще в 1953 г. Думаем завершить работу к концу 1959 г.

А. Г. Гулямов
(Ташкент)

Я готовлю статью об использовании удвоения основы глагола для выражения отрицания (такие явления встречаются в языках Дагестана¹). В статье я стараюсь разъяснить семантические обоснования подобных явлений, которые иногда замечались, но не находили правильного истолкования.

Л. И. Жирков
(Москва)

¹ См. об этом: Л. И. Жирков, Табасаранский язык, М.—Л., 1948, стр. 137; А. А. Магомедов, Отрицание в кубачинском диалекте даргинского языка, сб. «Языки Дагестана», вып. II, Махачкала, 1954, стр. 169 и сл.

По договору с Учпедгизом мною были написаны «Очерки по общему языкознанию» (около 20 авт. листов), которые мыслились как пособие по университетскому курсу общего языкознания и как более или менее систематическое изложение наиболее важных проблем теоретического языкознания. В соответствии с указанными задачами книга включает разделы: язык (его сущность), метод, развитие языка, язык и мышление, язык и история. Ввиду того, что печатание книги задерживается (отнюдь не по вине автора), я вношу в нее некоторые дополнения. По предложению Учпедгиза мною же подготовлено второе, значительно расширенное издание «Хрестоматии по истории языкознания XIX и XX вв.». В это издание, в частности, включены новые разделы: «Психологические теории языка XX в.» (К. Бюллер, А. Марти, А. Гардинер), «Дескриптивная лингвистика» (Ф. Боас, Л. Блумфилд, З. Харрис) и «Этнолингвистика» (Э. Сепир, Б. Уорф). Видимо, необходимо будет также добавить раздел о советском языкознании в 20-е и 30-е годы.

Заканчиваю работу о математической лингвистике, где рассматриваются различные направления в области применения математических методов к изучению лингвистических явлений и дается критическая оценка этих направлений с точки зрения традиционной проблематики теоретического языкознания.

В Издательстве иностранной литературы под моей редакцией выходит перевод книги Г. Глисона «Введение в дескриптивную лингвистику», которая открывается моей вступительной статьей «Дескриптивная лингвистика». В настоящее время редактирую перевод книги А. Мартине «Принцип экономии в фонетических изменениях», которая также потребует соответствующей вступительной статьи.

В более отдаленной перспективе — окон-

чание книги о типах смысловых отношений слов, представляющей вторую часть «Семасиологии» и основывающейся на теоретических положениях этой книги.

В. А. Звегинцев
(Москва)

В последние годы я занимаюсь главным образом различными аспектами проблемы объективного распознавания фонем и их сочетаний (на материале русского языка). Эта проблема имеет важное прикладное значение для совершенствования линий связи, а также для решения вопроса об устном вводе в переводные и информационные машины.

В этом плане я вместе с другими сотрудниками Лаборатории экспериментальной фонетики ЛГУ в течение 1959—1961 гг. буду работать над темой «Исследование постоянных и статистических фонетических связей, присущих русской речи».

Я надеюсь, кроме того, иметь возможность продолжить начатую мною работу по исторической фонетике немецкого языка, которую я хотел бы построить на основе принципов, изложенных в моей статье «О звуковых изменениях» (ВЯ, 1957, № 1).

Л. Р. Зиндер
(Ленинград)

В настоящее время занят работой над сравнительно-исторической акцентологией германских языков, которую надеюсь закончить в 1960 г. Особое внимание уделяется при этом исследованию слоговых интонаций, роль которых в сравнительной фонетике германских языков еще не оценена в должной мере. Изучение слоговых интонаций в сравнительном плане до сих пор основывалось исключительно на скандинавском материале. Узость эмпирической базы не позволяла делать достаточно уверенных и далеко идущих выводов об исторических тенденциях развития слоговых тонов и времени их происхождения. Сходные факты в немецких диалектах оставались вне поля зрения компаративистов, поскольку они приурочивались к сравнительно поздним эпохам обособленного развития этих диалектов. Только после того, как Т. Фринг расчистил путь к признанию древности так называемого «рейнского акцента», а В. Вельтер указал на общенемецкую значимость ряда интонационных процессов, возникли необходимые предпосылки для привлечения немецких фактов к разработке проблемы слоговых интонаций в общегерманском плане. Уже сейчас можно предвидеть, что сравнительная акцентуация позволит яснее представить себе механизм протекания ряда исторических звуковых изменений, связь которых с слоговыми тонами лежит, так сказать, на поверхности. В плане сравнительной грамматики индоевропейских языков представляют интерес некоторые параллели в

интонационном развитии балтийско-славянских и германских языков, на которые отчасти уже указывали К. Вернер, Н. ван Вейк и др.

С. Д. Кацнельсон
(Ленинград)

Основной круг моих интересов — это южновеликорусское наречие в его современном состоянии и особенно в его истории. В данное время занимаюсь главным образом исследованием южновеликорусских говоров XVII в. Тексты южновеликорусского происхождения этого периода многочисленны и, как это ни странно, историками языка почти не вовлекались в научный оборот. Между тем всесторонний учет показаний источников этого рода необходим для правильной разработки истории русского языка позднего периода и, в частности, истории литературного языка.

Одновременно занимаюсь разысканием параллелей к лексике «Слова о полку Игореве» в некоторых текстах XVII в., приуроченных к той древнерусской области, с которой особенно тесно связаны события, воплощенные в поэме. Вместе с тем принимаю участие в разработке вопросов, касающихся лингвистического и палеографического издания древнерусских памятников.

С. И. Котков
(Москва)

В настоящее время я работаю над следующими темами:

1. Пишу фонетику удмуртского языка, которая явится разделом научной грамматики удмуртского языка, составляемой Удмуртским исследовательским институтом.
2. Занимаюсь разработкой исторической фонетики пермских языков. Эта работа непосредственно связана с изучением диалектов этих языков (коми и удмуртского).
3. Редактирую первый большой (около 50—60 тыс. слов) коми-русский словарь, издаваемый Издательством иностранных и национальных словарей.

В ближайшие годы буду продолжать разрабатывать вопросы исторической фонетики пермских языков и изучения диалектов удмуртского языка. Собираю материал по проблеме финно-угорского субстрата в русском языке.

В. И. Лыткин
(Рязань)

В настоящее время я продолжаю работать главным образом в области славянской и общей аспектологии — учения о глагольном виде. Сейчас пишу монографию «Видовое значение глагольных основ современного болгарского языка» (объем — около 10 печ. л.), в которой предполагаю дать полный обзор всех встречающихся в этом языке типов глагольных основ с точки зрения их видового значения. Очень

полезной для исследования этой темы была моя недавняя месячная командировка в Болгарию, где я имел возможность поработать в картотеке академического словаря и пополнить мой материал рядом ценных и редких примеров. Кроме того, заканчиваю статью, посвященную проблеме глагольного вида или подобных ему категорий в готском языке, а в дальнейшем хочу также заняться видовыми категориями литовского глагола. Вопросы истории славянского глагольного вида и некоторые теоретические вопросы аспектологии предполагаю рассмотреть в книге «Очерки по общей и славянской аспектологии», представляющей собой мою плановую научную работу на ближайшие годы.

Кроме глагольного вида, занимаюсь проблемой асимметрии грамматических категорий и собираюсь в небольшой статье разобрать различные возможные типы такой асимметрии.

Ю. С. Маслов
(Ленинград)

1. Продолжаю мою многолетнюю работу над «Научной грамматикой уйгурского языка», в которой я стремлюсь дать как можно ближе к существу лексико-грамматических категорий тюркских языков трактовку частей речи, структуры словосочетаний и связанного с ними аффиксального формообразования. Хочется определить также послыльный критерий дифференциации так называемых подчиненных предложений и развитых членов. (Здесь пытаюсь уточнить специфические для тюркских языков формы проявления предикативности.)

2. Кроме того, я готовлю грамматические очерки языка енисейско-орхонских и древнеуйгурских памятников. Эти очерки пишутся в аспекте грамматических принципов, которые сложились у меня по отношению к строю тюркских языков в ходе изучения исторического их становления.

3. Продолжаю обычную, повседневную работу в лексикологическом и грамматическом плане над материалами литературы и прессы на языке уйгуров Синьцзяна и советских уйгуров.

В. М. Насилов
(Москва)

В течение ближайших лет я предполагаю работать над описанием строя балканороманских языков (румынский и молдавский языки, арумынский, мегленорумынский и истрорумынский языки-диалекты). При разработке этой темы необходимо, с одной стороны, обобщить достижения советских и зарубежных (в первую очередь румынских) языковедов, а с другой стороны, провести самостоятельные исследования довольно значительного объема. Мне представляется целесообразным использовать в этих исследованиях как традиционные лингвистические методы (сравнительно-исторический, струк-

туральный, лингво-географический), так и приемы прикладного языковедения (лингвостатистика, экспериментальная фонетика, лингвоинформация).

В течение последних двух лет проводилась подготовительная работа к указанному исследованию. В настоящее время в отделе диалектологии Молдавского филиала АН СССР, которым я руководил до последнего времени, закончена составлением Программы молдавского лингвистического атласа, сданы в печать «Очерки по молдавской стилистике», написанные мной в соавторстве с Б. И. Ваксманом, ведется экспериментальное исследование некоторых конечных молдавских согласных (совместно с сотрудницей 1 МГПИЯ И. А. Зимней). Предполагается провести сравнительно-статистическое обследование некоторых категорий в балканороманских и других языках (совместно с коллективом кафедры французского языка Бельцкого пединститута).

Р. Г. Пиотровский
(Ленинград)

В течение почти трехлетней работы в Китайской Народной Республике мною были собраны значительные материалы по неизвестным у нас языкам Южного Китая. На основе этих материалов я заканчиваю сейчас общий обзор языков чжуан-тайской группы (чжуан, буи, нун, ша, дун, шуй, ли). В следующем году предполагаю написать обзор языков групп мяо (хуаньских, северо-востока Юньнани, центрально-южной части Гуйчжоу, запада Гуйчжоу и юго-востока Сычуани) и И (и, бай, лису, лаху, наси, хапи).

В 1958 г. на основе собранных и изученных в КНР материалов мною был написан и опубликован ряд статей по вопросам китайской письменности; сейчас печатается моя книжка «Китайская письменность и ее реформа» и написанная в дискуссионном порядке статья «Русская транскрипция китайской речи», представляющая собой одну из глав монографии «Русская транскрипция для языков зарубежного Востока», которую я предполагаю сдать в печать в начале 1959 г.

В 1959 г. много времени и труда придется уделить подготовке XXV Международного конгресса востоковедов, который будет проходить в Ленинграде летом 1960 г.; в частности, больших усилий потребует от меня редактирование ряда работ по языкам зарубежного Востока и Африки, которые должны выйти в свет к открытию конгресса.

В области западнокавказского языковедения в 1959 г. мне предстоит редактировать «Абазино-русский словарь». В связи с задачами унификации письменностей в 1958 г. я написал статью «Об алфавитах и орфографии языков абхазо-адыгской группы».

Г. П. Сердюченко
(Москва)

В настоящее время я работаю над небольшой монографией о греческом удареии. Папирусные открытия ознакомили нас с акцентуационной системой александрийских грамматиков, несколько отличной от позднейшей «византийской» системы, применяемой в наших печатных изданиях. Александрийская система недостаточно еще учитывается лингвистами, разрабатывающими вопрос о греческом удареии. Представляется своевременным дать новую сводку материала, отвечающую современному уровню языкознания, с одной стороны, классической филологии — с другой.

По окончании работы над этой монографией я собираюсь заняться древнейшей историей греческого языка. Выдающееся открытие последних лет — дешифровка микенского слогового письма В — позволяет нам начинать документированную памятниками историю греческого языка с середины II тысячелетия до н. э. В связи с этим вопросы взаимоотношения греческих диалектов и происхождения языка гомеровского эпоса нуждаются в пересмотре. В своей новой работе я намерен рассмотреть древнейшую историю греческого языка от периода его выделения как самостоятельной ветви индоевропейской группы языков до периода, зафиксированного в древнейших памятниках греческой поэзии.

И. М. Тронский
(Ленинград)

Начиная работу по подготовке «Словаря русских народных говоров»: в ближайшее время будет написан «Проект» словаря, в который войдут изложение основных задач словаря, инструкции для выборщиков и составителей, пробные словарные статьи. В «Словаре» будут обобщены огромные материалы по диалектной лексике русского языка XIX—XX вв., опубликованные в различных изданиях, а также хранящиеся в архивах Ленинграда и Москвы. Подготавливаю также словарь одного тульского говора, которому будет предпослано предисловие теоретического характера (о составе диалектной лексики). Продолжаю работу в составе редколлегии 15-томного «Словаря современного русского литературного языка» и четырехтомного «Словаря русского языка».

Меня издавна интересуют проблемы, связанные с древнейшей и древней историей славян, историей их речи. Пишу книгу «Происхождение древнерусского языка», в которой будут изложены проблемы происхождения славян и общеславянского языка, «прародины» славян, древнейших славянских диалектов, становления древнерусского языка с характеристикой его основных особенностей. В этой же книге я предполагаю высказать свои соображения о возникновении письменности у славян, а также о происхождении древнерусского литературного языка.

В течение ближайших лет предполагаю

также подготовить несколько статей и заметок лексикологического и лексикографического характера.

Ф. П. Филин
(Ленинград)

В настоящее время я работаю над монографией «Залогии глагола в якутском языке», которую мыслю себе в описательном плане: хочу выявить возможно большее количество языкового материала, характеризующего значение и употребление соответствующих форм, а затем также показать грамматическую природу этих форм. Пока у меня создается впечатление, что залогии как грамматическая категория в якутском языке возникли сравнительно недавно и развились из глаголообразований, имеющих чисто лексические значения, следы которых в значительной мере удерживаются и в современном языке. Думаю завершить эту тему в 1959 г.

В дальнейшем мне придется заняться сначала организацией работы над «Русско-якутским словарем» (60 печ. л.), «Якутско-русским словарем» (10 печ. л.) и, наконец, над большим толковым словарем современного якутского языка, а затем редактированием этих лексикографических трудов. *Приму также участие в работе по обобщению диалектологических материалов, собираемых с 1950 г.*

Л. Н. Харитонов
(Якутск)

Несколько лет назад я начал составлять «Этимологический словарь современного русского литературного языка», рассчитанный на широкий круг советских читателей. Словарь охватывает около 6000 общеупотребительных слов и будет состоять из 4 выпусков. Первый выпуск (буквы А—З и «Введение»), объемом примерно в 15 печ. листов, вчерне закончен и подготавливается к печати. Присутствую к работе над вторым выпуском.

Что касается планов на ближайшее будущее (1959—1960 гг.), то (если говорить только о крупных работах монографического характера) я надеюсь, что мне удастся продолжить и закончить давно уже начатую работу над вторым томом исследования «Язык Уложения 1649 г. (Вопросы синтаксиса. Лексика)».

П. Я. Черных
(Москва)

В ближайшие два года буду участвовать в коллективной работе по составлению очерков по истории русского литературного языка XIX в. Мой раздел — история форм словоизменения.

В плане моей индивидуальной работы — изучение и описание (по рукописным материалам) пунктуации русских писателей-классиков; в первую очередь — пунктуации Тургенева.

А. Б. Шапиро
(Москва)

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Одной из центральных проблем латышской орфографии на протяжении нескольких десятилетий являлось обозначение долготы гласных в иностранных словах (в первую очередь в словах греческого и латинского происхождения), которые в большинстве случаев вошли в латышскую лексику через посредство русского и немецкого языков и в произношении которых весьма прочно установились долготы гласных, отражающие подударные долгие или полудолгие гласные в соответствующих словах языка-посредника. Ср. русск. *организа́ция*: латыш. *organizācija*; нем. *Literát*: латыш. *literāts*; русск. *лупе́ра*, нем. *Literatúr*: латыш. *literātūra* и др.

Как известно, в 30-х годах была сделана попытка обозначать долготу гласных в иностранных словах в предельном соответствии с качеством гласных языка, из которого заимствовано слово. Это привело в ряде случаев к разрыву между орфографией и исторически установившимся произношением. Наиболее явно этот разрыв обнаружился при обозначении долготы в нескольких следующих одна за другой морфемах иноязычного происхождения вопреки устойчивой тенденции в латышском языке произносить долгую гласную только в одной (последней) иноязычной морфеме. Ср. написание 30-х годов *literātūra*, *operātvītute* при реальном произношении *literātūra*, *operativitāte*. В 1946 г. была предпринята попытка иначе разрешить эту проблему, в результате чего было полностью устранено обозначение долгот в иностранных словах. И это решение оказалось неудачным, так как по-прежнему оставалось явное несоответствие между написанием и произношением и к тому же не выдерживался один из основных принципов латышской орфографии, заключающийся в последовательном обозначении долгот гласных.

В результате обсуждения в 1956—1957 гг. вопросов правописания иностранных слов специальной комиссией было признано, что следует возобновить обозначение долгих гласных в иностранных словах и что орфография этих слов должна основываться на исторически сложившемся произношении, доказавшем свою устойчивость на протяжении существования различных орфографических систем. 26 декабря 1957 г. Совет Министров Латвийской ССР постановил обозначать долготу гласных в иностранных словах в соответствии с литературным произношением.

Таким образом, восстановлена целостность системы латышской орфографии, требующей обозначения долгих гласных. Принятая упомянутым постановлением орфография иностранных слов означает максимальное приближение обозначения качества гласных к наиболее распространен-

ному произношению и вместе с тем принципиальный отказ от попытки искусственного воспроизведения качества гласных языка-оригинала. Характерной чертой новой орфографии является соответствующее произношению чередование долгого и краткого гласного в одной и той же иноязычной морфеме в случаях появления в производных образованиях новой иноязычной морфемы с долгим гласным. Например: *nācija* — *nacionāls*; *kultūra* — *kulturāls*.

Обсуждался также вопрос обозначения долгого *o* знаком долготы. Буква *o* выполняет в латышском алфавите три разных функции, обозначая дифтонг [uo] в исконно латышских словах, а также краткое и долгое *o* в иностранных словах. Ввиду наблюдающихся значительных колебаний в произношении гласного звука *o* в иностранных словах было решено воздержаться от обозначения долгого *o*.

Для обозначения *x* (чаще всего для воспроизведения греч. *χ*, русск. *x* и нем. *ch*) в латышской орфографии до сих пор использовалось сочетание *ch*. Так как большинство латышей не дифференцирует в своем произношении придыхательное *h* и фрикативное *x*, упомянутым постановлением введено единое обозначение указанных звуков простым *h*.

А. Р. Фельдгун
(Рига)

16—17 апреля 1958 г. в Варшаве проходил очередной XVIII съезд Польского лингвистического общества. Программу съезда в основном составляли вопросы словообразования: им было посвящено большинство докладов.

Надо отметить, что проблемы славянского словообразования разработаны пока очень неполно: это относится почти ко всем славянским языкам, и если у нас есть известные достижения в области описательного синхронного словообразования, то в области изучения исторических отношений наблюдаются существенные пробелы, что в свою очередь препятствует правильной оценке эволюции словообразовательной системы отдельных языков и их исследованию в сравнительном плане. Наши познания в этой сфере часто ограничиваются разысканиями, выполненными в младограмматическом духе, без попыток установления функциональной значимости элементов и определения их места в структуре всей системы. Недостаточная разработанность теоретических проблем словообразования тормозила в значительной мере и практическую лексикографическую работу; поэтому обращение Польского лингвистического общества к этой проблеме следует считать явлением своевременным и положительным. Съезд, безусловно, послужит стимулом к дальнейшим исследованиям в области словообразования, тем

более что польскими лексикографами проделана большая предварительная работа и собран богатейший материал.

Всего на съезд было представлено 20 докладов (прочитано — 19). Если сравнить их число с числом докладов на предыдущем XVII съезде (8 докладов; см. ВЯ, 1958, № 2), станет очевидным значительный интерес польских языковедов к проблемам словообразования.

Общие теоретические проблемы были подняты в докладе Е. Куриловича «Понятие алломорфа». Докладчик показал возможности применения достижений фонологии в области морфологических исследований. По его мнению, вместе с морфемами в словообразовании могут выступать также дополнительные элементы, которые, будучи присоединены к основной морфеме, превращают ее в алломорф (ср. аллофон) или в морфологический вариант основной морфемы. Например, в соотношении *Geist : Geister — Wald : Wälder* чередование *a : ä* является этим дополнительным по отношению к *-er* (как морфеме мн. числа) элементом, семантически пустым и лишь увеличивающим дистанцию производного слова от производящего, или *-er = ä + er* (морфема + алломорф).

В. Дорошевский в докладе «О структурной функции формантов» освещает разнообразные функции словообразовательных морфем в различных языках, в частности в польском и французском, обращая особое внимание на использование языками различных формантов для выражения одних и тех же значений (например, лат. *infundibulum* и польск. *lejek*). При этом определяющим моментом для семантического объема слова оказывается, в конечном итоге, не его формальная структура (морфологический состав), а функционирование в языке (онтологический момент). В связи с этим возникает важный вопрос об отношении словообразования к синтаксису, так как оно реализует также различные синтаксические функции. А. Мирович в докладе «Место вида в морфологической системе глагола» защищал положение о том, что разные видовые формы являются по сути дела формами одного и того же глагола. Он подверг критике старые взгляды, основанные на семантическом критерии. По мнению докладчика, вид выражает отношение во времени между моментом производства действия и его протеканием. Доклад А. Богуславского «Об основных положениях морфологического анализа в связи с работами Винокура, Шанского и Смирницкого» был посвящен новейшим советским работам по вопросам словообразования, а доклад М. Хмуры «Заметки о словообразовании в речи детей» — вопросу усвоения ребенком отдельных словообразовательных формантов.

Словообразованию в славянских языках было посвящено семь докладов: С. Шлиферштейн «Данные словообразо-

вания как критерий при сравнительно-историческом анализе», М. Бродовской-Хоновской «Отдаггетивные прилагательные в древнецерковнославянском языке» (в докладе отмечалось, что во многих случаях словообразовательные форманты имеют исключительно структурную функцию и не изменяют значения по сравнению с основой), Х. Ожеховской-Зелич «Развитие в южнославянских языках отглагольных образований с суффиксом *-ba*» и А. Сечковского «О сходных словообразовательных тенденциях в современных польском и чешском языках».

Ряд докладов был построен исключительно на польском материале. В. Помяновска в докладе «Образования с историческим элементом *-k-* в польских диалектах» основное внимание уделила территории распространения и соотношению значения исследуемых словообразовательных формантов. Вопросы географии, истории и генезиса отдельного структурного типа рассмотрел М. Карась в докладе «Структура прилагательных и местоимений типа *biały, kłórný* в польском языке». Генезис и семантическое развитие суффикса *-owicz*, тип *kartierowicz, wczasowicz* были подробно рассмотрены в докладе П. Зволинского.

Романский материал был исследован в докладах: Х. Левицкой «Несколько типов отыменных прилагательных во французском языке XVI в.» и С. Гнядка «Образование уменьшительных слов в итальянском и французском языках»; литовский — в докладе Ч. Кудзиновского «Интонация в литовских заимствованных словах». (В литовском языке заимствованные слова имеют иную интонацию, нежели исконные. Так, при акутовой интонации литовского слова заимствование имеет интонацию циркумфлексную и наоборот.)

Материал неиндоевропейских языков рассматривался в докладах Я. Хмелевского «Словообразовательные двухсложные модели в современном китайском языке» и Р. Стопы «Словообразовательные процессы в африканских языках».

Особо следует упомянуть два доклада по проблемам фонетики. К. Нич в докладе «Из истории методов фонетического изучения польских диалектов» выделил два метода исследования: непосредственный (запись) и опосредствованный (при помощи аппаратуры). В обоих случаях решающим является практическая и теоретическая подготовка исследователя, а также его слух. Я. Сафаревич в докладе «Заметки о согласных звуках в греческих линейных текстах» описал фонологическую систему консонантизма архаических, недавно прочитанных греческих текстов XIV—XIII вв. до н. э.

Почти все доклады вызвали оживленную дискуссию. Заслуживает внимания ши-

рокое участие молодых научных кадров в работе съезда; немало молодых ученых было и среди докладчиков. В силу этого XVIII съезд Польского лингвистического общества наряду с чисто научной выполнил также и важную воспитательную функцию, что, несомненно, сыграет положительную роль в дальнейшем развитии польской лингвистики.

М. Карась
(Краков)

С 15 по 19 сентября 1958 г. в Майкопе состоялось региональное совещание по вопросам усовершенствования и унификации алфавитов горских кавказских языков, организованное Адыгейским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории. В работе совещания приняли участие представители научно-исследовательских учреждений и учебных заведений Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесской автономной области.

На совещании были заслушаны сообщения об алфавитах адыгейского, абхазского, абазинского, кабардинского, чеченского, ингушского и дагестанских языков; были представлены новые проекты усовершенствования алфавитов адыгейского, абазинского и кабардинского языков.

Все участники совещания отмечали, что перевод письменности горских кавказских народов на русскую графику содействовал развитию их литературных языков и обеспечил единую основу грамотности на двух языках — родном и русском. Вместе с тем на совещании указывались недостатки действующих алфавитов адыгейского, абазинского, абхазского, кабардинского и др. языков. Такими недостатками являются: а) отсутствие в алфавите букв для обозначения звуков (фонем), характерных для литературного языка; например, в адыгейском алфавите отсутствуют буквы для обозначения твердых заднеязычных согласных; б) наличие большого количества буквенных сочетаний для обозначения одного звука, что создает практическое неудобство и мешает усвоению письма; например, абруптивные (смычно-гортанные) и лабиализованные согласные абхазско-адыгейских языков обозначаются сочетаниями, состоящими из двух, трех и даже четырех букв; в) разницей в обозначении однотипных звуков разных языков. Например, в алфавитах абазинского, адыгейского и кабардинского языков абруптивность (смычно-гортанность) согласного обозначается в одних случаях знаком *l*, а в других — знаком *ʃ*.

В целях ликвидации подобных недостатков ставится вопрос об усовершенствовании алфавитов ряда горских кавказских языков. За последние годы на местах по этому вопросу часто происходили дискуссии и обсуждения, которые

привлекали большое внимание широкой общественности. Участники совещания при обсуждении представленных проектов усовершенствования алфавитов внесли ряд конкретных предложений. Эти предложения в основном сводятся к тому, чтобы улучшить и сделать практически более удобными алфавиты ряда горских кавказских народов, сохраняя при этом основу русской графики.

Все участники совещания оказались единодушными в том, что вопрос об усовершенствовании алфавита того или иного горского кавказского языка следует рассмотреть в связи с проблемой унификации алфавитов горских кавказских народов; выступавшие указали на необходимость унификации обозначения лабиализации, абруптивности, мягкости и твердости согласных горских кавказских языков. Совещание не только констатировало необходимость унификации алфавитов, но и выработало унифицированное графическое обозначение для звуков (фонем), идентичных в ряде горских кавказских языков.

Вся работа совещания послала характерные рекомендации и практических рекомендаций, которые должны подвергнуться широкому научному обсуждению на предстоящем общесоюзном совещании по вопросам терминологии, алфавитов, орфографии и транскрипции языков народов Советского Союза.

М. А. Румазов
(Москва)

28 октября 1958 г. в Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте состоялось совещание лингвистов, которое рассмотрело два вопроса: о словарной работе в республике и об улучшении алфавита и орфографии кабардинского и балкарского языков.

Зав. Сектором кабардинского языка и литературы Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института канд. филол. наук Т. Х. Куашева позвала участников совещания с ходом работы над «Толковым словарем кабардинского языка» и вынесла на обсуждение ряд спорных вопросов, касающихся границ словаря (какие именно лексические пласты он должен охватывать), методики собирания редких наименований растительного и животного мира и т. д. Т. Х. Куашева обратилась к участникам совещания с просьбой высказаться по поводу двух проектов улучшения кабардинского алфавита, один из которых подготовлен местными лингвистами, второй — в содружестве с языковедами других республик на региональном совещании 1958 г. в Майкопе.

Выступивший затем зав. Сектором языка, литературы и устного творчества балкарского народа А. Ю. Бозиев сообщил о первых результатах работы этого недавно созданного при Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте сек-

тора. В ближайшие дни здесь начнется обсуждение первых законченных разделов «Русско-балкарского словаря», который подготавливается сотрудниками сектора. Материалы, собранные в балкарских селениях первой за послевоенные годы лингвистическо-фольклорной экспедицией, частично используются в подготовленном сборнике «Балкарские сказки», частью же войдут в планируемую сектором «Антологию балкарской поэзии». А. Ю. Бозиев внес на обсуждение совещания проект улучшения балкарского алфавита.

Заслуж. деятель науки КБАССР, ст. науч. сотр. Х. У. Эльбердов указал на крайнюю необходимость разработки проблемы частей речи в кабардинском языке и строго научной их характеристики. В своем выступлении он подверг резкой критике тенденцию к употреблению без надобности иностранных слов при наличии соответствующих слов родного языка.

Канд. филол. наук У. Б. Алиев высказался против механического перенесения определений русской грамматики на явления балкарского языка, равно как и против произвольного толкования грамматических категорий этого языка. Доц. Б. Х. Балкаров подчеркнул важность разработки проблемы частей речи также в кабардинском языке; касаясь вопросов разработки словарей, он указал на необходимость записывать народные названия растений, птиц и т. д. в присутствии специалистов (ботаника, зоолога и т. д.). Б. Х. Балкаров в своем выступлении подробно остановился на разборе достоинств и недостатков майкопского проекта улучшения алфавита.

Присутствовавшие на совещании сотрудники кабардино-балкарского обкома КПСС М. М. Цораев и Совета Министров Кабардино-Балкарской АССР И. Л. Ульбашев подчеркнули общественно-политическое значение разрабатываемых лингвистами республики проблем и поставили перед ними задачи: в самое ближайшее время завершить разработку правил орфографии балкарского языка, а также подготовить терминологические словари.

Зав. Сектором кавказских языков Института языкознания АН СССР доктор филол. наук Е. А. Бокарев одобрително отозвался о работе, проделанной лингвистами Кабардино-Балкарии, выпустившими за последние годы такие капитальные работы, как «Русско-кабардинский словарь», «Кабардино-русский словарь» и некоторые другие. Е. А. Бокарев высказал в своем выступлении ряд интересных соображений относительно словарной работы и улучшения алфавитов малописьменных народов; в частности, имея в виду практическое применение алфавита, он считает, что чем меньше будет отклонений от существовавшего ранее алфавита при его совершенствовании, тем луч-

ше, поскольку частая смена алфавитов вызывает отсев читающих. При этом Е. А. Бокарев подробно разобрал как достоинства, так и недостатки кабардинского и майкопского вариантов улучшения алфавита.

Совещание одобрило представленный проект улучшения балкарского алфавита и рекомендовало продолжить работу по улучшению кабардинского алфавита.

*И. В. Тресков
(Нальчик)*

По инициативе Института языкознания АН СССР и Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР в Казани с 11 по 14 ноября 1958 г. состоялось Второе региональное совещание по вопросам диалектологии тюркских языков. В работе совещания участвовали представители почти всех тюркоязычных республик и областей, а также тюркологи Москвы, Ленинграда и Тбилиси.

Вступительное слово президента Казанского филиала АН СССР акад. А. Е. Арбузова было посвящено развитию востоковедной науки в Казанском университете.

Ряд насущных практических вопросов диалектологии тюркских языков был поставлен в докладах докторов филол. наук Н. А. Баскакова и Е. И. Убрятовой.

В своем докладе «Проект единой фонетической транскрипции для тюркских языков» Н. А. Баскаков, отметив, что разнообразие транскрипций, которыми пользуются современные тюркологи, затрудняет точное определение качества обозначаемого звука и препятствует точному соотносению сравнимых фактов различных тюркских языков, предложил два варианта транскрипции (на латинской и русской основах), которые разработаны с учетом специфики фонетической структуры всех тюркских языков. Оба варианта представлены в таблицах и приложениях к ним, где учитываются основные фонемы с их качественными и количественными модификациями, встречающимися в тюркских языках.

Е. И. Убрятова в своем докладе «Опыт применения русской (имеждународной) диалектологической терминологии при описании диалектов якутского языка», указав на широкое применение этой терминологии в тюркологии, отметила, однако, что использование русских диалектологических терминов затруднено как несоответствием диалектных различий в тюркских и русском языках, так и неравномерностью диалектного развития самих тюркских языков; поэтому, например, в якутской диалектологии термин «диалект» означает местную разновидность языка (без подразделений на мелкие и крупные диалектные единицы), в применении же к языкам с развитой системой диалектов этот тер-

мин означает крупную диалектную единицу. Диалектные особенности тюркских языков делятся на общетюркские особенности и особенности, свойственные только данному языку или определенной группе тюркских языков. Общетюркские фонетические диалектные особенности не выходят за пределы общетюркской системы соответствий, почему их лучше назвать «соответствиями», как это предложил Н. А. Баскаков в своем выступлении по поводу доклада Е. И. Убратовой, с подразделениями на межъязыковые, междиалектные и внутрдиалектные соответствия. Некоторые русские диалектологические термины применяются в тюркологических работах со значениями, не имеющими никакого отношения к тому, что означает этот термин в русистике (например, «аканье», «оканье»). Все это свидетельствует о необходимости для тюркологов более продуманно использовать русскую (и международную) диалектологическую терминологию.

Вопросам составления диалектологических атласов тюркских языков были посвящены доклады: доктора филол. наук Л. З. Заляя и канд. филол. наук Н. Б. Бургановой «О принципах составления диалектологического атласа татарского языка» и чл.-корр. АН Азерб. ССР М. Ш. Ширалеева «Диалектологический атлас азербайджанского языка». В докладе Л. З. Заляя и Н. Б. Бургановой большое внимание было уделено программе собирания сведений для диалектологического атласа, который коллективом татарских языковедов предполагается создать в трех томах. М. Ш. Ширалеев сообщил, что в первую очередь (с 1958 по 1965 г.) будет создан атлас диалектов и говоров восточной группы азербайджанского языка как наиболее изученной группы. Уже с 1957 г. азербайджанские языковеды работают по специальной программе, содержащей 56 вопросов по фонетике, 51 по грамматике и 199 по лексике.

Принципам составления диалектологических словарей были посвящены три доклада: «О принципах составления диалектологического словаря татарского языка» канд. филол. наук Л. Т. Махмутовой, «О принципах составления диалектологического словаря азербайджанского языка» канд. филол. наук Р. А. Рустамова и «Некоторые вопросы составления диалектных словарей казахского языка» канд. филол. наук Ш. Ш. Сарыбаева. Л. Т. Махмутова считает, что диалектологический словарь должен содержать только диалектную лексику и фразеологию, причем критерием определения диалектной лексики для докладчика является литературный язык. Особое значение Л. Т. Махмутова придает правильному определению значений слов, предлагая при этом различные способы раскрытия значений. Р. А. Руста-

мов в своем докладе сообщил, что в диалектологическом словаре азербайджанского языка будут даны слова по всем разделам лексики, особое внимание уделяется профессиональной лексике. В словаре будут представлены также слова, общие для литературного азербайджанского языка и для его диалектов и говоров, с пояснениями чисто диалектологического характера. Ш. Ш. Сарыбаев, анализируя в своем докладе изданный в 1955 г. диалектный словарь Ж. Доскараева¹, внес конкретные предложения по усовершенствованию словарей подобного типа и отметил необходимость создания инструкций по составлению диалектного словаря для групп родственных языков.

Канд. филол. наук Д. Г. Тумашева в докладе «Восточный диалект татарского языка и его отношение к литературному языку и другим диалектам татарского языка» остановилась на фонетических, морфологических, синтаксических и лексических отличиях этого диалекта. Наблюдениям над диалектами этого же языка были посвящены и доклады А. Ш. Афтенова «Из методики проведения наблюдений над говорами среднего диалекта татарского языка» и канд. филол. наук Г. Х. Ахатова «Некоторые вопросы методики преподавания татарского языка в условиях восточного диалекта». Канд. филол. наук А. Г. Велиев выступил с докладом «Вопросы методики проведения наблюдений над говорами тюркских языков (на материале азербайджанского языка)».

Оживленное обсуждение вызвали доклады Е. И. Убратовой, Н. А. Баскакова и Д. Г. Тумашевой. Действ. член Кирг. АН ССР И. А. Батманов в своем выступлении по докладу Н. А. Баскакова предложил уменьшить количество диакритических знаков, в вариант же на русской графической основе ввести дополнительные латинские знаки. Подобные же предложения были высказаны в выступлениях проф. Л. З. Заляя, научных сотрудников ИЯЛИ КФАН СССР Х. Р. Курбатова и Ф. С. Фасеева. Канд. филол. наук Л. А. Покровская выступила по варианту на русской графической основе применительно к гагаузскому языку. В итоге обсуждений проект транскрипций был одобрен и рекомендован к апробации в полевых условиях; окончательный вариант предполагается принять на следующем совещании диалектологов. По некоторым вопросам диалектологической работы на местах выступили кандидаты филол. наук: Н. Ф. Доможаков (Хакасия), И. А. Андреев и А. С. Конюкова (Чувашия), К. М. Мирзаев (Узбекистан), А. Х. Согтаев (Кабардино-Балкария), В. Т. Джангидзе (Грузия),

¹ Ж. Доскараев, Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері (лексика). II бөлім, Алматы, 1955.

Л. И. Яфаров (Казань), Н. Ишбулатов (Башкирия). Студентка Али Недрет (Румыния) рассказала о языке румынских татар. В прениях по разным вопросам выступили представители Казани — А. Булатов, Ф. К. Хамидуллин, Д. Д. Алямазов, Ш. Ш. Абилов, историк Х. Г. Гимади, археолог Г. В. Юсупов.

Е. И. Убрятова, подводя итоги совещания, отметила известные успехи, достигнутые в разработке диалектологии тюркских языков (особенно в Азербайджане, Татарии и др.), а также некоторые недостатки организационного характера; она призвала диалектологов повысить теоретический уровень диалектологических работ и усилить фронтальное исследование диалектов и говоров.

Совещание приняло резолюцию, в которой отмечена необходимость ежегодно издавать сборник по диалектологии тюркских языков (место издания — Баку), создавать диалектологические словари и атласы, организовывать совместные комплексные экспедиции тюркоязычных республик и др. Следующее совещание намечено провести в г. Баку в 1960 г.

А. А. Дарбеева
(Москва)

На заседаниях методологического семинара сотрудников Института языковедения и Института русского языка АН СССР 18 ноября и 2 декабря 1958 г. состоялось обсуждение доклада доктора филол. наук Ю. Д. Дешериева «О путях дальнейшего развития языков народов СССР в свете основных задач строительства коммунизма». Докладчик остановился на широком круге вопросов развития языков многочисленных наций, национальностей и народностей Советского Союза в эпоху построения коммунизма, а также после победы коммунизма во всемирном масштабе.

Одной из наиболее интересных проблем данной темы является проблема классификации языков. Докладчик предлагает делить все языки народов Советского Союза, с точки зрения роли этих языков, их функций и перспектив развития, на 4 группы: а) языки наций, выделенных в союзные республики; б) языки наций и национальностей, выделенных в автономные республики и области; в) языки национальностей и народностей, выделенных в национальные округа; г) бесписьменные языки. Докладчик указал на условный характер подобной классификации и остановился на особенностях развития и функционирования языков, объединяемых в каждую из групп.

Языки первой группы, как правило, более развиты и обслуживают большие нации. У этих языков имеется больше перспектив для их дальнейшего развития, так как на них существует средняя школа и развивается среднетехническое и даже высшее образование. Языки второй груп-

пы (автономных республик и областей) в основном развиваются как языки художественной литературы. Что касается технического и высшего образования, то оно осуществляется на русском языке. Русский язык является вторым родным языком для народов автономных республик и областей. На русском языке, как наиболее развитом языке, ведется в основном также государственная и общественно-политическая деятельность. В некоторых автономных республиках наравне с русским широкое распространение получает язык, являющийся государственным для данной союзной республики. Языки третьей группы (национальных округов) отличаются от языков предшествующей группы еще меньшими перспективами для дальнейшего развития и более узкой сферой функционирования. Языки четвертой группы (бесписьменные языки) уступают место более развитым, сохраняясь лишь в быту и то не у всех и не повсеместно.

Другая проблема, на которой остановился Ю. Д. Дешериев, — это взаимодействие языков народов СССР. Докладчик нарисовал картину весьма сложного процесса взаимодействия языков народов СССР друг с другом. Общим для всех языков народов Советского Союза является то, что все они испытывают сильное влияние русского языка. Особенно интенсивно обогащаются за счет русского языка языки наций и народностей, входящих в РСФСР. Наряду с этим, языки немногочисленных народов, входящих в состав других союзных республик, испытывают влияние литературных языков данных республик.

В заключение докладчик остановился на проблеме преодоления многоязычия и образования единого языка после победы коммунизма во всемирном масштабе. Был выдвинут ряд предположений о возможных путях развития процесса становления единого мирового языка.

В дискуссии по затронутым Ю. Д. Дешериевым вопросам приняли участие Е. И. Убрятова, Е. А. Бокарев, А. А. Реформатский, В. П. Григорьев, С. М. Хайдаков, М. И. Исаев и др. Все выступавшие подчеркивали теоретическую важность и актуальность проблем, на которых остановился Ю. Д. Дешериев, и необходимость их дальнейшей разработки. По некоторым вопросам (например, относительно предложенной классификации, путей становления единого языка и др.) участниками обсуждения были высказаны мнения, отличные от точки зрения докладчика.

М. И. Исаев
(Москва)

В Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР 3 декабря 1958 г. открылся цикл «Восточных чтений».

В начале заседания председательствующий чл.-корр. АН СССР А. К. Боровков остановился на задачах «Восточных чтений», которые, как намечено, будут в дальнейшем систематически проходить в Ленинградском отделении ИВ АН СССР.

Первое заседание «Восточных чтений» было посвящено докладу проф. В. С. Колоколова «Русская транслитерация новой китайской фонетической транскрипции» и его обсуждению. В своем докладе В. С. Колоколов, кратко остановившись на истории создания различных систем китайской транскрипции как в самом Китае, так и за его пределами, подробно охарактеризовал систему фонетического письма, утвержденную в 1958 г. Всекитайским Собранием Народных Представителей в качестве общекайтайского алфавита, подсобного к иероглифической письменности.

Принятие этого алфавита и широкое применение его в Китае, указал В. С. Колоколов, ставят перед нами задачу привести в соответствие с новым китайским алфавитом русскую транскрипцию для китайского языка. Задача эта тем более насущная, что в Китае уже предложены не совсем удачные, как считает докладчик, проекты системы перехода от китайского алфавита к русскому. Существующая традиционная русская транскрипция также имеет ряд недостатков, и было бы логично в русской транслитерации китайских алфавитных написаний устранить эти недостатки. В. С. Колоколов предложил для обсуждения несколько видоизмененный вариант транскрипции, который был выработан докладчиком еще в 30-х годах и зафиксирован в составленном им «Кратком китайско-русском словаре» (М., 1935).

Выступивший в порядке обсуждения доклада Л. Н. Меньшиков указал на то, что принятая сейчас русская транскрипция для китайского языка (так называемая палладиевская) является в такой же мере условной, как и любая другая практическая транскрипция, записывающая звуки какого-либо языка знаками, не предназначенными специально для этого языка. Поскольку предлагаемая В. С. Колоколовым система транскрипции является не менее, а, пожалуй, более условной, чем так называемая палладиевская, то нет нужды заменять существующую и давно уже ставшую традиционной транскрипцию той, которую предлагает докладчик; следует только внести в существующую транскрипцию исправления в тех деталях, где она не последовательна. С. Е. Яхонтов в своем выступлении затронул вопросы о сфере применения предлагаемой системы транслитерации, об отличии последней от научной транскрипции и о лингвистических принципах, положенных в основу системы, предлагаемой В. С. Колоколовым. А. Г. Шпринцин,

отметив своевременность вопросов, поднятых в докладе В. С. Колоколова, указал, что, как он полагает, при дальнейшем обсуждении системы транслитерации следует иметь в виду не только графику (написание китайского слога), но в еще большей мере упорядочение орфографии. Иначе говоря, русское написание китайских слов, в частности имен собственных, следует привести в соответствие с их употреблением в китайском национальном языке (путунхуа) и их написанием в китайском алфавитном тексте.

Подводя итог имевшему место обмену мнениями, А. К. Боровков подчеркнул актуальность поднятого вопроса, детальное и внимательное изучение которого следует продолжить в более узком кругу специалистов, а именно в Дальневосточном кабинете Ленинградского отделения ИВ АН СССР с привлечением представителей Географического общества и других заинтересованных организаций.

А. Г. Шпринцин
(Ленинград)

23 декабря 1958 г. на очередном заседании методологического семинара Института языкознания и Института русского языка АН СССР был заслушан и обсужден доклад мл. науч. сотр. ИЯ АН СССР А. А. Леонтьева «О природе языка и предмете языкознания».

Докладчик, исходя из анализа взглядов Маркса на природу языка («Экономическо-философские рукописи 1844 г.»), определил язык как «общественный продукт» (Маркс) опредмечивания психической деятельности людей. Язык, по его мнению, не должен рассматриваться только как общественное явление, ибо он представляет собой также и явление индивидуально-психологическое. Идущее от Соссюра понимание предмета языкознания не предполагает включения в него психофизиологических процессов усвоения и реализации языка индивидами, так как «индивидуальная речевая система» мыслится в виде пассивного «слепа» объективной системы языка, а не как продукт активной ее переработки. Докладчик отметил необходимость комплексной разработки смежных психо-лингвистических вопросов на основе синтеза материалистической психологии, опирающейся на учение акад. И. П. Павлова, и марксистско-ленинского учения о человеке и обществе при условии объективного подхода к исследованию языковых явлений.

В обсуждении приняли участие доктор филол. наук М. М. Гухман и кандидаты филол. наук Б. В. Горнунг и В. П. Григорьев.

В. П. Григорьев остановился на связи рассматриваемых в докладе вопросов с проблемой соотношения языковой структуры и «языковой субстанции»; эта проблема получила, по его мнению, одно-

стороннее освещение в брошюре С. К. Шаумяна «Структурная лингвистика как имманентная теория языка» (М., 1958). Б. В. Горнунг, выразив согласие в докладчиком по ряду основных сопросов, подверг критике некоторые положения, содержащиеся в докладе, в частности, сближение «психологического» направления в языкознании XIX в. с современной психо-лингвистикой. Б. В. Горнунг отметил также нечеткость в изложении истории вопроса и указал, что неправильно говорить о сознании применительно к психической деятельности животных.

По мнению М. М. Гухман, вопрос о связи психологии и языкознания встает лишь там, где языковед сталкивается с проблемой происхождения тех или иных явлений. Следует иметь в виду опасность навязывания языку психологических ка-

тегорий. Утверждая, что в современных языках отражены разные ступени фонетического развития, М. М. Гухман не согласилась с высказанным в докладе тезисом, что развитие фонетической стороны языка выражает в предметной форме эволюцию артикуляции и речевого слуха.

В ответном слове докладчик, согласившись с большинством высказанных в его адрес замечаний, несколько подробнее остановился на этом последнем затронутом М. М. Гухман вопросе. Б. В. Горнунг, присоединившийся к мнению докладчика, указал, что в большинстве современных языков представлена одна и та же ступень фонетического развития.

Подводя итоги дискуссии, В. П. Григорьев отметил полезность обсуждения на методологическом семинаре смежных проблем психологии и языкознания.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Вопросы диалектологии тюркских языков. Труды Института литературы и языка им. Низами. Т. XII.—Баку, 1958. 190 стр.

Информационный бюллетень ЮНЕСКО.—1958, № 37—40.

Леонід Арсенійович Булаховський (До 70-річчя з дня народження і 50-річчя наукової і науково-педагогічної діяльності).—Київ, 1958. 31 стр. [Библиография — стр. 14—31].

Наукові записки. Т. III. Серія історико-філологічна, вип. 3. Слов'янськ, 1958. 163 стр.

Правила орфографии азербайджанского языка.—Баку, 1958. 36 стр. [на азерб. яз.].

Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа азербайджанского языка.—Баку, 1958. 47 стр. [на азерб. яз.].

Романо-германская филология.—М., выпуск первый. 1957. 144 стр.; выпуск второй. 1958. 203 стр.

Уч. зап. Ленинградского гос. пединститута им. А. И. Герцена. Т. 164, ч. IV. Ист.-фил. фак-т. — Л., 1958. 124 стр.

М. З. Закиев. Современный татарский литературный язык. Синтаксис.—Казань, 1958. 243 стр. [на татар. яз.].

А. Г. Каримуллин. Библиография литературы по татарскому языкознанию.—Казань, 1958. 115 стр. [на татар. яз.].

А. А. Москаленко. Питання походження української мови в мовознавчій та історичній літературі.—Одеса, 1958. 52 стр.

В. Я. Плоткин. Связь вводных слов с частью предложения (на материале английского языка). «Уч. зап. Карельского пединститута». Т. V — История. Литература. Языкознание. 1957. Стр. 44—63.

Contributions onomastiques.—Bucarest, 1958. 184 стр.

K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků.—Praha, 1958. 203 стр.

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. Ročn. VII. Rady jazykovědné (A). Č. 6.—Brno, 1958. 153 стр.

Slavia orientalis. Roczn. VI.—Warszawa, 1957. 336 стр.

Slavia orientalis. Roczn. VII. № 1.—Warszawa, 1958. 220 стр.

Xifang yuwen.—1958. № 4. Стр. 353—446.

F. Sławiński. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II. Zesz. 1(6) (K — Kaznodzieja). — Kraków, 1958. 112 стр.

G. O. Svane. Grammatik der slawenischen Schriftsprache.—Kopenhagen, 1958. 151 стр.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. М. Иллич-Свитыч (Москва). О некоторых рефлексах индоевропейских «ларингалльных» в праславянском	3
Н. С. Поспелов (Москва). Сложноподчиненное предложение и его структурные типы	19

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

П. С. Кузнецов (Москва). Об основных положениях фонологии	28
Ю. С. Мартемьянов (Москва). Конструкция <i>avoir parlé</i> со стороны структуры и значения	36
К обсуждению вопроса об омонимах (обзор статей, поступивших в редакцию)	45

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М. В. Сергиевский. Французский язык в Алжире	51
Н. С. Трубецкой. Об одной особенности западославянских языков	62

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. Р. Лурья (Москва). Афазия и анализ речевых процессов	65
Р. А. Будагов (Москва). «Словарь трудностей французского языка» и его значение для культуры речи	73
М. Вей (Париж). Замечания по поводу частотного словаря чешского языка	82
А. М. Мухин (Ленинград). Происхождение герундия в английском языке	84
П. А. Соболева (Москва). Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии	91
Н. М. Терещенко (Ленинград). К вопросу о ненецко-хантыйских языковых связях	96
И. М. Берман (Гомель). О «вставочном» типе словообразования	104
Н. Д. Артемюк (Москва). К вопросу о сравнительном исследовании словарного состава родственных языков	108
У. Ш. Байчуря (Казань). Характер ударения в мишарско-татарском диалекте	113
Б. А. Маргарян (Ереван). О слове <i>почта</i>	117

КОНСУЛЬТАЦИИ

Г. А. Климов (Москва). О глоттохронологическом методе датировки распада праязыка	119
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. М. Белкин (Москва). Обсуждение проблем национального языка в арабской печати	122
Н. Д. Арutyюнова (Москва). Статьи Г. Марчанда по теории синхронного словообразования	127

Рецензии

А. Б. Правдин (Тарту). «Творительный падеж в славянских языках».	132
Э. Р. Тенишев (Москва). <i>С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров</i>	136
М. А. Коростовцев (Москва). <i>Н. С. Петровский. Египетский язык</i>	138
Ю. Д. Апресян (Москва). Структуральная семантика С. Ульмана	139
В. И. Абаев (Москва). <i>E. Benveniste. Etudes sur la phonétique et l' étymologie de l'essète</i>	145
М. М. Маковский (Москва). <i>И. Пудийл. Префикс ga- у готском језику</i>	148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ю. С. Маслов (Ленинград). Вопросы происхождения глагольного вида на IV Международном съезде славистов	151
Р. М. Цейтлин (Москва). Вопросы изучения старославянского языка на IV Международном съезде славистов	157
Над чем работают ученые	160
Хроникальные заметки	166
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	174

S O M M A I R E

Articles: V. M. Illitch-Svititch (Moscou). Sur quelques reflexes des «laryngaux» indoeuropéens en proto-slave; N. S. Pospelov (Moscou). La proposition complexe de subordination et ses types structurels; **Discussions:** P. S. Kouznetsov (Moscou). Sur les principes de phonologie; J. S. Martemianov (Moscou). Structure et sens de la construction *avoir parlé*; La discussion sur l'homonymie (un aperçu des articles reçus par la rédaction); **De l'histoire de la linguistique:** M. V. Sergievski. Le français en Alger; N. S. Troubetzkoy. Sur une particularité des langues slaves d'ouest; **Communications et notices:** A. R. Louria (Moscou). L'aphasie et l'analyse des procès de discours; R. A. Boudagov (Moscou). «Le dictionnaire des difficultés du français» et son importance pour la culture du langage; M. Vey (Paris). Remarques sur le dictionnaire de fréquence des mots en tchèque; A. M. Moukhline (Léningrad). L'origine du gérondif en anglais; P. A. Soboleva (Moscou). Sur la relation des mots principaux et dérivés en procès de la conversion; N. M. Terestchenko (Léningrad). Sur les contacts linguistiques nenetz-khantis; I. M. Berman (Gomel). Sur la formation des mots par «l'encadrement»; N. D. Artemiuk (Moscou). Contribution à l'investigation comparative du fonds lexique des langues-soeurs; U. Ch. Baichoura (Kazan). Le caractère de l'accent dans le dialecte michar-tatar; B. A. Margarian (Yerevan). Quelques remarques sur l'histoire du mot «почта»; **Consultations:** G. A. Klimov (Moscou). Comment on peut dater la décomposition de la langue-mère au moyen de la méthode glottochronologique; **Critique et bibliographie, Vie scientifique:** J. S. Maslov (Léningrad). La discussion sur l'origine de l'aspect verbal au IV Congrès international des slavistes; R. M. Zeitlin (Moscou). La discussion sur l'étude du vieux-slave au IV Congrès international des slavistes; Plans de travail des savants.†]

C O N T E N T S

Articles: V.M. Illitch-Svititch (Moscow). On some reflexes of the Indo-European «laryngeals» in Proto-Slavonic; N.S. Pospelov (Moscow). The complex subordinate sentence and its structural types; **Discussions:** P. S. Kouznetsov (Moscow). On the principles of phonology; J. S. Martemianov (Moscow). The structure and meaning of the construction *avoir parlé*; The discussion on homonymy (a survey of articles received by the editorial office); **From the history of linguistics:** M. V. Sergievski. The French language in Algiers; N. S. Troubetzkoy. On one peculiarity of West-Slavonic languages; **Notes and queries:** A. R. Louria (Moscow). Brain-disorders and the analysis of speech processes; R. A. Boudagov (Moscow). «The dictionary of difficulties of the French language» and its significance for the culture of speech; M. Vey (Paris). Remarks on the frequency dictionary of the Czech language; A. M. Mukhin (Leningrad). On the origin of gerund in English; P. A. Soboleva (Moscow). On the relation of the main and derivative words in the process of conversion; N. M. Terestchenko (Leningrad). On the Nenez-Khanti language contacts; I. M. Berman (Gomel). On word-formation by blending; N. D. Artemiuk (Moscow). The comparative study of word-stock in kindered languages; U. Sh. Baichoura (Kazan). The character of accent in the Mishar-Tartarian dialect; B. A. Margarian (Yerevan). On the history of the word «почта»; **Consultations:** G. A. Klimov (Moscow). On the glottochronological method of dating parent-language decay; **Critics and bibliography; Scientific life:** J. S. Maslov (Leningrad). Discussion on the origin of verbal aspect at the IV International congress of linguists; R. M. Zeitlin (Moscow). Discussion on the study of Old Slavonic at the IV International congress of linguists; Working-plans of scientists.

Т-00082 Подписано к печати 24/III 1959 г. Тираж 6350 экз. Зак. 1318
Формат бумаги 70 × 108^{1/16}. Бум. л. 5^{1/2} Печ. л. 15,07 Уч.-изд. л. 18,2

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер, 10

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

КОНТОРА „АКАДЕМКНИГА“

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:

- Атлас болгарских говоров в СССР.** 1958. 84 стр., 109 карт. 60 р.
- Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 г. Вып. 4. История русского литературного языка. Стилистика и культура речи.** 1956. 582 стр. 16 р. 55 к.
- Будягов Р. А.** Этюды по синтаксису румынского языка. 1958. 234 стр. 8 р. 15 к.
- Гусман М. М.** От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. Часть первая Развитие языка немецкой народности. 1955. 162 стр. 9 р. 35 к.
- Жирков Л. И.** Лакский язык. Фонетика и морфология. 1955. 160 стр. 9 р.
- Исследования по грамматике русского литературного языка. Сборник статей.** 1955. 356 стр. 19 р. 85 к.
- Мещанинов И. И.** Грамматический строй урартского языка. Часть первая. Именные части речи. 1958. 150 стр. 6 р. 50 к.
- Палеографический лингвистический анализ новгородских берестяных грамот.** 1955. 216 стр., 8 вкл. 13 р.
- Шиммарев В. Ф.** Книга для чтения по истории французского языка в IX — XV вв. 1955. 557 стр. 40 р. 15 к.

**Книги продаются в магазинах
«Академкнига»**

Для получения книг почтой
заказы направлять в контору «Академкнига»

МОСКВА, К-12, УЛ. КУЙБИШЕВА, 8, ОТДЕЛ «КНИГА-ПОЧТОЙ»

или в ближайший магазин „АКАДЕМКНИГА“ по адресу: МОСКВА, УЛ. ГОРЬКОГО, 8 (МАГАЗИН № 1); МОСКВА, 1-Й АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, 55/5 (МАГАЗИН № 2); ЛЕНИНГРАД, ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, 57; СВЕРДЛОВСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 71-В; КИЕВ, УЛ. ЛЕНИНА, 42; ХАРЬКОВ, ГОРЯИНОВСКИЙ ПЕР., 4/Б; ТАШКЕНТ, УЛ. К. МАРКАСА, 29; АЛМА-АТА, УЛ. ФУРМАНОВА, 129; БАКУ, УЛ. ДЖАПАРИДЗЕ, 13.